

**В.П. Даниленко**

**МЕТОДЫ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА**

Курс лекций

Москва  
Издательство «ФЛИНТА»  
Издательство «Наука»  
2011

УДК 81–13(042.4)  
ББК 81-5-923  
Д18

Р е ц е н з е н т ы:

засл. деятель науки РФ, д-р филол. наук, проф. *Л.М. Ковалева*;  
д-р филол. наук, проф. *А.М. Каплушенко*

**Даниленко В.П.**

Д18 Методы лингвистического анализа : курс лекций /  
В.П. Даниленко. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 280 с.

ISBN 978-5-9765-0985-6 (ФЛИНТА)

ISBN 978-5-02-037198-0 (Наука)

Курс лекций посвящён описанию фундаментальных методов лингвистического анализа – унификационного и сравнительного, синхронического и диахронического, семасиологического и ономасиологического, структурного и функционального, дисциплинарного и полевого, когнитивного и дискурсивного. Применение этих методов демонстрируется на материале решения конкретных лингвистических проблем и истории языкознания.

Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов.

УДК 81–13(042.4)

ББК 81-5-923

ISBN 978-5-9765-0985-6 (ФЛИНТА)  
ISBN 978-5-02-037198-0 (Наука)

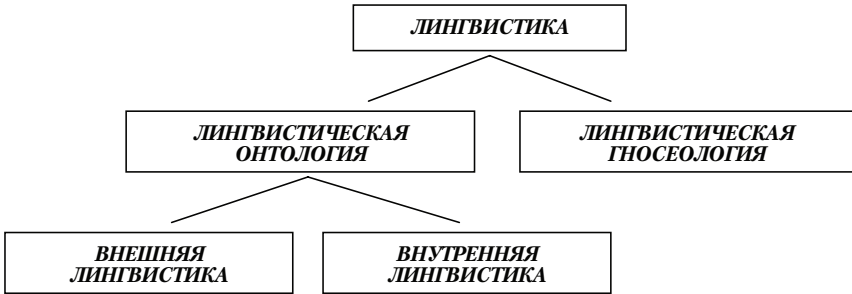
© Даниленко В.П., 2011  
© Издательство «ФЛИНТА», 2011

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие .....	4
<b>1. Общая гносеология .....</b>	<b>6</b>
<i>Приложение.</i> Эволюционная картина мира в концепции Пьера Тейяра де Шардена.....	21
<b>2. Унификационный и сравнительный методы в лингвистике .....</b>	<b>34</b>
2.1. Унификационный метод .....	34
2.2. Сравнительный метод .....	42
2.2.1. Компаративистика .....	43
2.2.2. Лингвотипология.....	48
<i>Приложение.</i> Инкорпорация словосочетаний и предложений с фразообразовательной точки зрения .....	54
<b>3. Синхронический и диахронический методы в лингвистике .....</b>	<b>66</b>
3.1. Разграничение синхронии и диахронии.....	74
3.2. Зависимость диахронии от синхронии.....	75
3.3. Зависимость синхронии от диахронии.....	76
<i>Приложение.</i> Языковая аллергия.....	79
<b>4. Семасиологический и ономасиологический методы в лингвистике .....</b>	<b>82</b>
<i>Приложение.</i> Четыре революции в европейской лингвистике.....	103
<b>5. Структурный и функциональный методы в лингвистике .....</b>	<b>110</b>
<i>Приложение.</i> Мемуар о предикато- и субъектоцентризме во фразообразовании .....	125
У истоков учения об актуальном членении предложения (период до Анри Вейля) .....	135
<b>6. Метод дисциплинарного анализа в лингвистике .....</b>	<b>145</b>
<i>Приложение.</i> Лингвокультурологические воззрения А.С. Пушкина.....	152
Лепицы и нелепицы в книге К.И. Чуковского «От двух до пяти» .....	163
О грамматическом статусе лексикологии .....	173
<b>7. Метод языкового поля и компонентного анализа .....</b>	<b>178</b>
<i>Приложение.</i> Структура лексико-семантического поля цели в ономасиологическом освещении .....	185
<b>8. Метод когнитивного анализа в лингвистике .....</b>	<b>196</b>
<i>Приложение.</i> К соотношению научной и языковой картин мира (на материале морфологической категории рода) .....	209
<b>9. Метод дискурсивного анализа в лингвистике .....</b>	<b>220</b>
<i>Приложение.</i> Юмористическая история культуры в «Голубой книге» М.М. Зощенко .....	227
На грани науки и искусства. О книге М.М. Зощенко «Перед восходом солнца» .....	240
Новаторство Леонида Филатова в сказке «Про Федота-стрельца, удалого молодца» .....	248
Вместо заключения. Отзыв о диссертации .....	271
Послесловие. Отзыв о курсе лекций В.П. Даниленко «Методы лингвистического анализа» .....	277

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Методы лингвистического анализа изучаются наукой, которая может быть названа лингвистической методологией или лингвистической гносеологией. Каково её место в научно-отраслевой структуре лингвистической науки в целом? Эту структуру можно изобразить следующим образом:



Если лингвистическая онтология – учение о бытии языка, то лингвистическая гносеология – учение о способах его познания. В свою очередь, внешняя лингвистика отличается от внутренней тем, что в первой язык изучается в связи с другими, неязыковыми, объектами, а во второй он исследуется как таковой. Но каждая из указанных областей знаний имеет свою научно-отраслевую структуру.

Основу научно-отраслевой структуры лингвистической гносеологии составляет система общих (философских) и частных (лингвистических) методов. Вот почему лингвогносеология делится на общую и частную. В общей лингвогносеологии исследуются методы, имеющие отношение к любой науке – абсолютистский, релятивистский, диалектический и т.п. В частной же лингвотипологии мы имеем дело с методами, которые могут использоваться не в любой науке, а лишь в некоторых – в частности, в лингвистике.

Частнолингвистические методы делятся на две группы – дихотомические и недихотомические. К первой из них относятся следующие диады методов:

- 1) унификационный – сравнительный;
- 2) синхронический – диахронический;
- 3) семасиологический – ономасиологический;
- 4) структурный – функциональный.

К основным недихотомическим методам лингвистического анализа относятся следующие:

- 1) дисциплинарного анализа;
- 2) языкового поля и компонентного анализа;
- 3) когнитивного анализа;
- 4) дискурсивного анализа.

Каждый из указанных методов анализа станет предметом специального рассмотрения в настоящем курсе лекций. Применение этих методов будет демонстрироваться на примере решения конкретных лингвистических проблем в приложениях. Теория – хорошо, но практика – лучше.

## Рекомендуемая литература

1. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований / под ред. Б.А. Серебренникова. – М., 1973.
2. *Арнольд И.В.* Основы научных исследований в лингвистике. – М., 1991.
3. *Сергеев Ф.П.* Основы лингвистического исследования. – Волгоград, 1997.
4. *Каде Т.Х.* Научные методы лингвистических исследований. – Краснодар, 1998.
5. *Хроленко А.Т., Бондалетов В.Л.* Теория языка. – М., 2004.
6. *Базылев В.Н.* Российская лингвистика XXI века: традиции и новации. – М., 2009.

Среди своих книг я назову здесь следующие:

1. Основы духовной культуры в картинах мира. – Иркутск: ИГУ, 1999.
2. Ономаσιологическое направление в грамматике. – 3-е изд., испр. – М.: ЛИБРОКОМ (УРСС), 2009.
3. Вильгельм фон Гумбольдт и неогумбольдтианство. – М.: ЛИБРОКОМ (УРСС), 2010.
4. Функциональная грамматика Вилема Матезиуса. Методологические особенности концепции. – М.: ЛИБРОКОМ (УРСС), 2010.
5. Введение в языкознание: курс лекций (с грифом УМО Министерства образования РФ). – М.: Флинта: Наука, 2010.
6. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций (с грифом УМО Министерства образования РФ). – М.: Флинта: Наука, 2009.
7. История русского языкознания: курс лекций (с грифом УМО Министерства образования РФ). – М.: Флинта: Наука, 2009.

См. также персональный сайт автора: <http://www.islu.ru/danilenko>.

---

## 1. ОБЩАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ

---

Общая гносеология иначе называется общенаучной или философской. Что такое философия? Наука, предметом которой является весь мир (вселенная, универсум), рассматриваемый, образно говоря, с высоты птичьего полёта.

Какова её дисциплинарная структура? Она включает в себя онтологию (теорию бытия) и гносеологию (теорию познания). Первая из них направлена на моделирование общенаучной (общей, философской) картины мира, а вторая – на изучение общенаучных (философских) методов или способов познания.

К построению философской картины мира идут двумя путями – непосредственным и опосредованным. В первом случае философ моделирует общую картину мира, непосредственно обращаясь к объективному миру – его физическим, биологическим, психологическим и культурологическим объектам, обращая внимание на объединяющие их свойства. Такие свойства обобщаются в философские категории: качество и количество, время и пространство, часть и целое, сущность и явление и т.д.

Второй путь к моделированию общенаучной картины мира состоит в обобщении данных, достигнутых частными науками – физикой, биологией, психологией и культурологией. В комплексе они создают научную картину мира.

Философская картина мира входит в научную, как общее в отдельное. Если научная картина мира в идеале направлена на воссоздание полного представления о мире, то философская – на воссоздание лишь общего представления о нём. Следовательно, она абстрагируется от частных, изучаемых той или иной частной наукой.

Каждая частная наука имеет дисциплинарную структуру, однотипную с философией. В каждой из них собственные онтология и гносеология: так, физики изучают свои методы познания, биологи – свои, а лингвисты – свои. В этом случае мы имеем дело с частными теориями познания, куда входит и лингвистическая гносеология.

Каково соотношение между общей и частными теориями познания? Первая входит во вторые, как общее в отдельное. Так, в линг-

вистическую гносеологию входит общая гносеология и специальная. Первая изучает такие методы познания, которые могут использоваться в любой науке, но в лингвистической гносеологии они получают разработку на соответственном – языковом – материале.

Специальная часть лингвистической гносеологии имеет дело не с общенаучными методами познания, как философская, а с собственно лингвистическими. Изучению специальных методов познания в лингвистике и посвящён этот курс лекций по преимуществу. Однако вначале мы должны обратиться к философской части лингвистической гносеологии. Она включает 1) знакомство с общенаучными методами познания как таковыми и 2) обнаружение этих методов в деятельности тех или иных языковедов.

Философским проблемам лингвистической гносеологии посвящены следующие книги:

1. Философские основы зарубежных направлений в языкознании / под ред. В.З. Панфилова. – М., 1977.

2. *Будагов Р.А.* Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени. – М., 1978.

3. *Панфилов В.З.* Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. – М., 1982.

4. *Серебренников Б.А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. – М., 1983.

5. *Серебренников Б.А.* К проблеме взаимоотношений общей методологии лингвистической науки и частных методов лингвистического исследования // Соотношение частнонаучных методов и методологии в филологической науке. – М., 1986.

6. Роль человеческого фактора в языке / под ред. Б.А. Серебренникова. – М., 1988.

7. *Степанов Ю.С.* Язык и метод. К современной философии языка. – М., 1998.

Философская гносеология выработала целую систему способов познания. Я предлагаю систематизировать их с помощью следующей таблицы:

ИДЕАЛИЗМ	АБСОЛЮТИЗМ	РЕЛЯТИВИЗМ	
	1	3	5
МАТЕРИАЛИЗМ	2	4	6
	МЕТАФИЗИКА		ДИАЛЕКТИКА

В основе этой системы лежат три противопоставления:

А: материализм – идеализм,

Б: метафизика – диалектика,

В: абсолютизм – релятивизм.

Материалистический способ познания исходит из положения о том, что объективная действительность существует независимо от субъекта познания, а следовательно, материалист в процессе познания постоянно держит в поле своего внимания и ту часть действительности, которая ему неизвестна. Идеалист же сводит объект познания к тому, что ему о нём известно. Он игнорирует ту часть действительности, которая находится за пределами его познания. Не случайно крайней формой идеализма является солипсизм, утверждающий, что весь мир есть лишь моё представление о нём. Языковед-идеалист сводит все языковые явления к тому материалу, который ему известен, тогда как языковед-материалист всегда осознает ограниченность его собственных знаний о языке.

Метафизический способ познания можно определить как способ, при котором субъект познания позволяет себе впадать в крайности – над ним начинает господствовать либо абсолютизм, либо релятивизм. В основе абсолютизма как гносеологического принципа лежит логика «или – или», а в основе релятивизма – логика «и – и». Для абсолютиста какой-либо человек или добр, или зол, а что сверх того, то от лукавого. Для релятивиста же он и добр, и зол.

Диалектик поднимается над односторонностью абсолютиста и релятивиста, находя окончательный ответ. Так, в языке имеются элементы как собственно языковые, так и неязыковые (в нём содержатся физические, психические и прочие компоненты). Как относится к этому факту абсолютист? Он отрицает наличие относительной границы между языковыми и неязыковыми явлениями, возводя между ними непреодолимую пропасть. Релятивист же, напротив, стирает границы между языком и окружающей его действительностью – физической, биологической и т.д. Диалектик, признавая в языке единство и борьбу языкового и неязыкового, исходит в конечном счёте из положения о том, что между языком и неязыковой действительностью существует относительная граница.

Обратимся же вновь к нашей таблице. Цифры на ней обозначают шесть гносеологических направлений, каждое из которых со-



вмещает в себе некоторую комбинацию идеализма и абсолютизма (1), материализма и абсолютизма (2) и т.д. В конечном счёте мы можем выделить следующие гносеологические направления:

- 1) идеалистический абсолютизм;
- 2) материалистический абсолютизм;
- 3) идеалистический релятивизм;
- 4) материалистический релятивизм;
- 5) идеалистическая диалектика;
- 6) материалистическая диалектика.

Рассмотрим каждое из этих направлений в отдельности на примере методологических позиций философов и лингвистов.

**Идеалистический абсолютизм.** Последовательным идеалистом-абсолютистом был немецкий философ И. Фихте (1762–1814). Как сторонник идеалистического способа познания, он писал: «...внутренний смысл и душа моей философии состоит в том, что человек не имеет вообще ничего, кроме опыта; человек приходит ко всему... только через опыт» (*Фихте И.* Ясное как солнце сообщение мировой публике о подлинной сущности новейшей философии. – М., 1937. С. 11). Как сторонник абсолютистского способа познания, он указывал: «Как раз из абсолютного противоположения вытекает весь механизм человеческого духа; и этот механизм не может быть объяснён иначе как через некоторое абсолютное противоположение» (там же. С. 209). «Абсолютное противоположение» – это не что иное, как логика «или – или». Она основывается на абсолютном противопоставлении А и не А.

Довольно последовательным сторонником идеалистического абсолютизма в языкознании был Ф. де Соссюр (1857–1913). Как идеалист, он учил исходить только из известного исследователю языкового опыта, а как абсолютист, строил свою концепцию на абсолютном противоположении языка и неязыковой действительности, языка и речи, синхронии и диахронии, внутренней лингвистики и внешней. Он стремился освободить язык от каких-либо противоположностей – неязыковых, речевых и индивидуальных. В результате этого он рассматривал язык как нечто автономное от окружающей действительности, в котором отсутствуют асистемность, диахроничность, «внеязыковость» и индивидуальность (асоциальность). В нём представлены только системность, синхроничность, «языковость» и социальность. Зато речи Ф. де Соссюра

приписывал асистемность, диахроничность, «безъязыковость» и индивидуальность. Становятся понятными в связи с этим такие его высказывания, как «язык, т.е. нечто социальное по существу и независимое от индивида» или «в речи нет ничего коллективного» и т.п. – см. его «Труды по языкознанию» (М., 1977).

**Материалистический абсолютизм.** Представителем данного гносеологического направления в философии был Д. Локк (1632–1704). Вот его слова, выражающие сущность материалистического способа познания: «Объём нашего познания не охватывает не только всех реально существующих вещей, но даже и области наших собственных идей» (Антология мировой философии: в 4 т. Т. 2 / под ред. В.В. Соколова. – М., 1970. С. 434). Но Д. Локк был также и приверженцем абсолютистской логики, которую иначе называют аристотелевской, или формальной. Он писал: «Итак, невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же» (там же. С. 412). Или: «Итак, невозможно, чтобы вместе было правильно сказать про одно и то же, что оно и является человеком, и не является человеком» (там же. С. 416). Д. Локк был яростным противником признания противоположностей в предмете исследования. Он писал: «Вообще люди... утверждающие возможность противоречия, уничтожают сущность и суть бытия» (там же. С. 417).

Материалистическую и абсолютистскую позиции в языкознании занимал американский учёный Л. Блумфильд (1887–1949). Материалистическая тенденция в его наследии заявляет о себе всюду, где автор не сводит язык к собственному представлению о нём. Абсолютистская же тенденция в его лингвистических представлениях связана с тем, что их автор, как и Ф. де Соссюр, стремился обособить языковые явления от неязыковых чересчур резко. Если Ф. де Соссюр стремился это сделать за счёт имманентизации языковой системы, то Л. Блумфильд делал это за счёт возведения в подлинный объект лингвистики речевой цепочки, которая соединяет говорящего и слушающего в процессе общения. Это сказалось на выдвигании синтагматических отношений в языке на первый план за счёт парадигматических.

**Идеалистический релятивизм.** Из позиций данного гносеологического принципа исходил в своих работах известный немецкий философ И. Кант (1724–1804). Он был автором теории антиномий

(противоречий). Философ усматривал противоречия в объективных явлениях. Тем самым он признавал релятивный момент в познании, однако не доводил разрешение антиномий до конца, возлагая при этом надежду на априорный (чистый) рассудок. «Обычное нежничанье с вещами, – писал в связи с этим Г. Гегель, – забываясь лишь о том, чтобы они не противоречили себе, забывает... что таким путем противоречие не разрешается, а переносится лишь в другое место, в субъективную или внешнюю рефлексию» (Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. – М., 1981. С. 121).

Идеалистический релятивизм нашёл своё выражение в лингвистической концепции К. Фосслера (1872–1949). Он стремился свести язык к художественному творчеству. Идеалистическая позиция сказалась у него в том, что он исходил в своих работах исключительно из эстетической природы языка. В свою очередь, релятивизм в его концепции выразился в преувеличении сходства между языком и искусством. К. Фосслер писал: «Если идеалистическое определение – язык есть духовное выражение – правильно, то тогда история языкового развития есть не что иное, как история духовных форм выражения, следовательно, история искусства в самом широком смысле этого слова» (Звегинцев В.А. Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX веков. – М., 1956. С. 121).

**Материалистический релятивизм.** На позициях данного гносеологического направления стоял известный немецкий философ Л. Фейербах (1804–1872). Материализм в его взглядах выразился в том, что он не сводил внешний, объективный мир к внутреннему, субъективному. Релятивизм же Л. Фейербаха состоит в его увлечении, связанном с уподоблением Бога человеку, которое привело его к стиранию границ между Богом и человеком. Он не мог перешагнуть через этот релятивный момент к абсолютному, т.е. и к противопоставлению Бога человеку. «Сущность Бога, – писал Л. Фейербах, – есть человеческая сущность... Главная наша задача выполнена. Мы свели всемирную, сверхъестественную сущность Бога к составным частям существа человеческого» (Антология мировой философии. Т. 3. – М., 1971. С. 448).

Из позиций материалистического релятивизма исходил в своих лингвистических исследованиях немецкий языковед А. Шляйхер (1821–1868). Он хотя и не сводил объективный мир к

субъективному, всё-таки так увлёкся уподоблением языков живым организмам, что в некоторых случаях перестал замечать разницу между языком и живым организмом (так, он считал, что в языковой истории действует закон борьбы за существование).

Во второй половине XX в. у А. Шляйхера появился методологический союзник – Умберто Матурана (род. в 1928). Он создал теорию, где представлена явная тенденция к биологизации (анимализации) человеческого языка. Она базируется на преувеличении сходства между ним и «языками» животных (см. об этом в моей статье «Биологизация языка в теории автопоэзиса У. Матураны». Она помещена в приложении к моей книге «Вильгельм фон Гумбольдт и неогумбольдтианство» (М., 2010. С. 188–211).

**Идеалистическая диалектика.** Её вершина – Георг Гегель (1770–1831). В сжатом виде она изложена лишь в трёх параграфах (80–82) его краткой «Науки логики» (М., 1975. С. 202–213).

Первый момент диалектического метода познания является абсолютным («рассудочным»). В этот момент противоположности рассматриваются в их «борьбе», как абсолютные противоположности (по формуле  $A \neq \text{не } A$ ). Отец и сын, например, в этот момент рассматриваются как совершенно разные люди. Следующий момент в диалектическом познании – релятивный («диалектический»). В этот момент противоположности рассматриваются в единстве, граница между ними стирается по формуле  $A = \text{не } A$ . Отец и сын в нашем примере уравниваются – на том, что их объединяет, сосредоточивается внимание исследователя. Третий момент диалектического познания – новая ступень в исследовании предмета. Это диалектический момент как таковой. Г. Гегель называл его «спекулятивным». Опираясь на тщательное изучение исследуемого предмета, которое предполагает и обращение к его истории, субъект познания приходит к окончательному выводу о том, какой момент – абсолютный или релятивный – преобладает в этом предмете (по формуле  $A \neq \text{не } A$ ,  $A = \text{не } A$ , в конечном счёте  $A \neq \text{не } A$  или  $A = \text{не } A$ ). В случае с отцом выявляется, что же в нём преобладает, – то, что его объединяет с сыном или, напротив, разъединяет. Вывод может быть разным. Это должно показать конкретное исследование. Истина всегда конкретна. Если мы придём к верному выводу, будем материалистами, а если ошибёмся – идеалистами. Г. Гегель в конечном счёте ошибался, поскольку рассма-

тривал объективный мир как развёртывание некоей абсолютной идеи (т.е. Бога).

На позициях идеалистической диалектики стояли неогумбольдтианцы (Э. Сэпир, Б. Уорф, Л. Вайсгербер и др.). Они признавали отношение между языком и мышлением как абсолютное и релятивное, при котором признавалось и взаимное их влияние друг на друга. Однако в конечном счете неогумбольдтианцы приходили к неверному выводу о том, что доминирующим в этом влиянии является язык, а не мышление (см. уже упомянутую книгу).

**Материалистическая диалектика.** Главным трудом по теории материалистической диалектики считают «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса. Вот как он описывал познавательную деятельность абсолютиста («метафизика»): «Для метафизика вещи и их мысленные отражения, понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит сплошными непосредственными противоположностями, речь его состоит из: “да-да”, “нет-нет”, “а что сверх того, то от лукавого”» (Энгельс Ф. Анти-Дюринг. – М., 1973. С. 17). И там же далее: «Для него вещь или существует, или не существует, и точно так же вещь не может быть самой собой и в то же время иной. Положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга, причина и следствие по отношению друг к другу тоже находятся в застывшей противоположности». В первой цитате речь идёт об абсолютистском способе познания, а во второй он противопоставляется диалектическому на уровне релятивного момента в познании (в причине есть следствие и наоборот, в положительном есть отрицательное и наоборот и т.д.).

В третий момент диалектического мышления субъект познания приходит к окончательному выводу о доминирующей природе изучаемого явления (где в конечном счёте причина, а где следствие?). Для конечного вывода необходимо исследовать предмет познания всесторонне, в связи с другими предметами и его историей. Охарактеризовывая этот процесс, Ф. Энгельс писал: «Для диалектики же, для которой существенно то, что она берёт вещи и их умственные отражения в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении...» (там же. С. 18).

Процесс перехода одного явления в другое объясняется в диалектике с помощью учения о трёх законах – единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные и отрицания отрицания. Так, жизнь всегда существует в единстве и борьбе со своей противоположностью – смертью. Приходит время, и в этой борьбе смерть одерживает верх над жизнью. Иначе говоря, наступает время, когда жизнь переходит в свою противоположность. Этот переход связан с тем, что смерть входит в жизнь в виде болезней, в результате увеличения которых, как правило, жизнь и меняет свое качество. Тем самым происходит отрицание отрицания, т.е. смерть отрицает свое отрицание – жизнь.

После 1917 г. в отечественном языкознании предпринимаются попытки переосмыслить теорию языка с диалектико-материалистических позиций. Эти попытки, однако, не имели большого успеха. С конца 20-х вплоть до 50-х годов на господствующее положение выдвинулись «яфетидология» и «новое учение о языке» Н.Я. Марра. Эти теории оказались вульгарно марксистскими. Их автор чересчур прямолинейно выводил языковые закономерности из общественных (так, различные типы языков – корнеизолирующих, агглютинативный и т.п. – он связывал с определенными типами общественно-экономических формаций – первобытно-общинной, рабовладельческой и т.п.). В этом сказался явный релятивизм в отношении к проблеме «язык и общество».

В начале 50-х годов марризм был повергнут. Однако диалектико-материалистическое языкознание до сих пор не создано, хотя такие попытки предпринимали у нас Р.А. Будагов, Б.А. Серебренников, В.З. Панфилов и др.

Почему перечисленным учёным не удалось направить лингвистическую науку по диалектико-материалистическому пути? Ответ на этот вопрос напрашивается сам: к сожалению, они слишком далеки были от теории эволюции.

Эволюционизм – вот истинный фундамент общей гносеологии. В чём его суть? В том, чтобы научиться быть универсальным эволюционистом.

Быть универсальным эволюционистом – значит быть проводником эволюционного мировоззрения. Его носитель видит в мире результат его многомиллионного развития, или эволюции. Слово «эволюция» восходит к латинскому *evolutio*, что значит «развёрты-

ваю, развиваю». Его антоним – «инволюция». Он происходит от латинского *involutio* (свёртываю). Развёртывающийся, расцветающий, раскрывающийся цветок – пример эволюции; свёртывающийся, вянущий, закрывающийся цветок – пример инволюции. Другой пример: движение от обезьяны к человеку (гоминизация) – пример эволюции, а обратное движение (анимализация) – пример инволюции.

Весь мир часто называют *универсумом*, а его эволюцию – *унигенезом*. Но у мира есть ещё и метафорическое название – *мироздание*. Следует сразу уточнить: мироздание *четырёхэтажное*.

На первом этаже мироздания расположилась физическая природа (вода, горы, воздух и т.д.). Её можно назвать также физиосферой. Внутри этого, нижнего, этажа происходит её эволюция – физиогенез. У физиосферы нет эволюционного возраста, потому что она вечна. Но эволюционный возраст Земли известен – около 5 миллиардов лет.

На втором этаже мироздания расположилась живая природа (растения, животные, люди). Её можно также назвать биосферой. Внутри этого этажа происходит её эволюция – биогенез. Предполагают, что жизнь возникла на Земле 3,5 миллиарда лет назад. Выходит, что эволюционный возраст биосферы – 3,5 миллиарда лет.

На третьем этаже мироздания мы обнаруживаем психику (ощущения, восприятия, представления, понятия и т.д.). Её можно назвать также психосферой. Внутри этого этажа протекает её эволюция – психогенез. Если психическую способность приписывать всем животным, то можно сказать, что эволюционный возраст психосферы совпадает с возрастом животных.

На четвёртом этаже мироздания, наконец, расположилась культура (пища, одежда, жилище, техника, религия, наука, искусство, нравственность и т.д.). Её можно назвать также культуросферой. Внутри этого, верхнего, этажа происходит её эволюция – культурогенез. Эволюционный возраст культуросферы совпадает с эволюционным возрастом человечества, поскольку создателем культуры стал человек. Собственно говоря, наш животный предок потому и начал превращаться в человека, что стал создавать культуру. Вот почему культурогенез можно назвать также антропогенезом или гоминизацией (очеловечением). Эволюционный возраст человечества определяется в 3–5 миллионов лет. Таков и эволюционный возраст культуры.

Как благостно выглядит этот набросок четырёхэтажного мироздания! В каждом его этаже мы видим только движение вперёд, только один прогресс, только одну эволюцию! Но, увы, у эволюции имеется и её обратная сторона – инволюция (регресс). Вот почему в только что изображённое мироздание мы должны внести существенное дополнение.

Физиогенез, биогенез, психогенез и культурогенез не существуют сами по себе. Они представляют собою разные формы эволюции. Но существуют и аналогичные формы инволюции. Воспользовавшись латинской приставкой «а-», подобной нашей «не-», мы можем назвать эти формы афизиогенезом, абиогенезом, апсихогенезом и акультурогенезом.

В каждом этаже мироздания мы обнаруживаем единство и борьбу эволюции и инволюции – физиогенеза и афизиогенеза, биогенеза и абиогенеза, психогенеза и апсихогенеза, культурогенеза и акультурогенеза. Всё дело лишь в том, чтобы в борьбе, о которой идёт речь, эволюция одерживала верх над инволюцией. В противном случае в истории человечества произойдёт переворот, о последствиях которого мы можем сейчас лишь догадываться. Он перевернёт этот мир с ног на голову, поскольку будет состоять в замене эволюции на инволюцию. Это означает, что силы последней начнут одерживать верх над силами первой. Эволюционное, прогрессивное движение станет уступать место инволюционному, регрессивному. Эволюция в этом случае придёт к своему исходному пункту. Для людей это не что иное, как человекообразное обезьянье стадо.

О замене эволюционной доминанты в мире на инволюционную уже и сейчас свидетельствуют очень многие факты. Возьмём для начала соотношение между физиогенезом и афизиогенезом. Теория большого взрыва предсказывает, что в далёком будущем расширение Вселенной сменится её сужением. Это, очевидно, означает, что эволюция в физиосфере (физиогенез) уступит место инволюции (афизиогенезу), поскольку конечным пунктом её сужения станет сверхплотное вещество, подобное тому, из которого произошла современная Вселенная.

До господства афизиогенеза над физиогенезом, к счастью, ещё очень далеко, но теоретически это господство по существу означает уничтожение всех этажей мироздания, возвышающихся над его первым этажом.



А как обстоит дело со вторым этажом мироздания, пока его не тронул далёкий афизиогенез? Происходит ли эволюция живой природы в наше время?

В начале 30-х годов XX в. южноафриканский биолог Р. Броом пытался остановить эволюцию живой природы. Он заявил о её конце. Более того, он утверждал, что птицы и млекопитающие перестали эволюционировать 40 миллионов лет назад. Британский палеоантрополог А. Кейтс отреагировал на заявление Р. Броома о конце эволюции таким образом: «Не существует фактов, которые заставили бы нас уверовать в то, что природа сегодня менее плодотворна, чем раньше» (*Галл Я.М. Джулиан Сорелл Хаксли. – М., 2004. С. 188*). Точку зрения Р. Броома, как ни странно, поддержал знаменитый английский биолог Дж. Хаксли. Но мы должны присоединиться к А. Кейтсу. Мы пока ещё живём в мире, где эволюция – в том числе и в живой природе – господствует над инволюцией. Но из этого оптимистического заявления вовсе не следует вывод о том, что в современной биосфере, как и в физиосфере, всё благополучно. Экологи кричат об обратном. Возьмём для экономии времени только заголовки из статьи одного из них. Вот они: *Ресурсы морей и лесов почти исчерпаны; «Легкие» земли нуждаются в лечении; Появились признаки изменения климата; В мире сохранилось не больше шести тысяч тигров; Экологическая эмиграция (Александровский А. Планета тяжело больна. Повинен в этом человек: <http://nauka.relis.ru/09/9709/09709025.htm>).*

Афизиогенез и абиогенез в современном мире навязаны природе ненасытными человеческими потребностями. По поводу насильственной инволюции в живой природе А. Александровский пишет: «В сегодняшней ситуации, когда леса вырубаются каждый год, в них исчезают примерно 27 тысяч видов. Это значит 74 вида в день, или 3 вида в час. А в непотревоженной природе гибнет лишь один вид в год» (там же).

Инволюционные процессы охватили сейчас всю культуру, но в особенности духовную культуру в России. Мы видим в ней настоящий инволюционный шабаш: лженаука подпирает науку, лжеискусство – искусство, лженравственность – нравственность, лжеполитика – политику и т.д.

Возьмём, например, современный русский литературный язык. Он – великое достояние русского народа, в создании которого

принимали участие А.С. Пушкин и А.А. Блок, Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, Д.И. Менделеев и И.П. Павлов, В.И. Вернадский и М.М. Бахтин. И многие, многие другие. Что же мы видим здесь сейчас? Мы видим, в частности, стремление некоторых писателей легализовать, узаконить, облагородить матерщину.

Главным апологетом матерщины у нас стал в последнее время известный писатель и телешоумен Виктор Ерофеев. Опираясь на опыт употребления матерщины в своих произведениях и степень кандидата филологических наук, он написал эссе «Поле русской брани», которое включил в свою книгу с «вдохновляющим» названием – «Русский апокалипсис». В этом эссе он занял «просветительскую» позицию по отношению к мату. Суть этой позиции сводится к легализации матерщины. Её распространение, в частности, в художественной литературе, с его точки зрения, может снять с неё проклятие нецензурного запрета, и тем самым она может привести в литературный язык только ей свойственный эмоциональный колорит. Всё дело здесь лишь в том, чтобы преодолеть психологический барьер, мешающий нам оценить прелесть крепкого матерного словца. Сам он этот барьер, похоже, вполне преодолел. Судите сами. Летом 2008 г. на страницах «Литературной газеты» была организована дискуссия о матерщине, на которой В. Ерофеев поведал: «Я совершенно спокойно отношусь к мату. Я считаю, что это красивые, замечательные слова. Использую их достаточно часто в своих книгах. Считаю, что если есть палитра русского языка, то эти слова тоже включаются в неё, являются какой-то краской. Я совершенно не думаю о реакции читателя. Мне надоело о ней думать» (Круглый стол «Нецензурная словесность» // Литературная газета. – 2008. – Вып. 32).

О наступлении инволюции в психогенезе и культурогенезе в нашей стране особенно ярко свидетельствует статистика. Вот что мы можем прочитать о ней в одной из газет: «Статистика утверждает, что в России демографическая катастрофа. Проще говоря, мы вымираем. К примеру, в Ираке уже который год звучат выстрелы, раздаются взрывы и гибнут люди, однако у нас в стране уровень смертности в три раза выше (общий коэффициент смертности в Ираке – 5,26, в России – 16,04). У нас в основном умирают мужчины трудоспособного возраста, как во время войны. Россияне массово гибнут на этой странной войне и не замечают её. Люди не успе-

вают хоронить своих родных и близких, но не обращают внимания на неестественность происходящего. Ощущение какого-то дурного сна. Такое чувство, будто бы мы все повредились рассудком. И статистика об этом однозначно свидетельствует. Так, Россия занимает:

1-е место в мире по заболеваниям психики;

1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей, подростков и пожилых людей;

1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями;

1-е место в Европе по числу умерших от пьянства и табакокурения;

1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров» (*Козырев А.* Рекорды и антирекорды России: <http://www.contr-tv.ru/repress/2689>).

Итак, внутри каждого этажа мироздания вовсе нет полной эволюционной гармонии. Эволюции в них приходится либо мирно сосуществовать, либо сражаться с инволюцией. Но и инволюция не дремлет. У неё есть свои апостолы и адвокаты. К ним относится, например, А.П. Никонов. Лейтмотив его книги «Апгрейд обезьяны» (М., 2004) такой: «Во всех наших поступках нами до сих пор руководит обезьяна, которая сидит внутри нас» (с. 35). Кто вами руководит, например, когда вы открываете А.А. Блока и читаете:

«О, я хочу безумно жить:  
Всё сущее – увековечить,  
Безличное – вочеловечить,  
Несбывшееся – воплотить!»?

У кого же повернётся язык ответить на этот вопрос по-никоновски? Пропагандист человеческой инволюции, А.П. Никонов приветствует и культивирует в своей книге превращение человека в животное вообще (его анимализацию) и его инволюцию к своим обезьяньим предкам в частности (его приматизацию).

Как видим, каждый этаж мироздания, а стало быть, и мироздание в целом вмещает в себя не только эволюцию, но и инволюцию. Как та, так и другая должны исследоваться наукой. Каким образом мы можем представить себе классификацию базовых наук?

Каждый этаж мироздания изучается особой наукой. Его первый этаж изучается физикой, второй этаж – биологией, третий

этаж – психологией и четвёртый этаж – культурологией. Каждая из этих четырёх наук называется *частной*, поскольку она изучает лишь соответствующую *часть* мира. Но есть ещё и *общая* наука, возвышающаяся над всеми частными науками, *обобщающая* достижения всех частных наук. Эта наука называется философией.

Классификацию базовых наук, таким образом, можно изобразить такой таблицей:

ФИЛОСОФИЯ			
ФИЗИКА	БИОЛОГИЯ	ПСИХОЛОГИЯ	КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Все пять названных мной наук называются базовыми потому, что они составляют основу (базу) для других наук – входящих в эти пять базовых наук. Так, в физику входят такие науки, как астрономия, геология, гидрология и т.п., в биологию – ботаника, зоология, генетика и т.п., в психологию – зоопсихология и психология человека, а в культурологию – науки о материальной культуре и духовной культуре. В последние следует включить религиоведение, науковедение, искусствоведение, этику, политологию и лингвистику. Предметами их изучения являются шесть компонентов духовной культуры – религия, наука, искусство, нравственность, политика и язык.

Философия – наука наук. Она опирается на четыре частные науки, чтобы обобщить их в единую философскую (общенаучную) картину мира. Степень её истинности в первую очередь зависит от наличия в сознании её создателей единственно научного мировоззрения – эволюционизма. Но эволюционизм не должен оставаться привилегией философов. Он уже охватил все частные науки. Более того, он охватит в будущем обыденное сознание. Именно эволюционизм позволит человечеству выжить. Но у эволюционизма есть грозный соперник – инволюционизм.

Если эволюционизм – мировоззрение создателей, то инволюционизм – мировоззрение разрушителей. Его представители есть повсюду – в религии, науке, искусстве, нравственности, политике, языке и т.д. Они возвращают человека к его животным предкам, анимализируют его.

От исхода борьбы между эволюционизмом и инволюционизмом в конечном счёте зависит судьба человечества. Н.Н. Моисеев

писал: «...два исхода: либо нас ожидает судьба динозавров, когда-то бывших властителями Земли, либо энергия, талант, ВОЛЯ человечества как единого целого найдут и утвердят качественно новые формы своей жизни в составе нашей биосферы. Но при любом исходе это будет уже действительно другая и нам пока ещё незнакомая планета, хотя она, может быть, и сохранит своё старое название, если будет кому произносить подобные слова! Третьего исхода не дано!» (Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. – М., 1998. С. 36).

«Энергия, талант, ВОЛЯ человечества», надо полагать, вовсе не свалятся с неба. Их нужно развивать! Но это невозможно без эволюционного взгляда на мир.

## *Приложение*

### **ЭВОЛЮЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА В КОНЦЕПЦИИ ПЬЕРА ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА**

Что такое эволюция – теорема, система, гипотеза?.. Нет, нечто гораздо большее, чем всё это: она – основное условие, которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий факты, кривая, в которой должны сомкнуться все линии, – вот что такое эволюция.

*Пьер Тейяр де Шарден*

Большую роль в формировании целостного представления о мире играет философия. Она призвана создавать свою, философскую, картину мира. Её главные задачи здесь состоят в следующем:

- 1) представить универсальные категории в системе;
- 2) представить мир в целом в виде модели, которая предполагает членение мира на его глобальные части. В нашей модели это: 1) универсальное, 2) физиосфера, 3) биосфера, 4) психика, 5) культура.

Проблема систематизации философских категорий была в своё время весьма популярной в нашей науке. Непосредственно эта проблема разрабатывалась в работах В.П. Тугаринова, Е.С. Кузьмина, В.С. Библера, Е.П. Ситковского, А.Е. Фурмана, О.С. Зелькиной,

А.П. Шептулина, В.Н. Сагатовского, П.В. Алексеева, Е.Д. Гражданникова и др.

В настоящее время мы наблюдаем в философии явную смену ценностных ориентиров, но, очевидно, интерес к систематизации философских категорий в будущем должен возродиться. Один из уроков, который может быть извлечён из прошлого опыта разработки данной проблемы, по-видимому, должен состоять в выводе о том, что ни одна система философских категорий не может претендовать на статус единственно правильной. Любая система такого рода, очевидно, должна расцениваться как одна из картин мира, рассматриваемая с точки зрения её общих категорий. В ней всегда будет присутствовать субъективно-мировоззренческий аспект. Так, на выбор базовых философских категорий и принципов их систематизации может повлиять системно-эволюционная точка зрения на мир.

Указанная точка зрения предполагает, что мир, как он существует сейчас, представляет собою более или менее устойчивую систему четырёх видов объектов – физических, биологических, психологических и культурологических. Но эта система – результат долгой эволюции нашего мира, которая осуществлялась в направлении от неорганической материи к живой природе, от органической материи к психике и от неё к культуре. Перечисленные глобальные компоненты мира – неорганическая материя, живая природа, психика и культура – в историческом плане составляют его эволюционные звенья.

Эволюционная точка зрения на мир, взятый на этапе его физического развития, предполагает бытие только этого, мёртвого, мира и небытие будущих «миров» – органического, психического и культурного. Следовательно, на первое место в системе философских категорий могут быть поставлены категории *бытия* и *небытия*. Следующее место в этой системе могут занять категории *предмета (сущего)* и *признака (свойства)*, поскольку они представляют бытие в его более конкретном виде: говорить о бытии значит говорить о бытии какого-либо предмета и его признаках.

На третьем месте в системе, о которой идёт речь, могли бы оказаться категории *части* и *целого*. Без этих категорий невозможно объяснить эволюционное движение глобальных компонентов мира. В самом деле, жизнь зародилась в недрах неорганического

мира как часть в целом, подобно тому, как психика обязана своим зарождением живой материи, а культура появилась благодаря достаточно высокому уровню психического развития наших животных предков. Во всех этих случаях мы наблюдаем отношения части и целого, если иметь в виду момент зарождения одного эволюционного звена в недрах другого.

Появление нового звена (например, жизни) в эволюционном развитии мира свидетельствует о переходе части в целое. Но новое целое сохраняет нечто общее со старым целым (неорганической материей): живое существо сохраняет в себе физическую материю, хотя оно и представляет собою уже новую, органическую, форму её существования, т.е. обладает индивидуальностью. После категорий «часть – целое», таким образом, мы могли бы поставить категории *общего* и *индивидуального*. Далее могли бы следовать категории *сущности* и *явления*, поскольку эволюционная теория не может объяснить природу того или иного явления без определения его сущности (например, сущности жизни в её конкретных проявлениях).

Переход одного эволюционного звена в другое нельзя объяснить без категорий *внутреннего* и *внешнего*, *качества* и *количества*, поскольку этот переход предполагает накопление в предшествующем эволюционном звене значительного количества новых качеств, благодаря которому новое эволюционное звено выходит из внутреннего состояния во внешнее. В таком случае категории внутреннего и внешнего, качества и количества близки к категориям *причины* и *следствия*: накопление значительного количества новых качеств внутри предшествующего эволюционного звена может рассматриваться как причина появления последующего эволюционного звена.

Подобным образом мы можем систематизировать и другие философские категории – *необходимость* и *случайность*, *возможность* и *действительность* и т.д. Без связи данных категорий с определённым представлением о мире мы воспринимаем их чуть ли не как пустые абстракции. Система философских категорий должна, на наш взгляд, в общем виде предварять более конкретное представление о мире.

Е.Д. Гражданников писал: «Если удастся построить строгую систему философских категорий, то, во-первых, это будет пусть

небольшая, но самая главная, исходная часть идеографического словаря, во-вторых, это будет образец, которому могут следовать составители словаря по классификации других разделов. Следовательно, возможен философский подход к составлению идеографического тезаурусного словаря» (*Гражданников Е.Д. Метод систематизации философских категорий.* – Новосибирск, 1985. С. 31). Далее он указывал: «Таким образом, можно подходить к систематизации философских категорий как к составлению объективно упорядоченного идеографического тезаурусного словаря» (там же. С. 32).

Системно-эволюционное представление о мире, с нашей точки зрения, даёт возможность связать философские категории в подлинную систему, которая – при предварительном текстуальном комментарии – может войти в лингвистическую картину мира. В подобном комментарии нуждается и терминологическое моделирование других рубрик лингвистической картины мира – «Физическая природа», «Живая природа» и т.д. Такого рода комментарии, очевидно, не могут обойтись без обращения к современным эволюционным теориям. Рассмотрим здесь только одну из них – теорию П. Тейяра де Шардена.

Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955) был настоящим рыцарем эволюционизма. Он был убеждён, что эволюционизм, как свет, идущий от огня Прометея, озаряет все факты, что это кривая, в которой должны сомкнуться все линии (*Тейяр де Шарден П. Феномен человека.* – М., 1987. С. 12–13).

Как ни странно, до сих пор эволюционное мировоззрение не стало общепринятым, а между тем можно не сомневаться, что прогресс науки главным образом зависит от того, станет или не станет оно господствующим в будущем. В противном случае в решении проблемы научной картины мира будущее человечество вряд ли сумеет сколько-нибудь существенно продвинуться вперёд.

Картина мира, представленная П. Тейяром в его знаменитой книге «Феномен человека», которую он назвал «введением к объяснению мира» (*Тейяр де Шарден П. Феномен человека.* – М., 1987. С. 36), подчёркнуто антропоцентрична. Он называет человека то «ключом универсума» (там же. С. 37), то «центром конструирования универсума» (с. 38), то «вершиной (на данный момент) антропогенеза, который сам венчает космогенез» (с. 39), то «пунктом со-



средоточения и гоминизации универсального стремления к жизни» (с. 40).

Великий эволюционист оберегал поклонников от «дурного антропоцентризма», который он усматривал в деятельности юристов, которые исследуют человека как такового вне эволюции универсума в целом. «Человек – не статический центр мира, – указывал Т. Тейяр, – как он долго полагал, а ось и вершина эволюции, что много прекраснее» (с. 40).

Самому П. Тейяру, на наш взгляд, не удалось избежать издержек антропоцентризма. Так, он считал, что всю науку нужно в конечном счёте сводить к человеку. Нельзя согласиться и с таким его суждением: «С самого начала своего существования человек представляет зрелище для самого себя. Фактически он уже десятки веков смотрит лишь (? – В.Д.) на себя» (с. 38).

П. Тейяр выделил четыре эволюционных ступени – *преджизнь*, *жизнь*, *мысль* и *сверхжизнь*. Каждой из них посвящён особый раздел в его основном труде. Он писал: «Человек не может полностью видеть ни себя вне человечества, ни человечество – вне жизни, ни жизнь – вне универсума. Отсюда основные разделы данного труда: преджизнь, жизнь, мысль – эти три события чертят в прошлом и определяют на будущее (сверхжизнь!) одну и ту же траекторию – кривую феномена человека» (с. 39).

Преджизнь – это физическая эволюция универсума до появления в нём живых существ. Эволюция в целом, по П. Тейяру, подчинена великому закону усложнения. Вот почему «переносить предмет назад в прошлое равносильно тому, чтобы сводить его к наиболее простым элементам» (с. 43).

Вот как П. Тейяр описывает начало физической эволюции: «В самом низу, в начале, ещё непосредственная, невыразимая образно простота световой природы. Затем, внезапно – кишение элементарных частиц, положительных и отрицательных (протоны, нейтроны, электроны, фотоны...), список которых непрерывно увеличивается. Затем идёт гармонический ряд простых тел, следующих от водорода до урана по нотам атомной гаммы. Далее – огромное разнообразие сложных тел; их молекулярные массы поднимаются до определённой критической величины, выше которой, как мы увидим, происходит переход к жизни» (с. 48–49).

Живые существа обязаны своим появлением наличием в первичной материи тонкого «биологического» (органического) слоя. «Первичная материя, – указывал П. Тейяр, – представляет собой нечто большее, чем кишение частиц... Под этим первичным механическим слоем следует представить себе до крайности тонкий, но абсолютно необходимый для объяснения состояния космоса в последующие времена “биологический” слой» (с. 55).

Благодаря органическому слою, имеющемуся уже в преджизненной материи, на Земле возникли первые живые существа, которые «выступают перед нами и по количеству как своего рода «мега-» или «ультрамолекулы» (с. 57), эволюция которых пошла по пути всё большего их усложнения – «от одноклеточных ко всё более высокоразвитым многоклеточным» (с. 58). Их эволюция протекала в условиях физической эволюции, приведшей к образованию барисферы, литосферы, гидросферы, атмосферы, стратосферы. Планета Земля, по мнению П. Тейяра, миллиарды лет тому назад представляла собою «лоскут материи» (с. 63), оторвавшийся от Солнца.

Резюмируя первый раздел своей книги, П. Тейяр писал: «Земля, вероятно, возникла случайно. Но, согласно одному из самых общих законов эволюции, этот случай, едва появившись, был немедленно использован, преобразован в нечто закономерно направляемое. Самым механизмом своего возникновения плёнка, в которой сосредоточивается и углубляется внутреннее Земли, выступает перед нами в форме органического целого, где ни один элемент нельзя уже отделить от окружающих его других элементов. В сердце великого неделимого – универсума – появилось новое неделимое. Поистине – предбиосфера» (с. 68).

Переход предбиосферы в биосферу (предживого в живое) описывается П. Тейяром как появление множества «малюсеньких существ» в водной оболочке Земли, которые возникли из углеродистых молекул. Главная особенность этих существ – клеточное строение. «Собственно жизнь, – пишет в связи с этим ученый, – начинается с клетки... Клетка – естественная крупинка жизни, как атом – естественная крупинка неорганизованной материи» (с. 72–73).

Почему произошёл переход предживого в живое (мегамолекул в клетки)? «Мы, вероятно, никогда этого не узнаем», – отвечает эволюционист (с. 72), хотя теоретически он и допускал экспери-

ментальное доказательство этого перехода будущей наукой. Тем самым он выразил своё несогласие с заключением, выводимым из опытов Л. Пастера, о невозможности самозарождения.

Переход от мегамолекул к клетке, с точки зрения П. Тейяра, происходил одновременно во многих местах первичного океана. Этим объясняется будущее многообразие жизни. «Нарождающийся мир клеток, – писал П. Тейяр, – уже обнаруживается как бесконечно сложный. По причине то ли многочисленности точек её зарождения, то ли быстрого возникновения разнообразия из нескольких очагов, то ли, следует добавить, местных различий (климатических или химических) в водной оболочке Земли, но мы приходим к пониманию жизни, в её протоклеточной стадии, как огромного пучка полиморфных волокон» (с. 83).

Полифилетизм (т.е. признание множества очагов зарождения жизни) у П. Тейяра сочетается с монофилетизмом. Подтверждение последнего мы находим у него в таких словах: «В сущности, лучшее доказательство того, что жизнь только однажды появилась на Земле, – это, как мне кажется, глубокое структурное единство древа жизни» (с. 86).

Долгий процесс видообразования в живой природе (филообразования) П. Тейяр описывал в виде разветвляющегося древа. Появлению на нём новых фил-ветвей, по П. Тейяру, предшествует состояние мутации, т.е. накопление необычных для данной филы особенностей. В этом случае, указывал учёный, «открывается путь для новой пульсации жизни, которая вскоре под влиянием комбинированных сил сцепления и разъединения в свою очередь делится на мутовки. Возникает новая филы, которая растёт и распускается над ответвлением, на котором возникла, не обязательно заглушая и истокая его. Быть может, пока на ней самой не вырастет третья ветвь, затем четвёртая, если, конечно, взято правильное направление и если это позволяет общее равновесие биосферы» (с. 101).

В животном царстве процесс филообразования привёл к выделению четырех «главных радиаций»: травоядные, насекомоядные, плотоядные и всеядные. Это наземные типы животных, но есть также воздушные (летающие), водные (плавающие) и подземные (землероющие) филы.

Переходя от физической эволюции (физиогенеза) и биотической эволюции (биогенеза) к психической эволюции (психиге-

незу), П. Тейяр писал: «Эволюция элементов по законам радиоактивности, разделение гранитных континентов, может быть, обособление внутренних оболочек земного шара и многие другие преобразования, помимо развития жизни, несомненно, образуют постоянную ноту в ритмах Земли. Но с тех пор, как жизнь выделилась из материи, все эти различные процессы потеряли качество важнейшего события. С появлением первых белковых веществ сущность земного феномена определённо переместилась – она сосредоточилась в столь с виду ничтожной пленке биосферы. Ось геогенеза окончилась, отныне она продолжается в биогенезе. А этот последний в конечном итоге выражается в психогенезе» (с. 125).

П. Тейяр был панпсихистом, т.е. приписывал сознание не только живой, но и неживой материи. Вот почему мы можем прочесть у него такие предложения: «В земной материи была замкнута некоторая масса элементарного сознания» (с. 66), «Некое рудиментарное сознание предшествует появлению жизни» (с. 79). «Первоначальные пылинки сознания» (с. 67) в представлении П. Тейяра летали уже по безжизненному миру. В данном случае теолог в нём берет верх над учёным.

О начале психогенеза в собственном смысле этого слова, по-видимому, можно говорить с момента появления у животных нервных клеток. Они стали материальной основой их психической деятельности. Результатом их эволюции стала нервная система, её главным компонентом является мозг. «Мозг, – писал П. Тейяр, – указатель и мера сознания» (с. 122).

Психическому фактору в эволюции животных П. Тейяр отдавал предпочтение перед биологическим фактором. «Согласно ныне существующим представлениям, – писал он в связи с этим, – животное развивает свои инстинкты хищника, потому что его коренные зубы становятся острыми, а лапы когтистыми. Но не следует ли перевернуть это предложение? Иначе говоря, не потому ли как раз тигр удлинит свои клыки и заострит свои когти, что по линии своих предков он получил, развил и передал потомкам “душу хищника”? И то же самое относится к другим животным...» (с. 125–126).

Психическая эволюция у разных видов животных принесла разные плоды. Так, насекомые в своём психическом развитии, по мнению учёного, «кажется, достигли своего конечного потолка»,

поскольку «им никак не удаётся перейти в другую плоскость развития» (с. 128). Главную причину их эволюционного топтания на месте он усматривает в малом размере их организма в целом и их мозга в частности. «Высшие формы психизма, – резюмирует он, – физически требуют крупных мозгов» (с. 128).

Наибольших успехов в психогенезе достигли млекопитающие. Особое место среди них занимают приматы. Среди других животных, по словам П. Тейяра, «они оказались наиболее дальновидными... и самыми свободными» (с. 131–132), но главное, «они представляют собой филу чистого и непосредственного мозгового развития» (с. 132). «Вот почему в восходящем движении к наибольшему сознанию они оказались впереди» (там же). Это позволило одной из их ветвей породить человека.

Главный результат в психогенезе обезьян, ставших предками человека, П. Тейяр усматривал в приобретении ими способности к рефлексии, т.е. «способности уже не просто познавать, а познавать самих себя» (с. 136). Из рефлексии способности учёный выводил и способность наших предков к созиданию культуры. Он писал: «Рефлексирующее существо в силу самого сосредоточивания на самом себе внезапно становится способным развиваться в новой сфере. В действительности это возникновение нового мира. Абстракция, логика, обдуманый выбор и изобретательность, математика, искусство... Вся эта деятельность внутренней жизни – не что иное, как возбуждение вновь образованного центра, воспламеняющегося в самом себе» (там же).

Антропоцентризм П. Тейяра, как видим, вошёл в понимание самой сущности человека. Учёный прав в том, что без успешной психической эволюции наши предки не смогли бы оторваться от своих животных собратьев и создать культуру (тем самым стать людьми), но, очевидно, главный результат психогенеза у наших предков состоял не в их способности к рефлексии, а в их способности к творческому созиданию: даже самый примитивный продукт культуры не может быть создан без этой способности.

В подтверждение рефлексии природы человека П. Тейяр приводит такие слова: «Разумеется, животное знает. Но, безусловно, оно не знает о своём знании – иначе оно бы давным-давно умножило изобретательность и развило бы систему внутренних

построений... Будучи рефлекслирующими, мы не только отличаемся от животного, но мы иные по сравнению с ним» (с. 137).

Напрашивается вопрос: если животное не знает о своём знании, то как оно возвращается к уже ранее использованным знаниям? И второе: человек отличается от животного тем, что он – существо культурное. Это означает, что он способен обладать такими знаниями, при помощи которых можно изменить, преобразовать, улучшить, усовершенствовать окружающий мир и самого себя. Результатом использования подобных знаний и является культура. Деграция таких, творческих, знаний и прекращение деятельности, вытекающей из них, свидетельствует о возвращении человека к его животным предкам, к утрате им собственно человеческой природы, к культурной инволюции.

Человек – существо, творящее культуру, сначала – внутри самого себя, в своём сознании, а затем – вовне, в мире практической деятельности. Определяя человека как существо рефлекслирующее, П. Тейяр исходит из психологической концепции человека, мы же исходим из его культурологической концепции. Исходя из этой последней, мы можем утверждать, что антропогенез и культурогенез – явления синхронные. Более того, антропогенез – это прежде всего культурогенез. Культурогенез, с нашей точки зрения, был главным фактором в очеловечивании наших предков. Он играл ведущую роль по отношению к их биофизической и психической эволюции.

Переход психики обезьян в психику людей П. Тейяр представлял как скачок, как перерыв непрерывности. Этот скачок, однако, не вызвал существенных анатомно-физиологических изменений. Он писал: «Внешне почти никакого изменения в органах. Но внутри – великая революция: сознание забурлило и брызнуло в пространство...» (с. 139).

В качестве основного биологического фактора гоминизации обезьян П. Тейяр рассматривал не только мощное развитие их нервной системы, но и «двуногость». «Если бы существо, от которого произошёл человек, – писал он, – не было двуногим, его руки не освободились бы своевременно и не освободили челюсти от хватательной функции, и, следовательно, плотная повязка челюстных мускулов, сдавливавшая череп, не была бы ослаблена. Мозг смог увеличиться лишь благодаря прямой походке, освободившей руки,

и вместе с тем благодаря ей, глаза, приблизившись друг к другу на уменьшающемся лице, смогли смотреть в одну точку и фиксировать то, что брали, приближали и показывали во всех направлениях руки, – внешне выраженный жест самой рефлексии!» (с. 140).

Заслуга П. Тейяра состоит в том, что он выделил четыре ступени эволюции – физическую (преджизнь, геогенез), биотическую (жизнь, биогенез), психическую (мысль, психогенез) и культурную (сверхжизнь, ноогенез, культурогенез). К сожалению, в этой верной, с нашей точки зрения, эволюционной схеме у него отводится непомерная роль психогенезу. Он призывал: «Отведём законное место психике!» (с. 146). А между тем психогенез у него не имеет начала (вспомним, что «пылинки сознания» он, подобно Платону, рассмотрел уже в безжизненном мире). Кроме того, в его эволюционном учении мы наблюдаем тенденцию к сведению биогенеза к психогенезу. Так, он указывал: «Геогенез... переходит в биогенез, который в конечном счёте не что иное, как психогенез» (с. 148). Более того, в психологическом духе он интерпретирует и ноогенез, подразумевая под ним «мыслящий пласт» Земли, «развитие духа» и т.п. (с. 148). Тем самым он затемняет подлинную – культурную – сущность этого понятия. Психической энергией он наделяет все ступени эволюции. «Всякая энергия, – утверждал он, – имеет психическую природу» (с. 61). Теологические напластования на его концепции, тем не менее, не могут отменить её научной ценности.

Под *ноогенезом* П. Тейяр имел в виду высшую стадию эволюции. «Психогенез привёл нас к человеку, – писал он. – Теперь психогенез ступёвывается, он сменяется и поглощается более высокой функцией – вначале зарождением, затем последующим развитием духа – ноогенезом» (с. 148).

Ноогенез – эволюция ноосферы. В главе «Развёртывание ноосферы» П. Тейяр пишет: «Дух ткёт и развёртывает покров ноосферы» (с. 155). Речь здесь идёт о творческом духе, а не о духе вообще, под «покровом» же ноосферы учёный имел в виду не что иное, как культуру.

Зачатки культуры (пещерная индустрия, захоронения и т.п.) обнаружены уже у предгоминидов (их ископаемыми представителями стали питекантроп и синантроп) и у первых гоминидов. Современный человек появился, по П. Тейяру, предположительно 30 тысяч лет назад. В довольно быстром темпе он совершает культур-

ную эволюцию (ноогенез), которая осуществляется в двух направлениях – материальном (охота, растениеводство, животноводство и т.д.) и духовном (религиозные, нравственные, политические и подобные установления). К сожалению, П. Тейяр не даёт систематизированного представления об основных компонентах культуры.

Высшее достижение неочеловечества П. Тейяр видел в постижении эволюционной идеи. Он имел в виду не только разработку этой идеи в науке, но и то, что можно назвать эволюционным мировоззрением, которое и до сих пор не стало массовым.

Эволюционизм ещё должен завоевать сознание будущего человечества. В мире не должно остаться ничего, что оказывалось бы за пределами этого мировоззрения. Человек, овладевший им, может считаться «современным» в подлинном значении этого слова.

П. Тейяр писал: «Человек, по удачному выражению Джулиана Хаксли... не что иное, как эволюция, осознавшая саму себя. До тех пор пока наши современные умы (именно потому, что они современные) не утвердятся в этой перспективе, они никогда, мне кажется, не найдут покоя» (с. 176).

Только эволюционизм может стать самой надёжной опорой для единения людей. Можно ли в таком случае сомневаться в том, что и научная картина мира должна опираться на эволюционизм?

Эволюционизм ведёт к объединению. «Ложен и противоположен эгоцентрический идеал будущего, – восклицал П. Тейяр. – Любой элемент может развиваться и расти лишь в связи со всеми другими элементами и через них... Для человека нет будущего, ожидаемого в результате эволюции, вне его объединения с другими людьми» (с. 194).

Объединение всего человечества, по П. Тейяру, – не благое пожелание мечтателя-моралиста, а объективная потребность, вытекающая из всего хода мировой эволюции. Силы разъединения, с другой стороны, способны привести мир к «кризису эволюции» (с. 183). Необходимость объединения, сплочения, планетизации человечества П. Тейяр объясняет так: «Народы и цивилизация достигли такой степени периферического контакта, или экономической взаимозависимости, или психической общности, что дальше они могут расти, лишь взаимопроникая друг в друга» (с. 200).

Эволюционная картина мира есть философская картина мира, если одну из важнейших задач философии видеть в формировании



обобщённого представления о мире, которое не может не опираться на выводы частных наук. Именно данную задачу философии В. Виндельбанд считал традиционной. Он писал: «Мы... ожидаем от философии того, что она давала раньше, – теоретическую картину мира, которая должна сложиться из суммирования результатов отдельных наук» (Современная философия: словарь и хрестоматия / под ред. В.П. Кохановского. – Ростов н/Д, 1995. С. 243).

---

## 2. УНИФИКАЦИОННЫЙ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОДЫ В ЛИНГВИСТИКЕ

---

### 2.1. УНИФИКАЦИОННЫЙ МЕТОД

Унификационный метод в лингвистике предполагает рассмотрение отдельного языка – либо конкретного языка (греческого, латинского, французского, русского, китайского и т.д.), либо языка вообще. В первом случае мы имеем дело со специальной (частнолингвистической) формой унификационного метода в лингвистике, а во втором – с его общелингвистической формой. Результат применения первой – специальное (частное) языкознание, результат применения другой – общее языкознание.

История языкознания свидетельствует, что лингвистическая наука зародилась в древности главным образом как специальная лингвистика (в частности – как специальная грамматика). В качестве специального рассмотрения в Индии оказался санскрит, в Греции – греческий, в Риме – латынь.

Первые национальные грамматики в Европе стали появляться в XVI–XVII вв. Во Франции такие грамматики написали Ж. Дюбуа, Л. Мегрэ, П. Рамус, Ж. Гарнье, Ж. Пийе, А. Матье и др. (см.: *Даниленко В.П.* Ономаσιологическое направление в грамматике. – 3-е испр. изд. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009 (в дальнейшем ОНГ). С. 164), в Англии – У. Лили, У. Буллокар, А. Джил, Б. Джонсон и У. Уолкер (ОНГ. С. 192), а в Германии – Ю.Г. Шоттель, И. Гильберт, Х. Пудер, И. Праша, К. Штилер и др. (ОНГ. С. 202).

Первые авторизованные грамматики старославянского (церковнославянского) языка были написаны в XVII в. Лаврентием Зизанием и Мелетием Смотрицким (см.: *Даниленко В.П.* История русского языкознания: курс лекций (с грифом УМО Министерства образования РФ). – М.: Флинта: Наука, 2010 (в дальнейшем – ИРЯ). С. 6).

Первая грамматика русского языка была написана немцем Генрихом Лудольфом. Она была издана в Англии в 1696 г. на латинском языке (ИРЯ. С. 10). В первой половине XVIII в. появились грамматики русского языка, написанные русскими –

И.С. Горлицким и В.Е. Адодуровым. Первый написал свою краткую грамматику на французском, а второй – на русском. Однако грамматика В.Е. Адодурова осталась в рукописном виде (ИРЯ. С. 10).

Подлинным основателем русского языкознания стал М.В. Ломоносов. Его «Российская грамматика» вышла в свет в Санкт-Петербурге в 1755 г. Как Прометей, её автор осветил этой грамматикой весь дальнейший путь, по которому пошла лингвистическая наука в России. В ней имеется также зародыш и общего языкознания (ИРЯ. С. 6–24).

Общелингвистический взгляд на язык пробивал себе дорогу в науке с трудом. Впервые он забрезжил на горизонте древнегреческой философии. Так, несмотря на то, что Платон (427–347 до н.э.) в своём диалоге «Кратил» демонстрировал истинность своей теории звукового символизма на примерах из своего родного языка, он имел в виду общелингвистическую применимость этой теории, поскольку считал, что в любом языке звуки в словах должны соответствовать природе обозначаемых ими вещей (см.: *Даниленко В.П.* Общее языкознание и история языкознания: курс лекций (с грифом УМО Министерства образования РФ). – М.: Флинта: Наука, 2010 (в дальнейшем ОЯиИЯ). С. 15–16; ОНГ. С. 119–120).

Общелингвистический взгляд пробивал себе дорогу в сочинениях и других античных философов – Аристотеля, Секста Эмпирика, Хрисиппа, Диогена Вавилонского и др. Когда, например, стоик Диоген Вавилонский писал, что «предложение есть звук, исходящий из рассудка» (ОНГ. С. 124), он имел в виду предложение вообще – предложение, которое создаётся говорящим на любом языке.

Свой вклад в рождение общелингвистического взгляда на язык внесли средневековые отцы церкви – Василий Кесарийский, Григорий Нисский, Аврелий Августин, жившие в IV в. (ОНГ. С. 133). Наряду с защитой таких библейских мифов, которые могут вызвать у нас снисходительную улыбку (напомню хотя бы о «языке» Адама и «вавилонском столпотворении»), в своём стремлении подвести рациональную основу под христианскую мифологию, связанную с языком, средневековые богословы сумели добиться определённых успехов. Они поставили новые для своего времени вопросы – вопросы, связанные с элементарной коммуникацией у

животных, невербальным мышлением и внутренней речью у людей. Они сумели также в какой-то мере диалектически подойти к проблеме соотношения мышления и языка. С одной стороны, они настаивали на тесной связи мысли со словом, а с другой – не считали эту связь абсолютно неразрывной. При этом они имели в виду любой язык, а стало быть, в богословском дискурсе прокладывали путь к общему языкознанию.

Грамматистов позднего средневековья (Боэция Дакийского, Мишеля де Марбэ, Сигера де Куртрэ, Томаса Эрфуртского и др.) стали называть модистами, поскольку свои грамматические труды они обычно называли трактатами о модусах (способах) обозначения. В этих трудах мы находим обоснование разницы между общим и частным языкознанием уже в рамках лингвистической науки как таковой. В особенности это касается сочинений Роберта Килвордби. Ещё в XIII в. общую грамматику он стал связывать с универсальной природой человеческого мышления – не только в логическом, но и в содержательном отношении. Задолго до авторов грамматики Пор-Рояля Р. Килвордби стал на универсалистскую позицию по отношению к языку. Специальную грамматику он воспринимал как один из вариантов общей грамматики, который отличается от других не с содержательно-мыслительной (семантической), а с формальной (звуковой) точки зрения. Как и другие модисты, латинский язык он считал идеальным вариантом языка вообще. Вот почему латинские примеры у модистов выступают как иллюстрации тех или иных общелингвистических положений. Нет ничего удивительного в том, что Томас Эрфуртский назвал свою грамматику «спекулятивной», т.е. общей, универсальной, философской.

Универсальные грамматики в Европе расцвели пышным цветом в XVIII в. (Ц. Дюмарсэ, Н. Бозэ, Э. Кондильяк, Дж. Хэррис, Й. Майнер, Й. Аделунг и мн. др.). Вдохновительницей их авторов стала грамматика Пор-Рояля (1660), авторами которой были Антуан Арно и Клод Лансло. Об общелингвистической направленности этой грамматики свидетельствует её название: «Общая и рациональная грамматика...». Модистский универсализм получил в ней второе дыхание. Именно с грамматики Пор-Рояля начинается отчёт универсализма в европейском языкознании.

Логический универсализм авторов грамматики Пор-Рояля естественно вытекал из убеждения, что все люди мыслят одинаково – с помощью одинаковых, универсальных понятий и суждений. Но они не останавливались на логическом универсализме. Последний они переводили в универсализм лингвистический.

Лингвистическая форма универсализма, как и его логическая форма, до сих пор господствует в обыденном сознании. Большинство людей и до сих пор убеждены в том, что разные языки отличаются друг от друга лишь своей внешней, звуковой стороной, тогда как внутренняя (смысловая, семантическая) сторона во всех языках, по их мнению, одна и та же, т.е. является универсальной. Что из того, что один и тот же предмет в разных языках обозначается с помощью разных звуков, рассуждает универсалист, сам этот предмет остаётся одним и тем же. Универсальными (общечеловеческими), с его точки зрения, являются также понятие и значение слова. В конечном счёте суть лингвистического универсализма сводится к пониманию содержательной стороны языка как универсальной семантической структуры. Категория формы для универсалиста есть категория исключительно внешняя, применяемая только к звуковой стороне языка. Язык для него лишь механизм для озвучивания одного и того же, универсального для всех людей содержания.

Новая эпоха в развитии общелингвистического подхода к изучению языка начинается с Вильгельма фон Гумбольдта (1767–1835). Он открыл новый – идиоэтнический – взгляд на содержательную сторону языка, который противостоит традиционному взгляду на неё – универсалистскому. Не отрицая универсального компонента в содержательной стороне языка, он, в отличие от авторов грамматики Пор-Рояля, а также и всех других языковедов, включая компаративистов, сумел увидеть в каждом языке носителя особого мировидения. Тем самым он предвосхитил концепцию языковой картины мира у неогумбольдтианцев в XX в. Языковую картину мира он называл внутренней формой языка.

Критическое отношение к универсализму в науке созрело ещё в Новое время – в частности, у Ф. Бэкона, настаивающего на необходимости создания особых грамматик для разных языков, и у Й. Гердера, который считал, что в любом языке запечатлён разум народа, создавшего этот язык. Но Ф. Бэкон и Й. Гердер лишь подготовили почву для гумбольдтианской революции в языкознании.

Она состояла в том, что её автор распространил категорию формы не только на звуковую сторону языка, но и на его содержание, т.е. создал учение о внутренней форме языка. Опираясь на него, он следующим образом критиковал позицию универсалиста в науке о языке: «Различия между языками суть для него (универсалиста. – В.Д.) различия в звуках, которые он применительно к предметам рассматривает просто как средства для того, чтобы добраться до них. Эта точка зрения пагубна для изучения языков, препятствует распространению знаний о языке, а уже имеющиеся делает мёртвыми и бесплодными» (*Радченко О.А. Язык как мирозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. Ч. 1. – М., 1997. С. 60*).

Форма, как известно, выражает содержание. Какое же содержание выражает форма в языке? Под содержанием («материей») в своём учении о характере языка В. Гумбольдт имел в виду язык вообще – в том смысле, что всякий язык содержит звуки и значения, но в конкретных языках первые являются в своих формах, а другие – в своих. Звуковые формы составляют в языке его внешние формы, а смысловые – внутренние. Иначе говоря, под внешней формой того или иного языка В. Гумбольдт имел в виду его звуковое своеобразие, а под его внутренней формой – смысловое (семантическое) своеобразие.

Внешние формы языков лежат на поверхности, поскольку звуковые отличия между языками бросаются в глаза. Сложнее дело обстоит с их внутренними формами, поскольку семантические отличия между языками не лежат на поверхности, но спрятаны в их глубине. Внимание В. Гумбольдта было приковано к внутренней форме языков. Вот почему учение о внутренней форме языка составляет сердцевину гумбольдтовской характерологии языка. Л. Вайсгербер видел в этом учении предтечу своей теории языковой картины мира. Он писал: «Как раз-таки для Гумбольдта, который с удивительной неутомимостью вработывался во все новые языки, было ошеломляющим познание того, что каждый язык в его содержаниях обладает собственной картиной мира, присущим ему космосом понятий и мыслительных форм. То, что завораживало Гумбольдта в языке – это именно эта его внутренняя форма. И не существует более надежного средства осознать внутреннюю фор-

му своего собственного языка, кроме как перенестись полностью в мир другого языка» (там же. С. 56).

Термины «*внутренняя форма языка*» и «*языковая картина мира*» следует расценивать как синонимические, поскольку В. Гумбольдт интерпретировал внутреннюю форму языка как мировидение, заключённое в языке. Он писал: «Всякий язык в любом из своих состояний образует целое некоего мировидения, содержа в себе выражение всех представлений, которые нация составляет себе о мире, и для всех ощущений, которые мир вызывает в ней» (там же. С. 64).

Любой язык отображает мир, но отображает его с определённой точки зрения – той точки зрения, с которой смотрел на него народ, создавший данный язык. В любом языке, таким образом, представлен универсально-объективный аспект (он связан с отражением в языке объективной реальности как таковой) и субъективно-национальный (идиоэтнический), который отражает уже не мир как таковой, а точку зрения на него со стороны носителей этого языка. Последний из этих аспектов и позволяет нам говорить о языке как мировидении или о языковой картине мира. Переход от одного языка к другому представлялся В. Гумбольдту как смена одного языкового мировоззрения на другое. Он писал: «Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка. Освоение иностранного языка можно было бы уподобить завоеванию новой позиции в прежнем видении мира» (*Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию.* – М., 1985. С. 80).

Обоснование идиоэтнизма в языкознании, блестяще осуществлённое В. Гумбольдтом, не означает, что великий немецкий мыслитель игнорировал универсальную сторону языковой картины мира. Универсальное в ней сосуществует с идиоэтническим. Более того, первое преобладает над вторым. В противном случае ни о каком взаимопонимании между людьми, говорящими на разных языках, не могло бы идти и речи. Вот почему в любом конкретном языке присутствует ещё и язык вообще. В. Гумбольдт выразил эту мысль так: «...существует лишь Один язык, точно так же как есть лишь Один род человеческий, и всякое различие меж расами не устраняет ни понятие человечества, ни возможность регулярного

размножения. Это становится ещё более ясным, если подумать о том, что и воздействующие на человека и тем самым на его язык условия окружающей природы по большому счёту те же самые, и средства, которыми пользуются все языки как звуками, заключены не в слишком широкие границы... Во всех языках поэтому встречается единообразие, и была бы тщетной надежда отыскать в каком-либо из языков что-либо совершенно новое» (*Радченко О.А. Язык как мирозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. Ч. 1. – М., 1997. С. 59*).

Как видим, В. Гумбольдт исходил из приоритета универсального в языковой картине мира над идиоэтническим, но он был далёк от гипертрофии как первого, так и второго. Гипертрофия идиоэтнического в языке была характерна для неогумбольдтианцев (см.: *Даниленко В.П. Вильгельм фон Гумбольдт и неогумбольдтианство. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010 (в дальнейшем ГН)*). Гипертрофия универсального в языке идёт в нашей науке от грамматики Пор-Рояля. В 60-е годы XX в. у неё нашлись американские преемники. Они направили свои усилия на поиск языковых универсалий – таких свойств языка, которые являются в идеале общими для всех языков.

В апреле 1961 г. в Нью-Йорке состоялась конференция, посвящённая языковым универсалиям. По материалам этой конференции Дж. Гринбергом, Ч. Осгудом и Дж. Дженкинсом был составлен знаменитый «Memorandum Concerning Language Universals». Эти материалы Дж. Гринберг поместил в свою книгу «Universals of Language», которая была издана в 1963 г. Американцы вдохновили на поиск языковых универсалий советских лингвистов. В 1965 г. в Москве вышла книга Б.А. Успенского «Структурная типология языков», где типологические проблемы тесно переплетаются с теорией языковых универсалий. В ноябре 1966 г. в Москве была проведена конференция отечественных «универсалистов». Доклады её участников легли в основу статей, опубликованных в сборнике «Языковые универсалии и лингвистическая типология», который редактировался И.Ф. Вардулем и вышел в Москве в 1969 г.

В приложении к указанному сборнику помещены языковые универсалии, выведенные русскими лингвистами. Приведу только два примера. Языковая универсалия Ю.А. Глазова: «Средняя протяжённость некорневых морфем не больше протяжённости кор-



невых морфем» (указ. соч. С. 334). Языковая универсалия Б.А. Успенского: «Инверсия порядка слов как способ логического или эмоционального подчёркивания (выделения)» (с. 339). Подобных универсалий в приложении, о котором идёт речь, довольно много. Но возникает вопрос: какой в них прок? Они выглядят, как деревья, за которыми не видно леса. Они заслоняют фундаментальные признаки языка, которые действительно являются универсальными. К этим признакам в первую очередь относятся его субстанциональные и функциональные признаки. К числу первых относятся следующие признаки языка: его физическая, биотическая, психическая и культурная природа. К числу же функциональных признаков языка относятся его основные функции – коммуникативная, когнитивная и прагматическая.

Исходя из семи перечисленных фундаментальных языковых универсалий, мы можем следующим образом определить язык: *язык – это особый – биофизический и психический – продукт культуры, представляющий собою наиважнейшую систему знаков, которая выполняет три основных функции – коммуникативную (общения), когнитивную (познания) и прагматическую (практического воздействия на мир).*

Из семи фундаментальных языковых универсалий вытекают универсалии, производные от них. Так, из физической природы языка вытекает его звуковая сторона, без которой невозможен ни один язык. Из биотической природы языка вытекает его новая универсалия: ни один язык не может обойтись без участия в его функционировании органов речи. Подобным образом обстоит дело с психической и культурной сторонами языка. Любой язык локализуется в психике человека и является продуктом его культуро-созидательной деятельности. Языковая система – результат этой деятельности. Из культурной природы языка вытекают новые языковые универсалии – его системность и знаковость. Первая указывает на универсальность парадигматических и синтагматических отношений в языковой системе, а вторая – на универсальность его основных единиц – фонем, морфем, лексем, синтаксем и текstem.

Универсальны, надо полагать, и механизмы функционирования языка в речевой деятельности. Возьмём, например, механизм фразообразовательной деятельности говорящего – тот механизм, который направлен на построение нового предложения. Он включает в

себя три периода – лексический, в процессе которого говорящий отбирает слова для создаваемого предложения, морфологический, в процессе которого он переводит их в морфологические формы, и синтаксический, в процессе которого он устанавливает в предложении определённый словопорядок (см.: *Даниленко В.П.* *Общее языкознание и история языкознания: курс лекций* (с грифом УМО Министерства образования РФ). – М.: Флинта: Наука, 2009 (в дальнейшем ОЯиИЯ). С. 116–138).

Итак, унификационный метод в лингвистике имеет две формы – частнолингвистическую (специальную) и общелингвистическую. Каждая из них направлена на описание отдельного языка, но первая берёт его в индивидуальном виде, а вторая – в обобщённом. Общелингвистический подход к изучению языка обнаруживает в каждом конкретном языке язык вообще.

При этом надо помнить, что в любом конкретном языке язык вообще представлен как общее, универсальное в отдельном, индивидуальном, подобно тому как в любом конкретном человеке представлен человек вообще, человек как представитель рода человеческого. Но вот на что здесь следует обратить особое внимание: поскольку индивидуален любой язык, то его индивидуальность следует рассматривать как языковую универсалию, подобно тому как человеческую индивидуальность следует оценивать как гуманитарную универсалию. Индивидуальна, например, картина мира, заключённая в любом языке, следовательно, языковая картина мира – языковая универсалия. Такова диалектика общего и индивидуального. Она предполагает, с одной стороны, их различие, а с другой – взаимный переход друг в друга (см.: ОЯиИЯ. С. 98).

## 2.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД

Если унификационный метод в лингвистике направлен на изучение отдельного языка, то сравнительный метод – на сравнение нескольких языков. Он имеет две формы – сравнительно-историческую (компаративистику) и типологическую (лингвотипологию). Рассмотрим их в отдельности.

### 2.2.1. Компаративистика

Русск.	Англ.	Нем.	Лат.	Греч.	Санскр.
два	two	zwei	duo	duo	duva
три	three	drei	tres	treis	tres
ночь	night	Nacht	nox	nux	naktis
брат	brother	Bruder	frater	frater	bhratar
мать	mother	Mutter	mater	mater	matar

Можно ли назвать такое очевидное сходство между приведёнными словами из современных и древних языков случайным? Отрицательный ответ на этот вопрос давали ещё в XVI в. Г. Постелус и И. Скалигер, в XVII в. – В. Лейбниц и Ю. Крижанич, в XVIII в. – М.В. Ломоносов и В. Джоунс.

**Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765)** в материалах к своей «Российской грамматике» (1755) сделал набросок таблицы числительных первого десятка на русском, немецком, греческом и латинском языках. Эта таблица не могла не привести его к выводу о том, что эти языки являются родственными. Недаром он назвал её «Числа сродственных языков». Ф. Бопп назовёт их в начале XIX в. индоевропейскими, а позднее их будут также называть индогерманскими, арийскими, ариоевропейскими. Но М.В. Ломоносов обнаружил родство не только четырёх указанных языков. В книге «Древняя российская история» он указал на родство иранских и славянских языков. Более того, он обратил внимание на близость славянских языков с балтийскими. Он предположил, что все эти языки произошли из одного праязыка, высказав гипотезу о том, что прежде всего от него отделились греческий, латинский, германский и балто-славянский языки. Из последнего, по его мнению, произошли балтийские и славянские языки, среди которых он выделяет русский и польский.

М.В. Ломоносов, таким образом, ещё в первой половине XVIII в. предвосхитил индоевропейское сравнительно-историческое языкознание. Он сделал к нему лишь первые шаги. При этом он предвидел трудности, которые подстерегают исследователей, от-

важившихся на восстановление истории индоевропейских языков. Главную причину этих трудностей он видел в том, что им придётся иметь дело с изучением процессов, происходивших в течение целых тысячелетий. С присущей ему эмоциональностью он писал об этом так: «Представим долготу времени, которою сии языки разделились. Польский и российский язык коль давно разделились! Подумай же, когда курляндский! Подумай же, когда латинский, греческий, немецкий, российский! О глубокая древность!» (цит. по: *Чемоданов Н.С.* Сравнительное языкознание в России. – М., 1956. С. 5).

В первой половине XIX в. индоевропейское языкознание поднимается на подлинно научную высоту. Это было сделано с помощью сравнительно-исторического метода. Он был разработан Ф. Боппом, Я. Гриммом и Р. Раском. Вот почему их считают основоположниками сравнительно-исторического языкознания вообще и индоевропейского в частности. Самой крупной фигурой среди них был Ф. Бопп.

**Франц Бопп (1791–1867)** – основатель индоевропейского сравнительно-исторического языкознания (компаративистики). Ему принадлежат две работы: «О спряжении в санскрите в сравнении с греческим, латинским, персидским и германским языками» (1816) и «Сравнительная грамматика санскрита, зенда, армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого языков» (1833–1852). Сравнивая все эти языки между собою, учёный пришёл к научно-обоснованному выводу об их генетическом родстве, возведя их к одному языку-предку – индоевропейскому языку. Он сделал это главным образом на материале глагольных флексий. Благодаря ему XIX в. становится веком триумфального шествия в науке индоевропейской компаративистики.

**Якоб Гримм (1785–1863)** – автор четырёхтомной «Немецкой грамматики», первое издание которой выходило с 1819 по 1837 г. Описывая факты истории немецкого языка, Я. Гримм нередко обращался к сравнению этого языка с другими германскими языками. Вот почему его считают основателем германской компаративистики. В его работах заложены зародыши будущих успехов в реконструкции прагерманского языка.

**Расмус Раск (1787–1832)** – автор книги «Исследования в области древнесеверского языка, или Происхождение исландского

языка» (1818). Своё исследование он строил главным образом на материале сравнения скандинавских языков с другими индоевропейскими языками.

Конечный пункт компаративистики – реконструкция праязыка, его звуковой и смысловой сторон. К середине XIX в. индоевропейская компаративистика достигла весьма значительных успехов. Это позволило **Августу Шляйхеру (1821–1868)**, как он сам полагал, восстановить индоевропейский язык до такой степени, что он написал на нём басню *Avis akvasas ka* «Овца и кони». Вы можете ознакомиться с нею по кн.: *Звегинцев В.А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 1. – М., 1960. С. 104. Более того, он представил в своих работах родословное древо индоевропейских языков. Через посредство внутренних праязыков А. Шляйхер вывел из индоевропейского праязыка девять языков и праязыков: германский, литовский, славянский, кельтский, итальянский, албанский, греческий, иранский и индийский.

Наивысшего расцвета индоевропейская компаративистика достигла к концу XIX в. в шеститомном труде **К. Бругмана и Б. Дельбрюка** «Основы сравнительной грамматики индоевропейских языков» (1886–1900). Этот труд – настоящий памятник научной кропотливости: на огромном материале его авторы вывели огромное число праформ индоевропейского языка, однако они, в отличие от А. Шляйхера, не были столь оптимистичны в достижении конечной цели – полностью восстановить этот язык. Более того, они подчёркивали гипотетический характер этих праформ.

В XX в. в индоевропейской компаративистике усиливаются пессимистические настроения. Французский компаративист **Антуан Мейе (1866–1936)** в книге «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков» (русск. перевод – 1938 г.; указ. хрест. С. 363–385) по-новому формулирует задачи сравнительно-исторического языкознания. Он ограничивает их подбором генетических соответствий – языковых форм, произошедших из одного праязыкового источника. Восстановление же этого последнего он считал нереальным. Степень гипотетичности индоевропейских праформ он считал такой высокой, что лишал эти формы научной ценности.

После А. Мейе индоевропейская компаративистика всё больше и больше оказывается на периферии лингвистической науки,

хотя и в XX в. она продолжала развиваться. Укажу в связи с этим на след. кн.:

*Десницкая А.В.* Вопросы изучения родства индоевропейских языков. – М.; Л., 1955.

*Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. – М., 1980.

Сравнительно-историческое изучение языков разных семей / под ред. Н.З. Гаджиева и др. 1 кн. – М., 1981; 2 кн. – М., 1982.

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXI. Новое в современной индоевропеистике / под ред. В.В. Иванова. – М., 1988.

В рамках индоевропеистики развивались её отдельные отрасли – германская компаративистика (её основатель – Якоб Гримм), романская (её основатель – Фридрих Диц /1794–1876/), славянская (её основатель – Франц Миклошич /1813–1891/) и др.

Сравнительно недавно у нас вышли прекрасные книги:

*Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева Л.Н.* Введение в германскую филологию. – М., 1980.

*Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А.* Введение в романскую филологию. – М., 1982.

Общую теорию сравнительно-исторического метода в языкознании в целом можно найти в книгах:

*Макаев Э.А.* Общая теория сравнительного языкознания. – М., 1977.

*Климов Г.А.* Основы лингвистической компаративистики. – М., 1990.

На выполнение каких задач направлен сравнительно-исторический метод в языкознании? С его помощью осуществляются попытки:

1) реконструировать систему праязыка, а стало быть, его фонетическую, словообразовательную, лексическую, морфологическую и синтаксическую системы;

2) восстановить историю распада праязыка на несколько диалектов, а в дальнейшем и языков;

3) реконструировать историю языковых семей и групп;

4) построить генеалогическую классификацию языков.

В какой мере эти задачи выполнены современной наукой? Это зависит от того, о какой ветви компаративистики идёт речь. На лидирующем положении, очевидно, остаётся индоевропеистика, хотя

и другие её ветви в XX в. проделали огромный путь. Так, в двух названных мною книгах, изданных под ред. Н.З. Гаджиева, описано весьма внушительное число языков – индоевропейские, иранские, тюркские, монгольские, финно-угорские, абхазо-адыгские, дравидийские, языки банту и др.

В какой мере восстановлен индоевропейский язык? По традиции, идущей из XIX в., больше других восстановлены две системы индоевропейского языка – фонетическая и морфологическая. Это нашло отражение в упомянутой мною книге Освальда Семереньи. Так, на стр. 166 он даёт вполне завершённую систему индоевропейских фонем – как гласных, так и согласных. Любопытно, что система гласных фонем существенным образом совпадает с системой гласных фонем русского языка, правда, в индоевропейском, как показал О. Семереньи, были представлены долгие аналоги русских /I/, /U/, /E/, /O/, /A/.

Существенным образом реконструирована и морфологическая система индоевропейского языка. По крайней мере, у О. Семереньи описаны морфологические категории индоевропейских существительных, прилагательных, местоимений, числительных и глаголов. Так, он указывает, что в данном языке, очевидно, первоначально было два рода – мужеско=женский и средний (с. 168). Этим объясняется совпадение форм мужского и женского рода, например в латинском: *pater (отец) = mater (мать)*. О. Семереньи также утверждает, что индоевропейский язык имел три числа – единственное, множественное и двойственное, восемь падежей – номинатив, вокатив, аккумулятив, генитив, аблатив, датив, локатив и инструменталис (они сохранились в санскрите, в других же языках их число сократилось: в ст.-сл. – 7, латинском – 6, греческом – 5). Вот какие, например, падежные окончания имелись в индоевропейском языке в единственном числе: ном. – *-S*, вок. – *нуль*, акк. – *-M* и т.д. (с. 170). Подробно описана у О. Семереньи система индоевропейских глагольных форм по времени.

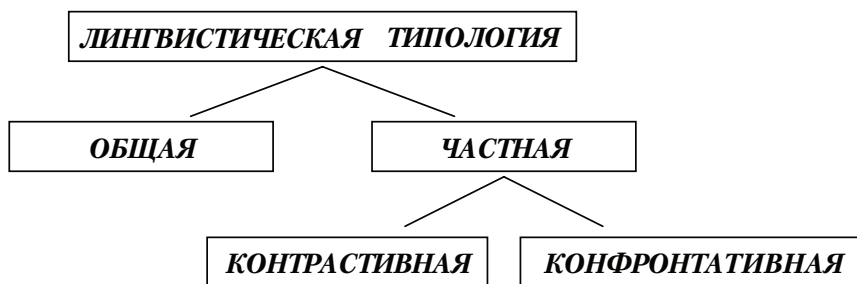
Конечно, далеко не всё внушает доверие в компаративистике. Так, с трудом верится, что большинство существительных, прилагательных и глаголов в индоевропейском языке имели трёхморфемную структуру: *корень + суффикс + окончание*. Но именно такое утверждение мы находим в упомянутом мною «Введении в германскую филологию» (с. 41).

Что касается восстановления индоевропейской лексики, то современные компаративисты здесь следуют заветам А. Мейе, который считал задачу восстановления фонетического облика индоевропейских слов неосуществимой. Вот почему на месте индоевропейского слова мы обычно находим лишь перечень слов из ряда индоевропейских языков, восходящих к невосстановленной индоевропейской праформе. Так, германисты, например, могут привести такие примеры:

- нем. *zwei* 'два' – нидерл. *twee*, англ. *two*, дат. *to*, норв. *to*, др.-исл. *tveir*, гот. *twai*;
- нем. *zehn* 'десять' – нидерл. *tien*, англ. *ten*, дат. *ti*, швед. *tio*, др.-исл. *tiu*, гот. *taihun*;
- нем. *Zunge* 'язык' – нидерл. *tong*, англ. *tongue*, швед. *tunga*, норв. *tunge*, др.-исл. *tunga*, гот. *tuggo*.

### 2.2.2. Лингвотипология

В моих книгах «Функциональная грамматика Вилема Матеизуса. Методологические особенности концепции» (М.: ЛИБРОКОМ, 2010) и «Вильгельм фон Гумбольдт и неогумбольдтианство» (М.: ЛИБРОКОМ, 2010) вы можете найти достаточно подробное описание методологической структуры лингвистической типологии. Здесь же я приведу её в урезанном виде:



В отличие от компаративистики, лингвистическая типология сравнивает языки не для того, чтобы восстановить их праязыки, а для того, чтобы выявить в них те или иные общие или специфические черты. Общая типология это делает на материале всех (в иде-



але) языков, а частная – на материале двух и более языков, однако не охватывая всех. Контрастивная лингвистика делает упор на высвечивание в сравниваемых языках их отличий (контрастов), а конфронтативная учитывает в них не только отличия, но и сходства.

### Общая типология языков

**Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835)** – основатель *общей типологии* в языкознании. Он разработал морфологическую классификацию языков, включающую четыре типа языков – флективные (типа индоевропейских), агглютинативные (типа тюркских), изолирующие (типа китайского) и инкорпорирующие (типа америндейских). При этом он опирался на исследования братьев **Фридриха и Августа Шлегелей** (см.: *Аракин В.Д.* Сравнительная типология английского и русского языков. – М., 1979. С. 37). В языках первого типа намечена тенденция к использованию многозначных флексий, второго типа – однозначных, третьего типа – к отсутствию морфологических аффиксов и четвёртого типа – к построению предложений, напоминающих слова.

Классификация В. Гумбольдта стала основой общей типологии языков в дальнейшей её истории. Так, **Ф.-Н. Финк** раздробил её на восемь типов языков: подчиняющий (турецкий), инкорпорирующий (гренландский), упорядочивающий (субия), корнеизолирующий (китайский), основоизолирующий (самоанский), корнефлектирующий (арабский), основофлектирующий (греческий) и группофлектирующий (грузинский).

Уже Ф.-Н. Финк привнёс в общую типологию языков – наряду с морфологическими – синтаксические критерии, а в XX в. наш знаменитый типолог **Иван Иванович Мещанинов (1883–1967)** осуществил чисто синтаксическую классификацию языков. Он выделил три типа языков:

1) пассивного строя (типа чукотского), где субъект (подлежащее) и объект (дополнение) не имеют никакого грамматического оформления; в них глаголы не делятся на переходные и непереходные;

2) номинативного строя (типа индоевропейских, а также тюркских, финно-угорских и мн. др.), где подлежащее выражается, как

правило, именительным падежом как при непереходном глаголе, так и при переходном (*Я иду – я читаю книгу*);

3) *эргативного строя*. Эргативный строй предложения характеризуется своими особенностями. Они свойственны некоторым палеоазиатским языкам (напр., чукотскому) и кавказским (абхазскому, аварскому и др.). Эргативные языки отличаются от номинативных. В последних (а к ним относятся привычные нам индоевропейские языки) падеж существительного, с помощью которого обозначается субъект действия, не зависит от переходности/непереходности употребляемого с ним предикативного глагола. Вот почему в номинативных языках правила позволяют употреблять как «*Книга была прочитана Петром*», так и «*Пётр прочитал книгу*». В эргативных же языках использование агентивного существительного либо в роли дополнения, либо в роли подлежащего зависит от переходности/непереходности предикативного глагола. Переходный глагол требует постановки агентивного существительного в роли дополнения (т.е. в косвенном или эргативном падеже): «*Книга была прочитана Петром*», но не «*Пётр прочитал книгу*». С непереходным же глаголом употребляется абсолютив (прямой падеж): «*Иван не спит*», но не «*Ивану не спится*». Упрощенно говоря, в эргативных языках переходные глаголы употребляются в пассивных конструкциях, а непереходные – в активных.

О ближайшей истории общей лингвотипологии могут дать хорошее представление следующие книги:

1. Принципы типологического анализа языков различного строя / под ред. Б.А. Успенского. – М., 1972.

2. Принципы описания языков мира / под ред. В.Н. Ярцевой и Б.А. Серебренникова. – М., 1976.

3. Теоретические основы классификации языков мира / под ред. В.Н. Ярцевой. – М., 1980.

4. *Мечковская Н.Б.* Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. – Минск, 2000.

### **Контрастивная лингвистика (лингвистическая характерология)**

В XX в. получила развитие и *частная типология языков*. Её контрастивное направление связано с гениальным чешским учё-

ным **Вилемом Матезиусом (1882–1945)**. Контрастивную (сопоставительную) лингвистику он интерпретировал как характерологическую. Он видел основную задачу *лингвистической характерологии* в том, чтобы с помощью сравнения нескольких языков между собою обнаружить в них наиболее характерные черты. Так, сравнивая чешский язык с немецким и английским в области словообразования, В. Матезиус обнаружил, что эти языки располагают неодинаковым числом производящих основ, служащих для обозначения понятий «дом» и «нести». Это легко показать с помощью такой таблицы:

Чешский	Немецкий	Английский
dům	Haus Heim	house home domus
nesti	tragen bringen	bear wear carry bring

Примеры показывают, что словообразовательные структуры, объединённые общим содержанием, своеобразны в разных языках. На месте нескольких словообразовательных гнёзд в английском мы обнаруживаем только одно в чешском и два в немецком.

Другой пример из словообразования. Механизм соединения словообразовательного форманта с производящей основой создаваемого слова предполагает учёт говорящим словообразовательной валентности, т.е. учёт сочетаемостных свойств словообразовательных элементов. В. Матезиус обнаружил, что для чешского языка типичны такие сочетания, как «*исконный элемент + исконный*» и «*заимствованный элемент + заимствованный*». Структуры смешанного типа здесь, в отличие от английского языка, очень редки (например, *Dvořak-eut* «концерт из произведений Дворжака»).

Характерную черту английского языка в области морфологии В. Матезиус видел в развитии его возможностей, связанных с употреблением одних частей речи в значении других. По этим возможностям он превосходит, например, славянские языки. Так, в английском языке существительное может легко употребляться в значении прилагательного, что трудно сделать в чешском или русском (*the evening radical paper* «вечерняя радикальная газета», *a too London point of view* «слишком лондонская точка зрения»). Более того, английский язык позволяет адъективировать даже глагол: *a non-stop flight* «безостановочный полет». Аналитическая тенденция (движение к сокращению числа окончаний) позволяет английскому языку также легче, чем синтетическим языкам, употреблять существительное в значении глагола, т.е. вербализировать его. Для этого достаточно перед существительным поставить *to*. Примеры В. Матезиуса: *an eye* «глаз» – *to eye* «смотреть», *a snow-ball* «снежок» – *to snow-ball* «играть в снежки».

Одну из характерных черт английского языка в сравнении с чешским в области синтаксиса В. Матезиус видел в том, что в первом тема чаще выражается подлежащим, а во втором – дополнением (ср. ответы на вопрос «Кем было написано это письмо?»: *This letter was written by Pa* «Это письмо (тема – подлежащее) было написано папой» – *Tenhle dopis napsal tatinek* «Это письмо (тема – дополнение) написал папа»). См. подробности в моей книге о В. Матезиусе (с. 46).

Контрастивная (сопоставительная) лингвистика получила в дальнейшем довольно большую популярность. Её теоретические основания вы можете найти в кн.: Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. – М., 1981.

### Конфронтативная лингвистика

Ещё большее развитие, чем контрастивная, в наше время приобрела фронтативная форма частной типологии языков. Вот только некоторые книги из этой области:

1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – Л., 1979.
2. Зеленецкий А.Л., Монахов П.Ф. Сравнительная типология немецкого и русского языков. – М., 1983.

3. Халифман Э.А., Кузнецова И.Н., Козлова З.Н. Пособие по сопоставительному изучению грамматики французского и русского языков. – М., 1981.

4. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. – М., 1983.

Авторы этих книг не ставили перед собой задачи выделения отличительных (контрастивных) особенностей в сравниваемых языках. Их отличительные черты они рассматривали на равных с общими. Выделение общего и различного в сравниваемых языках – задача конфронтативной лингвистики.

Возьмём первую книгу и откроем на 116-й странице. Речь здесь идёт о выражении семы (значения) единичности/множественности в русском и английском языках. Автор обращает внимание, что в обоих языках значение множественности передаётся с помощью окончаний (*города – towns*). В этом состоит сходство между ними. Но дальше он указывает и на разницу между этими языками: «В отличие от русского языка, сема единичности в английском языке представлена только нулевой морфемой, например: *town, play, foot*». Сначала – сходство, а потом – различие. Делаем вывод: перед нами конфронтативное исследование.

Возьмём теперь третью из этих книг и откроем её на странице 42. Что мы здесь можем прочесть? *«Продуктивным способом обогащения класса существительных в системе французского словообразования является конверсия. Субстантивация характерна и для русского языка, её основным источником служат прилагательные и, реже, наречия»*. Сделаем остановку. Мы находим здесь указание на сходство французского языка с русским. Читаем дальше: *«Поскольку база субстантивации (употребления несубстантивных частей речи в значении существительного. – В.Д.) во французском языке шире, чем в русском...»*. Дальше можно не читать, поскольку и этого достаточно, чтобы увидеть, что речь идёт теперь о разнице между французским языком и русским. Дальнейшие примеры, приводимые авторами, показывают, что между сравниваемыми ими языками в области субстантивации имеются как сходства, так и различия. Следовательно, перед нами лингвотипологическое исследование конфронтативного типа. Кстати говоря, авторы цитируемого учебника потому усмотрели во французском языке более широкую базу для субстантивации, что субстантивация в нём, как и в других артиклевых языках, облегчается за счёт наличия артиклей, которых нет в русском.

## Приложение

### ИНКОРПОРАЦИЯ СЛОВСОЧЕТАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ФРАЗООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Вильгельм фон Гумбольдт помещал инкорпорирующие языки, как и агглютинативные, между флективными и изолирующими. Он писал: «Если взять в сочетании оба эти способа (флективный и изолирующий. – *В.Д.*), какими единство предложения фиксируется в понимании, то окажется, что есть ещё и другой, противоположный им обоим способ, который здесь удобнее было бы считать третьим. Он заключается в том, чтобы рассматривать предложение вместе со всеми его необходимыми частями не как составленное из слов целое, а, по существу, как отдельное слово» (Гумбольдт, 1984: 141).

Что значит «рассматривать предложение как отдельное слово»? А что позволяет нам делить предложение в неинкорпорирующих языках на отдельные слова? Во-первых, паузы, а во-вторых, ударения: как правило, они отделяются друг от друга определёнными паузами и имеют соответственные ударения. В инкорпорирующих языках ударение (акцентуация) оказывается принадлежностью не отдельных слов, а словосочетаний (при частичном инкорпорировании) или целых предложений (при полном инкорпорировании). Единую акцентуацию, объединяющую несколько слов в предложении или целое предложение, таким образом, следует рассматривать как первый признак (фактор) инкорпорации.

Сравнение инкорпоративного словосочетания или предложения со словом указывает нам и на второй признак инкорпорации – корнесловность частей, из которых состоит инкорпоративный комплекс. Но в этом случае сравнение, о котором идёт речь, надо уточнить: речь идёт о сравнении этого комплекса не с простым словом, а со сложным, состоящим из нескольких корнесловов.

А какова роль морфологизации в инкорпорации словосочетаний и предложений? Под морфологизацией мы понимаем процесс перевода слова из его лексической (начальной) формы в морфологическую. В качестве основного средства морфологизации во флективных языках используются аффиксы, среди которых ведущая

роль принадлежит флексии (*стол* → *стол-а*, *стол-у* и т.д.). Процесс, обратный морфологизации, называется деморфологизацией.

Можем ли мы рассматривать морфологизацию в инкорпорирующих языках как третий признак (и второй фактор) инкорпорации? Положительный ответ на этот вопрос может быть в общем виде сформулирован следующим образом: если в неинкорпорирующих языках аффиксальная морфологизация способствует делению предложений на слова (например, флексия свидетельствует о его конце), то в инкорпорирующих языках она способствует либо отграничению инкорпоративных словосочетаний от других членов предложения, либо отграничению инкорпоративных предложений от других предложений. Кроме того, как и в неинкорпорирующих языках, в инкорпорирующих языках она осуществляет формообразование. Разница здесь состоит только в том, что, во-первых, с её помощью образуются морфологические формы слов, а во-вторых – морфологические формы либо словосочетаний, либо предложений.

Выходит, в неинкорпорирующих языках акцентным единством и аффиксальной морфологизацией обладает, как правило, слово, а в инкорпорирующих – словосочетание или предложение. Эти языки будто по ошибке оторвали акцентное единство и аффиксальную морфологизацию от слова и перенесли их на синтаксические конструкции, тем самым создав инкорпоративные комплексы.

Если в неинкорпорирующих языках синтетическая тенденция доведена лишь до сложных слов (напр., *завкафедрой*), то в инкорпорирующих она оказалась намного более сильной. При частичном инкорпорировании она превращает в акцентные единства сочетания слов, а при полном инкорпорировании – целые предложения. Пример частичного инкорпорирования из чукотского языка: *Танкляволя (Хороший мужчина) кораны (оленя) пэлянэй (оставил)*. В инкорпоративную группу здесь слилось лишь словосочетание «*тан (хороший) + кляволя (мужчина)*». При этом окончание «-я» в «*клявол-я*» относится к этому словосочетанию в целом. Оно способствует слиянию прилагательного и существительного в одну акцентную единицу. С его помощью морфологизируется не отдельное слово, а целое словосочетание. Пример полного инкорпорирования из этого же языка: *Тымьнгынторкын (Я руки вынимать буду)*. В инкорпоративный комплекс здесь слилось целое предло-

жение. Вот тут-то и возникает необходимость, как говорил В. Гумбольдт, рассматривать предложение как слово.

Если инкорпоративный комплекс напоминает сложное слово, то, может быть, следует рассматривать инкорпорирование как явление словообразовательное? По поводу различных точек зрения на сущность инкорпорации Иван Иванович Мещанинов писал: «Вопрос о сущности инкорпорации и её роли в языке до настоящего времени является дискуссионным. Одни исследователи рассматривают инкорпорацию как словообразование типа словосложения, другие – как один из способов выражения синтаксических отношений, третьи считают невозможным отнести инкорпорацию ни к словообразованию, ни к синтаксическому приёму, а определяют её как присущее определённым языкам своеобразное морфологосинтаксическое явление» (Мещанинов, 1978: 29). Подобные точки зрения на строевую природу инкорпорации высказывали и другие типологи. Так, П.Я. Скорик писал: «У исследователей нет единства мнений об этом явлении. Одни из них понимают инкорпорацию как приём словообразования, другие – как приём словосочетания, третьи считают, что она не сводима ни к первому, ни ко второму, представляет собой присущий определённым языкам специфический приём, посредством которого в морфологической конструкции выражаются значения, соответствующие (но не тождественные) синтаксическим» (Виноградов, 1968: 246).

Я рассматриваю инкорпорацию как явление фразообразовательное. Инкорпорация в этом случае вписывается в процесс построения нового предложения (фразообразования). В качестве исходной модели при этом принимается трёхчастное представление о данном процессе. Это представление, на мой взгляд, является универсальным, т.е. применимым к фразообразовательной деятельности говорящего на любом языке. Исходя из него, мы можем поделить фразообразовательный акт на три периода – лексический, морфологический и синтаксический. В первом из них мы имеем дело с лексическим состоянием создаваемого предложения, во втором – с его морфологическим состоянием и в третьем – с его синтаксическим состоянием (см. подр. Даниленко, 2003: 208–229).

В каком же из указанных периодов фразообразования осуществляется инкорпорация? Очевидно, во втором, морфологическом. Именно в этот период в неинкорпорирующих языках происходит



морфологизация лексем, отобранных говорящим для создаваемого предложения в первый период фразообразования, а в инкорпорирующих языках в этот период морфологизируется не слово, а словосочетание или предложение. Так, в лексический период фразообразования при создании предложения «*Танкляволя (Хороший мужчина) кораны (олень) пэлянэй (оставил)*» говорящий отбирает, в частности, лексемы «*тан*» (*хороший*) и «*клявол*» (*мужчина*), а в морфологический период фразообразования он соединяет эти лексемы в единый инкорпоративный комплекс с помощью окончания «*-а*». Оно имеет в чукотском языке значение творительного падежа. Вот почему анализируемое предложение более точно следует перевести на русский так: *Хорошим мужчиной олень был оставлен*.

Рассмотрение инкорпорации как явления фразообразовательного позволяет в какой-то мере по-новому взглянуть на её известные виды – частичную инкорпорацию и полную.

### Частичная инкорпорация

И.И. Мещанинов следующим образом определял данный вид инкорпорации: «В нём сливается не всё предложение в его целом (полное инкорпорирование), а лишь те составные его части, которые наиболее друг с другом связаны по своему смысловому значению» (Мещанинов, 1978: 33).

Факту слияния слов в инкорпоративном комплексе автор только что приведённых слов придавал настолько большое значение, что он расценивал этот комплекс как один член предложения. Вот почему термин «инкорпоративное словосочетание» был для него неприемлем. Не мог он принять, следовательно, и термина «член предложения» по отношению к компонентам инкорпоративного комплекса. Он, в частности, писал: «Сохраняя укоренившуюся традицию и следуя ей, я не считаю себя вправе, при всех сделанных выше оговорках, отождествлять части инкорпорирования с членами предложения» (Мещанинов, 1978: 32).

Не признавать «части инкорпорирования» за члены предложения с точки зрения теории фразообразования означает не что иное, как отождествление инкорпоративного комплекса со словом (или, по крайней мере, чрезмерное их сближение), какие бы при этом оговорки ни делались. Недаром И.И. Мещанинов называл инкор-

поративные предложения «словами-предложениями». Он писал: «...инкорпорированный состав формально представляет собою слово, но по содержанию он является предложением. Это – слово-предложение» (Мещанинов, 1975: 86).

Между тем инкорпоративный комплекс лишь по некоторым признакам – единой акцентуации, сложной корнесловности и аффиксальной морфологизации – напоминает сложное слово, но не более того. Сам этот комплекс строится из самостоятельных лексических единиц, которые поступают в горнило фразообразовательного процесса в том же качестве, а в дальнейшем превращаются в полноценные члены предложения, хотя и оказываются в более тесном соседстве друг с другом, чем в неинкорпорированном предложении. Вот почему термины «инкорпоративное словосочетание» и «инкорпоративное предложение» вполне оправданны. В первом случае мы и имеем дело с частичной инкорпорацией.

В качестве примера частичной инкорпорации И.И. Мещанинов, в частности, привел чукотское предложение «*Танкляволя кораны пэлянэй (Хорошим мужчиной олень был оставлен)*», где представлена инкорпорация определения «*тан*» и «*клявол-я*». Почему мы здесь имеем дело именно с инкорпорацией? Потому что падежная флексия «-я» не повторяется дважды, а относится одновременно к определению и определяемому слову. Эта флексия, таким образом, морфологизирует данное словосочетание в целом и тем самым осуществляет его инкорпорацию. У прилагательного в составе этого инкорпоративного словосочетания флексия отсутствует. Оно представлено лишь его основой, а не словоформой.

Если в русском языке морфологизация адъективного определения и определяемого субстантива осуществляется в акте фразообразования отдельно и в разное время (*мужчин-ой* → *хорош-им*), т.е. обладает диахроничностью, то в чукотском языке мы имеем дело с морфологизацией, представляющей собою единовременный акт, т.е. обладающей синхроничностью. Вот почему в составе русского словосочетания представлено две морфологические формы слова, а в составе чукотского – одна морфологическая форма словосочетания.

Далеко не всякая флексия обладает инкорпорирующей (объединяющей) силой. Так, в атрибутивных словосочетаниях этой силой может обладать падежная флексия лишь в том случае, если

падеж в данном языке присущ не только существительным, но и прилагательным. И.И. Мещанинов в связи с этим приводит пример словосочетания из казахского языка, где прилагательные не изменяются как по падежам, так и по числам (ср.: *жақсы бала* «хороший ребёнок» с *жақсы бала-лар* «хорошие дети», *жақсы бала-лар-да* «у хороших детей»). Генетивная флексия «-да» в последнем случае инкорпорирующей силой не обладает. В отличие от чукотской «-я» в «*танклявол-я*», где флексия является общей для существительного и прилагательного, казахские субстантивные флексии не в состоянии объединять определяющий адъектив с определяемым субстантивом в инкорпоративный комплекс, поскольку они имеются только у существительных, но отсутствуют у прилагательных (Мещанинов, 1978: 35).

Инкорпоративной, таким образом, мы можем считать только ту флексию, которая одновременно относится, в частности, к существительному и прилагательному в атрибутивном словосочетании. Только в этом случае мы имеем дело с инкорпоративным словосочетанием, состоящим из двух лексических основ – адъективной и субстантивной – и инкорпоративной флексии.

Поучительна в связи с этим ошибка И.И. Мещанинова, который в силу малоизученности нивхского (гиляцкого) языка в первой половине XX в. стал рассматривать в качестве инкорпоративных комплексов в этом языке, в частности, объектные словосочетания типа *чо худь* «рыбу ловит», где у глагола *худь* имеется предикативный показатель «-дь», который за инкорпоративный принят быть не может, поскольку имеет отношение только к словам, выступающим в предложении в роли сказуемого. В приводимом же примере И.И. Мещанинова «*чо*» (*рыбу*) выступает в роли дополнения. Вот почему мы имеем здесь дело не с инкорпоративным комплексом, как ошибочно полагал И.И. Мещанинов, а с обычным словосочетанием, состоящим из двух словоформ.

Подобные ошибки И.И. Мещанинов допускал в своих работах не только в отношении объектных, но и атрибутивных словосочетаний нивхского языка. Вот как комментирует эти ошибки Владимир Зиновьевич Панфилов – ученик И.И. Мещанинова: «Дальнейшими исследованиями слабо изученного в 30-х годах нивхского (гиляцкого) языка было установлено, что сочетания определения и определяемого, прямого дополнения и сказуемого, представляя

собой тесные синтаксические единства (о чём, в частности, свидетельствуют чередования, при определённых комбинаторных условиях, начальных смычных и щелевых вторых компонентов), тем не менее не образуют инкорпорированных комплексов, так как их знаменательные компоненты представляют собой не основы слов, а словоформы; см.: *Панфилов В.З.* Грамматика нивхского языка. Ч. 2. – Л., 1965. С. 23–30» (*Мещанинов*, 1975: 95).

Как показал П.Я. Скорик (*Виноградов*, 1968: 258), и в чукотском языке атрибутивные отношения не всегда выражаются посредством инкорпоративных словосочетаний. Так, в некоторых случаях эти отношения выражаются с помощью обычных словосочетаний: *нытурқинэ-тэ купрэ-тэ* «новой (той, которая новая) сетью», *никвықинэ-к ңэй-ык* «на высокой (на той, которая высокая) горе», где в первом случае в качестве окончания творительного падежа дважды выступает «-тэ», а во втором – в этом качестве выступает флексия местного падежа «-к/-ык». Однако тенденция к инкорпоративному выражению атрибутивных отношений в чукотском языке преобладает над противоположной тенденцией. Вот почему, как правило, вместо приведённых неинкорпоративных словосочетаний чукчи употребляет инкорпоративные: *тур-купрэ-тэ* «новой сетью», *икв-ы-ңэй-ык* «на высокой горе», где мы имеем дело с инкорпоративными флексиями «-тэ» и «-ык».

В построении атрибутивных инкорпорированных словосочетаний роль морфологизации очевидна: словосочетание сливается здесь воедино не только с помощью ударения, но и с помощью окончания («-я» в «*танклявол-я*», «-тэ» в «*тур-купрэ-тэ*» «новой сетью» и т.д.). Акцентуационный и морфологизационный факторы инкорпорирования здесь действуют на равных. А как обстоит дело с объектными (сказуемое + дополнение) инкорпоративными словосочетаниями?

Ведущая роль в инкорпорировании объектных словосочетаний принадлежит акцентуационному фактору, тогда как морфологизационный выступает в этом случае как фактор вспомогательный. Дело в том, что акцентуационный фактор в акте инкорпорации имеет ограниченные возможности: его создателю слишком трудно поместить под крышку одного ударения чересчур длинный инкорпоративный комплекс. В этом случае он вынужден его сокращать. Может ли он это сделать за счёт морфологического показателя?

Языки, использующие инкорпорацию, дали на этот вопрос отрицательный ответ. Они избрали другой путь. Он направлен на сокращение длины инкорпоративных комплексов за счёт деморфологизации лексических форм слова, входящих в него. Лексическая форма слова – за счёт её деморфологизации – сокращается до основы (или корнеслова). Это позволяет акцентуационному фактору инкорпорации справиться со своей задачей.

Но при чём здесь морфологизационный фактор? В акте инкорпорации он выполняет вспомогательную роль по отношению к акцентуационному. Эту роль можно даже назвать провоцирующей. Дело в том, что в языках, о которых идёт речь, система морфологических показателей весьма развита. Так, в чукотско-камчатских языках (чукотском, корякском, алюторском и др.) система склонения и спряжения по своей сложности превосходит соответствующую систему в русском языке (например, в чукотском языке вместо наших шести падежей – девять (Виноградов, 1968: 253), в корякском – двенадцать (там же: 275), в алюторском – десять (там же: 297). Кроме привычных падежей, здесь имеются также эргативный, отправительный, определительный, назначительный, сопроводительный и др. Система субстантивного склонения в этих языках по своей разветвлённости превосходит русскую не только за счёт большего числа падежей, но ещё и за счёт специфических морфологических категорий. Так, существительные в чукотском языке изменяются не только по падежам и числам, но также и по лицам (Виноградов, 1968: 252). В чукотско-камчатских языках нашла морфологическое выражение такая категория, как «человек/нечеловек». Богатство морфологической системы этих языков очевидно. Но оно не существует само по себе. Оно требует своей реализации в акте фразообразования посредством морфологизации.

При использовании инкорпорации чукотско-камчатские языки избирают путь, который направлен на деморфологизацию в инкорпоративных комплексах внутренних лексем и морфологизацию внешних. Последняя выполняет в этих языках провоцирующую роль по отношению к первой. Как это понимать? Внешняя морфологизация удлиняет инкорпорированное словосочетание, но её, тем не менее, необходимо осуществить, поскольку этого требует морфологический строй этих языков и ясность выражаемой мысли. Вот почему для своей реализации внешняя морфологизация про-

воцирует в случае выбора инкорпоративного способа оформления словосочетания в этих языках внутреннюю деморфологизацию. Иными словами, морфологизация конечных членов инкорпоративных словосочетаний провоцирует говорящего в этом случае на освобождение его внутренних членов от их морфологических показателей. Морфологизация здесь помогает акцентуационному фактору инкорпорации в конечном счёте сократить создаваемый инкорпоративный комплекс за счёт избавления его внутренних членов от их морфологических показателей. В этом и состоит здесь вспомогательная (провоцирующая) роль морфологического фактора инкорпорации по отношению к акцентуационному.

При использовании инкорпорации чукотско-камчатские языки жертвуют морфологизацией внутренних членов инкорпоративных словосочетаний за счёт морфологизации его внешних членов. Между внутренней морфологизацией и внешней они выбирают в этом случае последнюю. Такой выбор, очевидно, оправдан. Если бы он вредил этим языкам, мешая осуществлению их функций, то их носители, по-видимому, отказались бы от инкорпорирования синтаксических конструкций. Между тем оно в них до сих пор существует. С его помощью их носители создают не только атрибутивные, но и объектные словосочетания.

Так, в чукотском предложении *«Тумгыт (товарищи) копра-нтыват-гъят (сеть поставили)»* мы имеем дело с объектным инкорпоративным словосочетанием *«копра-нтыват-гъят»*, где первый элемент представляет собою деморфологизированное и фонетически изменённое существительное *«кунрэ-и» (сеть)*. Оно обозначает объект действия и является дополнением. Деморфологизация здесь выпала на долю флексии им. п. и ед. ч. *«-и»*. Зато глагольное сказуемое *«нтыват-гъят» (поставили)* подверглось в акте инкорпорации этого словосочетания флективной морфологизации: окончание *«-гъят»* указывает на прошедшее время. Оно относится только к сказуемому. Вот почему ему нельзя приписывать такую же роль в акте инкорпорации объектного словосочетания, как флексии *«-я»* в *«танклявол-я»* в атрибутивном словосочетании. Его нельзя назвать инкорпоративным (т.е. общим для инкорпорированного словосочетания), но всё-таки и при выражении объектных отношений он участвует в акте инкорпорации. Его употребление провоцирует здесь деморфологизацию дополнения, чтобы полу-

чить словосочетание, длина которого была бы посильна одному ударению.

Если говорящий на чукотском языке выбрал бы неинкорпорирующий способ обозначения упомянутой ситуации, то он создал бы предложение «*Тумгыт (товарищи) эна-нтыват-гъят (поставили) купрэ-тэ (сеть)*», где отдельной морфологизации подвергается каждый член объектного словосочетания. Тот и другой – инкорпорирующий и неинкорпорирующий – способы описания подобных ситуаций в чукотском языке сосуществуют на равных. Достоинство первого состоит в его краткости, а достоинство второго – в более детальном описании данной ситуации. Что лучше? Оба лучше: в одном дискурсе лучше первый, а в другом – второй.

### Полная инкорпорация

В единый инкорпоративный комплекс в этом случае сливаются все члены предложения. В случае двусоставного нераспространённого предложения подлежащее сливается со сказуемым. В статье В.П. Недалкова (Недалков, 1982) помещено огромное количество инкорпорированных предложений этого типа из чукотского языка. Вот некоторые из них:

- 1) *Въэй-инини-гъи (Трава появилась);*
- 2) *Илы-ръу-гъи (Дождь прошёл);*
- 3) *Тэрк-амэчат-гъэ (Солнце зашло).*

Во всех этих предложениях инкорпорированию способствовала внешняя морфологизация глагольного сказуемого посредством окончания прошедшего времени «-гъэ» и внутренняя деморфологизация субстантивного подлежащего.

Инкорпорироваться в чукотском языке могут и распространённые предложения. Здесь можно вспомнить о примере, уже приведённом выше: *Ты-мынгы-нто-ркын (Я руки вынимать буду)*, где в инкорпоративный комплекс вовлечено деморфологизированное дополнение. Иногда в инкорпоративное предложение в чукотском языке вовлекается и обстоятельство. Но в целом чукотско-камчатские языки относят к агглютинативному типу, поскольку большая часть синтаксических конструкций в них строится без участия инкорпорации и лишь незначительная их часть – с её участием. Ин-

корпорирование составляет ведущую черту некоторых североамериканских индейцев.

Главная черта инкорпорирующего типа языка – краткость корневых и аффиксальных морфем. Это облегчает акцентуационному фактору осуществлять в языках этого типа инкорпорирование целых предложений. Так, в индейском языке чинук инкорпоративное предложение *Inialudam* «Я пришёл, чтобы отдать ей это» состоит из следующих компонентов: *I* – показатель прош. вр., *n* – показатель 1 л. и ед. ч., *i* – корень «это», *a* – корень от «она», *l* – показатель объекта, *u* – показатель действия, *d* – корень от «давать» и *am* – показатель цели.

Пример из языка нутка: *Inikwihlminihisita* «Несколько маленьких огней горело в доме», где *Inikw* (огонь, гореть), *ihl* (дом), *minih* (мн. ч.), *is* (элемент, указывающий на уменьшительность), *it* (прош. вр.), *a* (изъяв. накл.).

Структура последнего предложения аналогична структуре чукотского предложения *Тэрк-амэчат-гээ* (Солнце зашло), поскольку в обоих этих предложениях сначала идут лексические элементы, а затем – морфологические. Первое предложение тоже начинается с лексического компонента *I* «я» и кончается морфологическим – «-ат», однако внутри этого предложения несколько внутренних морфологических показателей – времени, лица и др. Их можно уподобить внутренним флексиям, имеющимся в отдельных морфологических формах слова в иврите: *ГНоБ* – *воровать*, *ГаНаБ* – *воровал*, *ГоНэБ* – *ворующий*, *ГаНуБ* – *воруемое* и т.д.

Сделаем выводы.

1. Инкорпоративные словосочетания и предложения – это фразообразовательные аббревиатуры. Если в сложных словах типа «авиабилет, агротехника, оргработа, завкафедрой» и т.п. аббревиация осуществляется не только за счёт деморфологизации их первых производящих слов, но и за счёт усечения их лексических основ (например, от «заведующий» в «завкафедрой» остались одна приставка «за-» и только один звук «в-» от корня), то в инкорпоративных комплексах аббревиация осуществляется, как правило, за счёт одной деморфологизации их внутренних членов. Сравнение инкорпорации со словообразовательной аббревиацией не должно нас уводить слишком далеко, поскольку словообразовательно-фразообразовательный изоморфизм имеет свои границы. Разница



между инкорпорированием (фразообразовательной аббревиацией) и словообразовательной аббревиацией состоит в том, что последняя осуществляется в акте словообразования, а первая – в акте фразообразования. Вторая направлена на создание нового слова, а первая – на создание нового предложения.

2. На построение инкорпоративных словосочетаний и предложений в акте фразообразования действуют два фактора – акцентуационный и морфологизационный. Их совместное действие приводит к сокращению создаваемых синтаксических конструкций либо до инкорпоративных словосочетаний (частичное инкорпорирование), либо до инкорпоративных предложений (полное инкорпорирование).

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноградов В.В.* Языки народов СССР / ред. В.В. Виноградов. – Т. 5. – Л.: Наука, 1968.
2. *Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984.
3. *Даниленко В.П.* Общее языкознание. – 2-е изд. – Иркутск: ИГЛУ, 2003.
4. *Мещанинов И.И.* Проблема развития языка. – Л.: Наука, 1975.
5. *Мещанинов И.И.* Члены предложения и части речи. – Л.: Наука, 1978.
6. *Недялков В.П.* Чукотские глаголы с инкорпорированным подлежащим (тип: н'энгны ы'л-ы-мле-гъи 'с горы обвалился снег', букв. «гора снего-обвалилась») // Категория субъекта и объекта в языках различных типов / ред. С.Д. Кацнельсон, И.О. Гецадзе, С.А. Шубик. – Л.: Наука, 1982.

*Вестник ИГЛУ. Серия «Филология». – № 2. – 2008. – С. 9–15.*

---

### 3. СИНХРОНИЧЕСКИЙ И ДИАХРОНИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ В ЛИНГВИСТИКЕ

---

Синхронический подход к изучению языка направлен на описание языка, взятого в определённый (например, современный) период времени, а диахронический – на описание его истории.

Вплоть до XIX в. европейские грамматики были синхроническими по преимуществу. История языка в них присутствовала лишь эпизодически. Так, в «De lingua latina» М.Т. Варрона (I в. до н.э.) преобладает синхрония, однако в ней мы находим и начало исторического словообразования, поскольку её автор представил в своей грамматике принципы этимологического анализа, сформулированные как предостережения начинающему исследователю (ОЯиИЯ. С. 153). Первые диахронические грамматики появляются лишь в XIX в. Младogramматики называли их историческими, а синхронические – описательными.

Теоретическому осмыслению разницы между синхронией и диахронией (статикой и динамикой) положил начало В. Гумбольдт. Он не употреблял терминов «синхрония» и «диахрония», но отсюда не следует, что он не видел разницы между синхронической лингвистикой и диахронической. В своём докладе «О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития», прочитанном им в 1820 г., используя иную терминологию, он делит сравнительное языкознание на два раздела: «Изучение организма языков» и «Изучение языков в состоянии их развития» (Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. С. 311). Первый из этих разделов соотносится с сосюрровской синхронией, а другой – с диахронией.

Собственная концепция языка у В. Гумбольдта имеет синхроническую доминанту, однако диахронизм пронизывает её насквозь. Более того, ему принадлежит фраза, которую А.А. Потенбня воспринимал как основополагающую для своей собственной позиции в языкознании. Вот эта фраза: «Истинное определение языка может быть только генетическим» (там же. С. 70). Как это понимать?

Лозунг о генетическом определении языка для В. Гумбольдта означал, что при рассмотрении языка вообще, языкового типа или

отдельного языка в частности он не останавливался лишь на их синхроническом описании, но обращался к вопросу об их генезисе, происхождении. На синхроническое состояние языка в этом случае смотрят с генетической точки зрения. За определённым состоянием языка эта точка зрения ищет его истоки, его первоначальные корни.

Генетическая точка зрения (в гумбольдтовском понимании этого термина) должна расцениваться как одна из форм эволюционистского мировоззрения. Её особенность состоит в том, что в центр своего внимания в этом случае исследователь ставит не весь эволюционный путь изучаемого объекта, а лишь его происхождение. Подобным образом подходил к изучению языка В. Гумбольдт. Его эволюционизм, таким образом, может быть определён как генетический.

Вполне определёнными были взгляды на соотношение синхронии и диахронии у младограмматиков. Синхронию они ставили в подчинённое положение по отношению к диахронии. Вот как глава немецкого младограмматизма Герман Пауль объяснял приоритет исторического подхода к изучению языка по отношению к описательному: «Как только исследователь переступает за пределы простой констатации единичных фактов, как только он делает попытку уловить связь между явлениями и понять их, так сразу же начинается область истории...» (*Пауль Г.* Принципы истории языка. – М., 1960. С. 43). Автор этих слов, таким образом, считал, что описательное языкознание не обладает объяснительной силой. С его точки зрения, объяснение того или иного состояния языка невозможно без обращения к его истории. Подобную позицию занимал И.А. Бодуэн де Куртенэ. Он писал: «Понятие развития и эволюции должно стать основой лингвистического мышления» (*Хрестоматия по истории русского языкознания / сост. Ф.М. Березин.* – М., 1973. С. 396).

Синхронический подход к изучению языка И.А. Бодуэн де Куртенэ называл статическим, а диахронический – динамическим. Первый направлен на исследование языка, взятого в определённый период его существования, а второй – на изучение его истории. Так, по поводу фонетики учёный говорил: «Первая физиологическая и вторая морфологическая части фонетики исследуют и разбирают законы и условия жизни звуков в состоянии языка в один

данный момент (статика звуков), третья же часть – историческая – законы и условия развития звуков во времени (динамика звуков)» (*Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1. – М., 1963. С. 66*).

Учёный выступал против смешения статической и динамической точек зрения на язык, считая неуместным «измерять строй языка в известное время категориями какого-нибудь предшествующего или последующего времени. Задача исследователя состоит в том, чтобы подробным рассмотрением языка в отдельные периоды определить его состояние, сообразное с этими периодами, и только впоследствии показать, каким образом из такого-то и такого-то строя и состава предшествующего времени мог развиваться такой-то и такой-то строй и состав времени последующего» (там же. С. 68).

Наиболее распространённой формой применения синхронического подхода к изучению языка является исследование современного (живого) языка. И.А. Бодуэн де Куртенэ работал в условиях, когда в языкознании большим почётом пользовались сплошь и рядом мёртвые языки. Но они доходят до нас лишь в памятниках письменности. Однако письмо – это вторичная форма существования языка. Первичной формой его существования является устный (живой) язык.

Изучать язык по письменной форме его существования в прошлом – всё равно что биологу исследовать организм по его трупу. Подлинная, как тогда было принято говорить, жизнь языка в этом случае ускользает от внимания исследователя. Чтобы добраться до биофизической и психокультурной природы языка, при таком подходе ему приходится пробираться сквозь его «мёртвую» оболочку. Вот почему немецкие младограмматики Г. Осхоф и К. Бругман писали в 1878 г.: «Никто не может отрицать, что прежнее языкознание подходило к объекту своего исследования – индоевропейским языкам, не составив себе предварительно ясного представления о том, как живёт и развивается человеческий язык вообще, какие факторы действуют в речевой деятельности и как совместное действие этих факторов влияет на дальнейшее развитие и преобразование языкового материала. С исключительным рвением исследовали языки, но слишком мало – говорящего человека» (*Зевгинцев В.А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. – Ч. 1. – М., 1960. С. 153*).

Подобным образом относился к проблеме, о которой идёт речь, и И.А. Бодуэн де Куртенэ. Он писал: «Для языковедения... гораздо важнее исследование живых, т.е. теперь существующих языков, нежели языков исчезнувших и воспроизводимых только по письменным памятникам... Только лингвист, изучивший всесторонне живой язык, может позволить себе делать предположение об особенностях языков умерших. Изучение языков живых должно предшествовать исследованию языков исчезнувших» (Т. 1. С. 349).

Ф. де Соссюр, как мы увидим в дальнейшем, отдавал предпочтение синхронии перед диахронией. И.А. Бодуэн де Куртенэ, как и немецкие младограмматики, напротив, в конечном счёте отдавал приоритет динамике перед статикой. «Истинно научными, – указывал он, – они (грамматики. – *В.Д.*) могут быть, только рассматривая этот известный момент в связи с полным развитием языка» (Т. 1. С. 67–68). В статике он видел лишь частный случай динамики: «Нет неподвижности в языке. Принимаемые, например, многими лингвистами одинаковые, неизменные корни, одинаковые, неизменные основы склонения, спряжения и т.д. во всех родственных языках – есть учёная выдумка, учёная фикция и вместе с тем тормоз для объективного исследования. В языке, как и вообще в природе, всё живет, всё движется, всё изменяется. Спокойствие, остановка, застой – явление кажущееся; это частный случай движения при условии минимальных изменений. Статика есть только частный случай динамики или скорее кинематики» (Т. 1. С. 349).

Ф.Ф. Фортунатов ушёл дальше всех в пропаганде исторического подхода к изучению языка. Несмотря на то что его учение о форме в языке имеет по преимуществу синхроническую направленность, всю науку о языке он сводил к историческому языкознанию. Он настаивал: «Предметом языковедения является язык в его истории» (*Фортунатов Ф.Ф. Избранные сочинения. Т. 1. – М., 1956. С. 23*). На следующей странице читаем: «Языковедение, имеющее предметом изучения человеческий язык в его истории, может быть, следовательно, определяемо иначе как история человеческого языка или как историческое изучение человеческого языка, т.е. историческое изучение всех доступных для исследования отдельных человеческих языков...». Диахронический максимализм Ф.Ф. Фортунатова здесь налицо! Он стал естественным следстви-

ем из господства исторического языкознания над описательным в лингвистике XIX в.

Историзм в XIX в., в особенности во второй его половине, господствовал не только в языкознании, но и в других науках. Во многом это объясняется триумфальным успехом книги Ч. Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь», которая вышла в свет в 1858 г. Свет эволюционизма, исходящий от этой книги, осветил всю науку. Его лучи достигли и культурологии, куда входит, как мы помним, и лингвистика. Достаточно в связи с этим привести такой пример: французский историк Шарль Летурно (1831–1902) издал в конце XIX в. следующие книги: «Эволюция морали» (1884), «Эволюция брака и семьи» (1888), «Эволюция собственности» (1889), «Политическая эволюция» (1890), «Юридическая эволюция у различных человеческих рас» (1891), «Религиозная эволюция» (1892), «Эволюция рабства» (1897) и ряд других. К сожалению, Ш. Летурно не обладал системным мышлением. Вот почему его «эволюции» изображаются изолированно друг от друга. Его картина культуры, таким образом, рассыпается на отдельные фрагменты, не связанные между собою в единую систему.

Системным мышлением в науке обладал самый великий универсальный эволюционист XIX в. Герберт Спенсер (1820–1904). Он обладал мирообъемлющим умом. «Мирообъемлющим умом» (выражение В.Г. Белинского о В. Шекспире) обладал М.В. Ломоносов (1711–1765), но он не успел написать всеобъемлющего труда о мироздании в целом. Он не успел даже завершить задуманную им «Систему всей физики». Г. Спенсеру же посчастливилось построить эволюционную модель почти всего мироздания. Только культуру он не успел охватить целиком. Начиная с 1862 и кончая 1896 г. выходили в свет следующие его книги: «Основные принципы», «Принципы биологии», «Принципы психологии», «Принципы социологии» и «Принципы этики». Сам порядок их написания отражает эволюцию: первая посвящена физиогенезу, вторая – биогенезу, третья – психогенезу, четвёртая и пятая – генезису двух сфер культуры – нравственности и политики, но в них речь идёт также о генезисе религии, науки, искусства и языка. Во всех своих книгах их автор исходил из положения о всеобщности, универсальности эволюции. Недаром он снискал себе славу апостола эволюции.

Г. Спенсер совершенно справедливо считал, что эволюционный подход позволяет построить единую систему мироздания. Между прочим, в этом он и видел задачу философии. «Философия, – указывал он, – вполне интегрированное знание» (Антология мировой философии. Т. 3. – М., 1971. С. 609). Чуть ниже он уточнял: «...объединённое знание возможно и... цель философии – достижение его». Очевидно, подобная философия перерастает в науку вообще – в научную картину мира.

Описывая физиогенез, биогенез, психогенез и культурогенез, Г. Спенсер опирался на выработанное им общее понимание хода эволюции. В самом кратком варианте это понимание он формулировал так: «Эволюция всегда представляет собой интеграцию материи и рассеяние движения» (с. 612). В более развёрнутом виде эта формулировка конкретизировалась: «Развитие (эволюция) есть интеграция материи, сопровождаемая рассеянием движения, во время которой материя переходит от состояния несвязной и неопределённой однородности к состоянию определённой и связной разнородности, а неизрасходованное движение претерпевает аналогичное же преобразование» (*Спенсер Г.* Основные начала. – СПб., 1886. С. 238).

Расшифровывая общее понимание хода эволюции на конкретном материале, Г. Спенсер писал: «Вещество, входящее в состав нашей Солнечной системы, принимая более плотную форму, вместе с тем изменялось путем перехода от единства распределения к его многообразию. Затвердевание Земли сопровождалось переходом от сравнительного однообразия к чрезвычайно разнообразию. Развиваясь из зародыша в тело сравнительно большого объёма, каждое животное или растение также переходит от простого к сложному. Возрастание общества, как в отношении его численности, так и прочности, сопровождается возрастанием разнородности его политической и экономической организации. То же самое относится ко всем надорганическим продуктам – языку, науке, искусству и литературе» (Антология... С. 613).

Становится понятным теперь, почему Фердинанд де Соссюр (1857–1913) ощущал себя в научном сообществе одиноким: диахроническая атмосфера, господствующая в науке его времени, действовала на него душающе. Он был апостолом синхронии.

Обосновывая правомерность употребления терминов «*синхрония*» и «*диахрония*» в языкознании, Фердинанд де Соссюр (1857–1913) писал: «Термины “история” и “историческая лингвистика” непригодны, так как они связаны со слишком расплывчатыми понятиями... Термины “эволюция” и “эволюционная лингвистика” более точны, и мы часто будем ими пользоваться; по контрасту другую науку можно было бы называть наукой о состояниях языка или статической лингвистикой. Однако, чтобы резче оттенить это противопоставление и это скрещение двоякого рода явлений, относящихся к одному объекту, мы предпочитаем говорить о синхронической лингвистике и диахронической лингвистике. Синхронично всё, что относится к статическому аспекту нашей науки, диахронично всё, что касается эволюции. Существительные же “синхрония” и “диахрония” будут соответственно обозначать состояние языка и фазу эволюции» (Соссюр Ф. Труды по языкознанию. – М., 1977. С. 114).

В решении вопроса о соотношении синхронии и диахронии в языкознании Ф. де Соссюр занимал альтернативистскую позицию – позицию «или/или». Это означает, что он противопоставлял их друг другу абсолютно и бескомпромиссно. Он говорил: «Противоположность двух точек зрения – синхронической и диахронической – совершенно абсолютна и не терпит компромисса» (там же. С. 116). Отсюда следует, что в синхронии он не признавал элементов диахронии, а в диахронии – элементов синхронии. Иначе говоря, он целиком и полностью отрицал относительность разницы между синхронией и диахронией. При этом он, в отличие от младограмматиков, отдавал приоритет синхронии перед диахронией.

В отличие от Г. Пауля, который отказывал описательному языкознанию в объяснительной силе, Ф. де Соссюр стал приписывать эту силу главным образом не диахронической, а синхронической лингвистике. При этом он прибегал к сравнению с шахматной игрой. Если мы застаём шахматную партию в том или ином состоянии, рассуждал Ф. де Соссюр, то нам не нужно изучать её историю, чтобы вместе с игроками думать о следующем ходе. Он говорил: «В шахматной партии любая данная позиция характеризуется, между прочим, тем, что она совершенно независима от всего того, что ей предшествовало; совершенно безразлично, каким путём она



сложилась; зритель, следивший за всей партией с самого начала, не имеет ни малейшего преимущества перед тем, кто пришёл взглянуть на положение партии в критический момент; для описания данной шахматной позиции совершенно незачем вспоминать о том, что происходило на доске десять секунд тому назад. Всё это рассуждение применимо и к языку и ещё раз подчёркивает коренное различие, проводимое нами между диахронией и синхронией» (там же. С. 122).

Синхронист, таким образом, не нуждается, по Ф. де Соссюру, в помощи диахрониста. Дело первого – описание языковой системы, взятой в определённый период времени, а дело второго – описывать изменения, которые происходили в истории этого языка. Синхронист не нуждается в помощи диахрониста потому, что сама языковая система обладает объяснительной силой (как шахматная позиция, взятая в определённый момент). Состояние её элементов объясняется не их историей, а состоянием системы, к которой они принадлежат.

Преимущество синхронии перед диахронией Ф. де Соссюр видел в первую очередь в том, что именно синхроническому рассмотрению доступна языковая система как таковая, тогда как диахроническая лингвистика занимается изменениями, которые происходят первоначально не в языке, а в речи отдельных говорящих. Диахронической лингвистике, таким образом, недоступен, как говорил Ф. де Соссюр, «единственный и истинный объект лингвистики», а именно: «язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» (там же. С. 269).

Мышление Ф. де Соссюра было абсолютистским (альтернативистским). Он резко противопоставлял друг другу язык и речь, внутреннюю лингвистику и внешнюю, синхронию и диахронию. Отсюда не следует, что мы должны преуменьшать значение его «Курса общей лингвистики» для нашей науки. Соссюровские дихотомии были и остаются её краеугольными камнями. Всё дело лишь в том, чтобы мы умели проводить не абсолютную грань между языком и речью, внутренней лингвистикой и внешней, синхронией и диахронией, а относительную. Но отсюда не следует, что мы имеем право, как релятивисты, стирать эту грань. Нам запрещает это делать великий Фердинанд де Соссюр.

Мышление другого великого языковеда – Вилема Матезиуса (1882–1945) – было не абсолютистским, а диалектическим. Мы обратимся сейчас к его взглядам на соотношение синхронии и диахронии.

В «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра (1916) В. Матезиус нашёл поддержку собственным мыслям о необходимости разграничения синхронии и диахронии, что связано с тем, что его концепция имеет преимущественно синхроническую направленность. «Выдающийся швейцарский лингвист, – писал он о Ф. де Соссюре, – стал строго различать в языкознании диахроническую (динамическую) и синхроническую (статическую) точки зрения, и эту идею в её методологическом отношении трудно переоценить, ибо... иными путями мы никогда не расположим факты изучаемого языка в одной плоскости» (*Матезиус В. Куда мы пришли в языкознании* (1931) // В.А. Звегинцев. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Т. 2. – М., 1960. С. 90). Но взгляды В. Матезиуса на проблему соотношения синхронии и диахронии существенно отличаются от соссюровских. В. Матезиус стремился не только к разграничению синхронии и диахронии, но и к установлению взаимной связи между ними.

### 3.1. РАЗГРАНИЧЕНИЕ СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ

Утверждая самостоятельную ценность синхронического подхода в языкознании, В. Матезиус, в отличие от Ф. де Соссюра, не идеализировал этот подход за счёт диахронического. Он не ставил их в отношения конкуренции друг с другом. «Те, кто стоит за динамический метод, – писал он, – не должны бояться конкуренции другого метода, потому что проведённый статический анализ поставит новые лингвистические проблемы, которые в свою очередь будут требовать дальнейшего исследования историческим методом» (*Mathesius V. Novè proudy a sméry v jazykovědnem bádání // Z klasického období Pražské školy 1925–1945. Česk. akad. ved. Prameny české a slovenské lingvistiky. Řada česká. – Praha, 1972. – № 2. S. 7*).

Научную равноценность синхронии и диахронии В. Матезиус выводил из специфики задач, которые стоят перед историческим и описательным языкознанием. Он указывал: «В то время, как динамический (в соссюровской терминологии – диахронический) метод

анализирует факты языка в их хронологической последовательности, метод статический (в сосюрговской терминологии – синхронический) ограничивает исследование языковым состоянием, как оно представлено в данный период» (там же. S. 6).

### **3.2. ЗАВИСИМОСТЬ ДИАХРОНИИ ОТ СИНХРОНИИ**

Отправным пунктом для В. Матезиуса было синхроническое рассмотрение языка, от которого он переходил к его диахроническому рассмотрению. Иной путь и невозможен: прежде чем расположить те или иные факты языка в хронологической последовательности, необходимо восстановить их на синхронической плоскости. На это указывал Г. Пауль в цитированном нами отрывке из его «Принципов истории языка», но он истолковывал этот факт в сторону зависимости описательного языкознания от исторического, тогда как В. Матезиус интерпретировал его в обратном направлении. Прежде всего, объяснял он, исследователь устанавливает факт А2 в современном языке и факт А1 в истории этого языка, и только затем он протягивает историческую нить между этими фактами: А1 → А2 (там же. S. 7). Диахроническое исследование, таким образом, базируется на синхроническом.

Значение синхронической лингвистики для диахронической В. Матезиус расценивал как стимулирующее. Так, пояснял он, в современном английском языке представлена тенденция выражать основу высказывания (тему) посредством подлежащего. Обнаружение этой тенденции приводит исследователя к вопросу о причинах её развития в данном языке. Но на этом не кончается значение синхронической лингвистики для развития диахронической. Выявление исторических корней той или иной тенденции, действующей в современном языке, приводит исследователя к обнаружению и объяснению новых фактов в истории языка. Так, указанная тенденция, действующая в английском языке более активно, чем в немецком, оказывается связанной в английском языке с развитием новых личных конструкций. В результате действия данной тенденции в английском языке среднего периода некоторые безличные конструкции были заменены на личные. Этим объясняется тот факт, что на месте безличных конструкций в современном немецком языке мы находим часто соответственные личные кон-

струкции в современном английском (ср. *Es ist mir kalt* «Мне холодно» с *I am cold*). В истории немецкого языка действие тенденции, о которой идёт речь, не было таким же сильным, как в истории английского.

### 3.3. ЗАВИСИМОСТЬ СИНХРОНИИ ОТ ДИАХРОНИИ

Грамматическая модель В. Матезиуса построена так, что она неизбежно выводит исследование за пределы современного языка. Это связано с особым характером отношений, которые В. Матезиус стремился выявить в системе современного языка. Он стремился к обнаружению причинно-следственных отношений между наиболее характерными особенностями изучаемого языка. Природа данных отношений такова, что для их выявления материала современного языка недостаточно. Так, с точки зрения современного английского языка нельзя установить, почему в этом языке отсутствует развитая система падежных окончаний. Чтобы в этой особенности современного английского языка увидеть результат действия определённых факторов, необходимо обратиться к истории этого языка. Ориентация грамматики В. Матезиуса на изучение причинных отношений в языке придаёт этой грамматике диахроническую перспективу.

Причинный характер системных отношений в языке служит основой для относительно быстрой перестройки его системы. Одна особенность становится причиной другой, эта последняя становится причиной третьей и т.д. В конечном счёте причинные отношения в языке охватывают все наиболее существенные черты этого языка. Поскольку для разрешения противоречий, возникающих в языке между господствующими тенденциями, говорящие находят те или иные средства, система языка может сохранять относительное равновесие и тем самым противостоять действию новых тенденций.

Причинный характер системных отношений в языке служит основой для относительно быстрой перестройки его системы. Как только та или иная особенность языка выходит из-под контроля его других особенностей, связи данной языковой особенности с другими становятся ослабленными. Это позволяет новым тенденциям распространить своё действие на оставшуюся без активной

системной поддержки старую тенденцию, тем самым ослабляя её. Вместе с этим ослабляются также и позиции других господствующих тенденций в языке. Причинный характер системных отношений в таком переходном состоянии языка в конечном счёте обеспечивает относительно быструю замену старых господствующих тенденций окрепшими новыми. В результате такой замены устанавливается новое относительно устойчивое состояние языковой системы.

Синхроническая грамматика В. Матезиуса имеет широкую диахроническую перспективу. К фактам исторического развития изучаемого языка, вместе с тем, В. Матезиус обращался только с объяснительной целью по отношению к современному языку. Продемонстрируем это на следующих примерах.

1. Систематизируя словообразовательные средства современного английского языка, В. Матезиус обнаруживает в нём два типа композитов, один из которых построен по модели «*определяющее + определяемое*» (например, *blackbird* «*черный дрозд*»), а другой – по модели «*определяемое + определяющее*» (например, *pickpocket* «*вор-карманник*»). Возникает вопрос: почему в английском языке мы находим каждый из этих типов словообразования, тогда как в немецком преобладает лишь первый, а во французском – второй (ср. *Federhalten* «*ручка для письма*» с *porte-plume*)? Этот факт невозможно объяснить без обращения к истории английского языка. Дело в том, что первый тип является в этом языке, как и в немецком, исконным, а второй – результат влияния французского языка, с которым английский язык находился в особенно близком контакте во второй половине Средних веков.

2. Почему во многих языках представлены согласовательные категории (например, род, число, падеж у прилагательных)? Их происхождение связано с влиянием «определённой ситуативной перспективы, в которой произносится высказывание» (*Mathesius V. Obsahový rozbor současně angličtiny na základě obecně lingvistickém.* – Praha: Academia, 1961. S. 113). Поскольку высказывание является целостной единицей, некоторые признаки описываемых им предметов стали обозначаться окончаниями несубстантивных частей речи. В дальнейшем эти окончания закрепились в качестве одного из средств выражения синтаксической связи существительного с прилагательным или глаголом. Вместе с тем синтаксическая

природа таких категорий позволила английскому языку отказаться от ономотологически неоправданного изменения прилагательных по роду, числу и падежу, что, в свою очередь, было связано с разрушением системы склонения в средний период английского языка.

3. Сопоставление современного английского языка с современным чешским показывает, что в этих языках соотношение между основой и ядром высказывания с одной стороны и подлежащим и сказуемым с другой не является одинаковым. В первом из этих языков основа высказывания, как правило, выражается подлежащим, тогда как во втором она свободно выражается также и сказуемым.

Подлежащее и сказуемое, очевидно, обязаны своим происхождением основе и ядру высказывания. Возникнув из основных членов актуального членения предложения, подлежащее и сказуемое, однако, в дальнейшей истории языков либо сохраняли близость к основе и ядру высказывания (так произошло в истории английского языка), либо всё больше расходились с ними (так произошло в истории чешского языка). Почему английский оказался здесь консервативнее чешского?

В среднеанглийском языке была разрушена прежняя система склонения, в результате чего в английском языке установился негибкий порядок слов в предложении (подлежащее – сказуемое). Напротив, в истории чешского языка этого не произошло. Но независимо от того, о каком периоде в истории языка идёт речь, в обычной речи основа высказывания ставится впереди его ядра. Поскольку в чешском языке сохранился гибкий порядок слов, основа высказывания в нём могла легко выражаться не только подлежащим, но и сказуемым. Это увеличивало в нём диспропорцию между основой высказывания и подлежащим. Развитию данной диспропорции в английском языке препятствовал негибкий порядок слов в предложении: подлежащее и основа высказывания должны были совпадать в одном слове, стоящем в начале предложения.

Говоря о методах современной лингвистики, В.М. Жирмунский писал: «Методы эти не разрывают синхронию и диахронию: они вносят в синхронию элемент развития, т.е. историзм» (*Жирмунский В.М. О синхронии и диахронии в языкознании // ВЯ. – 1957. – № 5. – С. 52*). Эти слова могут быть вполне отнесены к грамматической теории В. Матезиуса.

## Приложение

### ЯЗЫКОВАЯ АЛЛЕРГИЯ

Стоит ли ломать голову над вопросом о том, где ставить ударение в слове «*договор*» – на третьем слоге или на первом? Другое дело, например, со словами «*му́ка*» и «*мука́*», «*за́мок*» и «*замо́к*», где от ударения зависит их значение. Другая ситуация с формами «*твори́г*» и «*тво́рог*». Вариативность ударений в них уже давно узаконена в нормативных словарях. Почему бы к ним не присоединить диаду «*до́говор* – *догово́ра*» да не присовокупить к ним заодно и другие формы, до сих пор не признаваемые за литературные?

Положительно на этот вопрос ответил автор нового акцентологического словаря русского языка, составленного И. Резниченко. Он вошёл в число других нормативных словарей, вошедших в приказ № 195 «Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации». Этот приказ был подписан А. Фурсенко 9 июня 2009 г.

Акцентологические нововведения И. Резниченко не укладываются в голове людей, не признающих эти нововведения. Они протестуют против узаконивания языковых изменений, ранее считающихся ненормативными. Между тем законсервировать язык в неизменном состоянии невозможно. И.А. Бодуэн де Куртенэ в своё время писал: «Нет неподвижности в языке... В языке, как и вообще в природе, всё живет, всё движется, всё изменяется. Спокойствие, остановка, застой – явление кажущееся; это частный случай движения при условии минимальных изменений» (цит. по кн.: ИРЯ. С. 133).

Вопрос об ударении в слове «*договор*» и о форме множественного числа от него возник не сегодня. Довольно основательно он обсуждался в 60-е годы прошлого века ещё К.И. Чуковским в его книге «Живой как жизнь». Он, в частности, писал: «Не так-то легко оказалось побороть инстинктивное отвращение к формам: *инженера, договора, площадь, скорость*. Но и здесь я решил преодолеть

свои личные вкусы и вдуматься во все эти слова беспристрастно» (Чуковский К.И. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3. – М.: Художественная литература, 1966. С. 24).

Побороть инстинктивное отвращение к этим формам и им подобным К.И. Чуковскому при всём его желании не удалось. Он писал: «Так убеждал я себя, и мне казалось, что все мои доводы неотразимо логичны. Но, очевидно, одной логики мало для оценки того или иного языкового явления. Существуют другие критерии, которые сильнее всякой логики. Мы можем сколько угодно доказывать и себе и другим, что то или иное слово и по своему смыслу, и по своей экспрессии, и по своей грамматической форме не вызывает никаких нареканий. И всё же по каким-то особым причинам человек, который произнесёт это слово в обществе образованных, культурных людей, скомпрометирует себя в их глазах» (там же. С. 31).

Вот как мудрый сказочник и тонкий филолог писал о возможности склонять слово *«пальто»*: «И как бы ни были убедительны доводы, при помощи которых я пытался оправдать склоняемость слова *пальто*, всё же едва я услышал от одной очень милой медицинской сестры, что осенью она любит ходить без *пальта*, я невольно почувствовал к ней антипатию. И тут мне сделалось ясно, что, несмотря на все свои попытки защитить эту, казалось бы, совершенно законную форму, я всё же в глубине души не приемлю её. Ни под каким видом, до конца своих дней я не мог бы ни написать, ни сказать в разговоре: *пальта, пальту* или *пальтом*» (там же. С. 31).

Подобную ситуацию переживают лингвистически образованные люди по отношению к формам *«дóговор – договорá»* и иже с ними. Тонкое чутьё языка не позволит им принять эти формы даже под дулом пистолета.

Формы *«дóговор – договоры»* и *«дóговор – договорá»* делит всех людей, говорящих на русском языке, на два лагеря. Диалог между ними почти невозможен. Носителям второй диады нет никакого дела до культурно-речевых споров. Чаще всего они о них и слыхом не слыхивали. Им хоть кол на голове теши, а они как говорили всю жизнь *«дóговор»* и *«договорá, зóвнит»* и *«сосредотачиваться»*, *«обеспечéние»* и *«квáртал»*, так и будут говорить до скончания века. Но следует ли отсюда, что кодификаторы языковых норм должны идти у них на поводу? Нет, не следует: нормативные сло-



вари должны учитывать не только статистику распространения языковых форм, но и просветительское назначение этих словарей. Кодификация форм «дóговор» и «дoговора́» в наше время особенно неуместна. У нашего народа выработалась аллергия против реформ, которые, как правило, ни к чему доброму у нас не приводят. На этом фоне узаконивание нелитературных форм в качестве литературных воспринимается как покушение на самое святое – на наш «великий и могучий» русский язык.

---

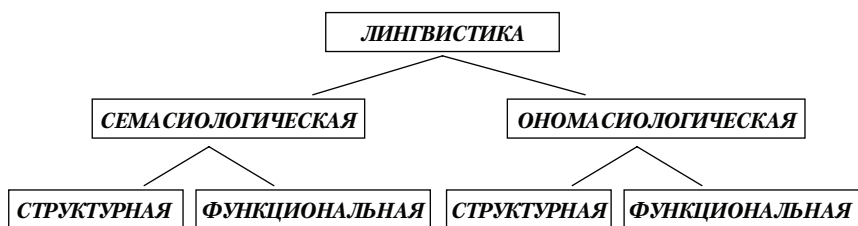
## 4. СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ И ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ В ЛИНГВИСТИКЕ

---

Ономасиологический способ рассмотрения языковых явлений предполагает, что говорящий исходит в своей деятельности из некоторого внеязыкового содержания и переводит это содержание в языковую форму; при этом та или иная языковая форма выбирается говорящим из находящейся в его распоряжении языковой системы и преобразуется им из системно-языкового состояния в речевое (формула: «внеязыковое содержание → языковая форма/языковая система → речь»).

Семасиологический подход выдвигает на первый план речевую деятельность слушающего и, следовательно, учитывает обратные переходы: «речь → языковая система/языковая форма → внеязыковое содержание». Слушающий исходит в своей деятельности из речи, на материале которой в его сознании формируется языковая система. Используя эту систему, он понимает языковую форму, передаваемую ему говорящим, т.е. соотносит её с тем или иным внеязыковым содержанием.

Методологическая структура грамматики может быть представлена следующим образом:



Структурно-семасиологическая грамматика исследует язык с точки зрения слушающего, т.е. в направлении «речь → языковая система». Функционально-семасиологическая грамматика исследует функционирование языка с точки зрения слушающего, т.е. в направлении «языковая форма → внеязыковое содержание». Структурно-ономасиологическая грамматика исследует язык с точки

зрения говорящего, т.е. в направлении «*внеязыковое содержание* → *языковая форма*». Функционально-ономасиологическая грамматика исследует функционирование языка с точки зрения говорящего, т.е. в направлении «*языковая система* → *речь*». Семасиологическая и ономасиологическая грамматики, таким образом, существуют в двух формах – структурной и функциональной.

Истоки семасиологической грамматики в Европе восходят к александрийской филологии. Истоки ономасиологической грамматики восходят к античной философии языка и в особенности к модистской грамматике XIII–XIV вв.

Дифференциация семасиологических и ономасиологических исследований на структурные и функциональные приобрела более или менее отчётливую форму лишь в XX в. В это время были созданы концепции, в рамках которых на господствующее положение были выдвинуты, с одной стороны, структурный (Л. Ельмслев) и функциональный (Д. Фёрс) аспекты семасиологической грамматики, а с другой стороны, структурный (Л. Вайсгербер) и функциональный (Г. Гийом) аспекты ономасиологической грамматики.

В процессе изучения речевого материала как семасиолог, так и ономасиолог совершают «челночное» движение по отношению к форме и содержанию. Это порождает иллюзию тождества семасиологического и ономасиологического подходов к изучению языка. Укреплению скепсиса по отношению к методологической важности разграничения семасиологии и ономасиологии в XX в. способствовал структурализм. Независимо от того, о какой форме структурализма – сосюрловской, блумфилдовской, ельмслевской или яacobсоновской – идёт речь, в любом случае мы имеем дело со структурно-семасиологической моделью языка, поскольку в её основе лежит изучение перехода «*речь* → *языковая система*». Эта модель, вместе с тем, содержит элементы функционально-семасиологической (*план выражения* → *план содержания*), структурно-ономасиологической (*план содержания* → *план выражения*) и функционально-ономасиологической (*языковой инвариант* → *речевой вариант*) грамматик.

Структуралистская модель языка позволяет легко переходить от речи к языковой системе и обратно, от языковой формы к её содержанию и обратно. В этом состоит её несомненное достоинство, но в этом же состоит и её ограниченность: степень разработанности

функционально-семасиологического, структурно-ономасиологического и функционально-ономасиологического аспектов грамматики в данной модели невысока. Свойственная этой модели лёгкость переходов «речь ↔ языковая система» и «языковая форма ↔ внеязыковое содержание» способствовала укреплению мнения, согласно которому в практике конкретного лингвистического исследования разграничение семасиологического и ономасиологического подходов не имеет большого методологического значения. Нельзя, однако, забывать в связи с этим, что в защиту строгого разграничения указанных подходов выступали такие языковеды XX в., как Ш. Балли, Ф. Брюно, О. Есперсен, В. Матезиус, Л.В. Щерба, а позднее – М. Докулил, В. Шмидт, В.Г. Гак, А.В. Бондарко.

Необходимость разграничения семасиологии и ономасиологии вытекает из своеобразия языковых структур, которыми пользуются говорящие и слушающие. Эти структуры не являются идентичными, поскольку говорящие обращаются к языку со стороны внеязыкового содержания, а слушающие – со стороны его формы. В процессе речевой деятельности говорящие пользуются не только содержательными, но и формальными структурами, но это не снимает принципиального различия между ними – различия в степени их протяжённости.

Именно потому, что в структурах первого типа фактор формального сходства между отдельными средствами языка, выражающими одну и ту же содержательную категорию, является ведущим по отношению к содержательному фактору, протяжённость формальных структур оказывается меньшей, чем протяжённость содержательных структур.

Так, в основе каждой из частей речи лежит определённая семасиологическая категория, поскольку при классификации слов по частям речи формальные критерии занимают ведущее положение по отношению к содержательным. Каждая часть речи представляет собою формально-морфологическую структуру. Семасиологические категории, лежащие в основе частей речи, становятся ономасиологическими, если они начинают соотноситься не только с отдельными частями речи, но и сразу с несколькими из них. С содержательно-морфологическими структурами мы имеем дело при субстантивации, адъективации и т.д.

Подобное соотношение формальных и содержательных структур языка наблюдается и на других уровнях языка. Так, в одну и ту же синтактико-содержательную структуру русского языка, в основе которой лежит содержание «*носитель характеристики – характеристика*», входит несколько синтактико-формальных структур этого языка (*Он ленив; Повреждение исправлено; Он учитель; Сын сидит голодный; Собаки кусаются*).

Научная грамматика не может игнорировать различия между формальными и содержательными структурами языка, а следовательно, не может обойтись без последовательного разграничения семасиологического и ономасиологического подходов. Цель первого из них состоит в систематизации формальных структур языка (*структурный аспект семасиологической грамматики*) и в изучении их функционирования в речевой деятельности слушающего (*функциональный аспект семасиологической грамматики*). Цель второго подхода состоит в систематизации содержательных структур языка (*структурный аспект ономасиологической грамматики*) и в изучении их функционирования в речевой деятельности говорящего (*функциональный аспект ономасиологической грамматики*).

Как складывалась история лингвогносеологии в отношении к семасиологическому и ономасиологическому методам в языкознании? Об этом я написал большую статью, которая называется «Три методологических дискурса в европейской лингвистике». Она помещена в приложении к моей книге «Вильгельм фон Гумбольдт и неогумбольдтианство» (М., 2010) на с. 129–142.

В истории лингвогносеологии мы можем выделить три направления: 1) крайний ономасиологизм (Ю. Скалигер, Г. Фоссиус, К. Беккер, Ш. Балли); 2) крайний семасиологизм (Р. Раск, Г. Штайнталь, В.В. Виноградов, Л. Ельмслев); 3) диалектическое равноправие семасиологизма и ономасиологизма (Г. Гумбольдт, Д. Рис, О. Есперсен, В. Матезиус, В.П. Даниленко).

Основателем крайнего, воинственного ономасиологизма (= антисемасиологизма) стал Юлиус Скалигер (1484–1558). Свои критические стрелы он направил в интерпретационную сердцевину семасиологической грамматики. Он писал: «Грамматики не являются интерпретацией авторов» (цит. по указ. кн.: с. 131). Цель грамматики Ю. Скалигер видел в том, чтобы исследовать языковые сред-

ства, с помощью которых выражаются философские категории, выведенные Аристотелем.

Защитником ономасиологизма в первой половине XIX в. стал Карл Беккер (1775–1849). Он разделял убеждение авторов философских грамматик XVIII в., состоящее в том, что существует универсальная система содержательных категорий, исходя из которой можно производить систематизацию средств, принадлежащих любому языку. Он писал: «Своеобразие системы состоит в том, что отношения понятий и их связи в языке, а не формы выражения составляют в итоге её основу, и возможна, следовательно, система для грамматик всех языков, поскольку отношения понятий и их связи во всех языках являются одними и теми же. В отличие от форм выражения, они не отличаются друг от друга» (там же. С. 133).

Самым ярким представителем воинственного антисемасиологизма в первой половине XX в. стал Шарль Балли (1865–1947). Ономасиологический подход он расценивал как единственно рациональный. Следовательно, семасиологическому подходу он отказал не только в лингвистическом, но и научном статусе.

Родоначальником воинственного семасиологизма (= антиономасиологизма) в начале XIX в. стал Расмус Раск (1787–1832). Он настолько критически относился к универсально-ономасиологическим грамматикам XVII–XVIII вв., что, по существу, отказал им в лингвистическом статусе. Характерную черту этих грамматик учёный видел в том, что на ведущее положение в них выдвинут принцип «от мысли к средствам её языкового выражения». Но для Р. Раска этот принцип был неприемлем. Он писал: «Не мысль и её формы, а слова, звучания и их формы вместе с отношениями или связями составляют то, чем должно заниматься учение о языке» (там же. С. 132).

Самым ярким представителем воинственного антиономасиологизма в первой половине XX в. стал Луи Ельмслев (1899–1965). Он расценивал ономасиологический подход как философский, логический или психологический, но отнюдь не лингвистический. Л. Ельмслев оказался здесь верным последователем своего соотечественника Р. Раска.

Подобную позицию у нас занимал В.В. Виноградов (1895–1969). Опираясь на неё, он резко критиковал ономасиологизм Н.И. Греча и Д.Н. Овсяннико-Куликовского. О живучести антиономасиологизма в наше время свидетельствует, например, такой

красноречивый факт: известный романист В.Г. Гак отказывал ономаσιологической грамматике в грамматическом статусе. Он писал: «Ономаσιологическая грамматика не является грамматикой в собственном смысле этого слова» (там же. С. 136).

Как антисемасиологисты, так и антиономаσιологисты занимали абсолютистскую позицию в лингвогносеологии. Начало диалектическому подходу к решению вопроса о соотношении семасиологизма и ономаσιологизма положил В. Гумбольдт (см. указ. статью). Но особенно ярко этот подход был выражен в первой половине XX в. Отто Есперсеном (1860–1943) и Вилемом Матезиусом (1882–1945) (см. указ. статью).

Обратимся здесь к истории ономаσιологического направления в европейской грамматике. В этой истории можно выделить три больших этапа – этап зарождения (Античность, Средние века и эпоха Возрождения), этап становления (Новое время и XIX в.) и современный этап (XX в.).

В центре внимания греческих философов был вопрос об отношении слова к вещи. Этот вопрос решался ими в направлении «*вещь* → *слово*», т.е. в ономаσιологическом направлении. Стоики использовали ономаσιологический подход при изучении как слов, так и предложений. «По утверждению стоиков, – писал Секст Эмпирик, – говорить – это произносить звук, означающий представляемую вещь» (Античные теории языка и стиля / под общ. ред. О.М. Фрейденберг. – М.; Л., 1936. С. 69).

Ономаσιологические установки, выработанные в рамках философии языка, перешли в александрийскую грамматику и развивались в рамках семасиологической грамматики, однако в ней они были подчинены её семасиологическим задачам, которые состояли в систематизации формальных структур языка и описании их функций. История семасиологического и ономаσιологического направлений в языкознании проходила во взаимной зависимости их друг от друга, но зависимость последнего от первого была более сильной, чем обратная зависимость. Иначе и не могло быть: прежде чем приступить к систематизации содержательных структур языка, необходимо располагать систематическими описаниями его формальных структур. Так, в грамматике Варрона мы находим ономаσιологическую интерпретацию языковых фактов, описанных в предшествующих семасиологических исследованиях.

Ономасиологический подход у Варрона был тесно связан с диахроническим. «Как я показал в предыдущих книгах, – писал он, – речь по природе троечастна, и первая часть её – как слова были установлены для вещей; вторая – каким образом они, отклонившись от этих последних, приобрели различия; третья – как они, разумно соединяясь между собой, выражают мысль» (там же. С. 80).

У Варрона мы находим ономасиологическую интерпретацию языковых явлений и в синхроническом плане, который, впрочем, не всегда чётко отграничен от диахронического. Исходя, в частности, из наличия или отсутствия категории пола, Варрон обращал внимание на несоответствие между этой категорией и регулярными средствами её выражения в латинском языке. «Так, мужчина носит имя *Perpetua* или *Alfena*, женское по форме; и наоборот, *paries* (стена) по форме сходно с *abies* (ель), но первое из этих слов считается мужского рода, а второе – женского, тогда как по природе и то и другое среднего» (там же. С. 95).

Однако в целом ономасиологический способ рассмотрения языка не получил у Варрона последовательного применения. Его морфологическая классификация, содержащая имена, глаголы, причастия и неизменяемые слова, является формальной, поскольку содержательные категории, лежащие в её основе, остались семасиологическими: категория «отклонения от вещи» соотносится с падежными формами существительных и прилагательных, однако у этих последних значение падежа не выражает ономасиологической категории; категория времени соотносится только со спрягаемыми формами глагола; обе эти категории соотносятся также с узким формальным классом – причастиями. Широкая протяжённость последней группы слов не говорит о её принадлежности к содержательным структурам языка, поскольку в её основе не лежит никакой ономасиологической категории.

Подлинными авторами первой ономасиологической модели языка стали грамматисты XIII–XIV вв. Опираясь на семасиологические грамматики Доната и Присциана, они осуществили ономасиологическую переориентацию традиционной семасиологической грамматики. Свои грамматики они обычно называли трактатами о модусах обозначения, поэтому их стали называть модистами. Под



модусами обозначения средневековые учёные понимали способы выражения идей, которые являются результатом осознания предметов внешнего мира. Модисты считали, что грамматическому изучению языка предшествуют исследование форм бытия вещи, изучаемых метафизикой, и способов понимания этих форм, изучаемых логикой. Соотнося философские категории бытия и мышления с содержательными структурами языка, они превращали эти категории в ономасиологические. К этим последним модисты приходили также и со стороны семасиологических категорий, которые они обнаруживали в грамматиках Доната и Присциана. Своего апогея модистская теория достигла в грамматике Томаса Эрфуртского (*Thomas of Erfurt. Grammatica speculativa. An edition with translation and commentary by Bursill-Hall G.L. – L., 1972*). Как и другие модисты, Томас подразделял грамматику на морфологию («этимологию») и синтаксис («диасинтетику»).

В области структурно-ономасиологической морфологии Томас стремился к систематизации содержательных морфологических структур языка. Ему удалось выполнить межуровневую классификацию частей речи на ономасиологической основе. Эта классификация строится на ономасиологических категориях субстанции, качества и отношения. Две первые категории выражаются изменяемыми (склоняемыми и спрягаемыми) словами, третья – неизменяемыми. Дальнейшее деление двух первых категорий может быть представлено следующим образом:



Ономасиологический характер данной классификации связан с тем, что в состав морфологических средств, объединяемых категориями субстанции, качества и внутреннего качества, входит несколько частей речи.

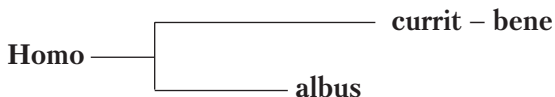
Собственно морфологическая деятельность говорящего, считал Томас, начинается с активного способа обозначения, заключающегося в выборе морфологически оформленной лексемы. Выбору этой лексемы предшествует пассивный способ обозначения, который состоит в выборе основы словоформы, которую Томас называл «дикцио». Дикцио – результат соединения мыслительного концепта с голосом. Мыслительный концепт как таковой является объектом логики, а голос – объектом фонетики, которую модисты исключали из грамматики. «Этимолог» обращается к изучению того момента в речевой деятельности говорящего, который связан с выбором части речи. Этот процесс Томас называл «эссенциальным» способом обозначения и подразумевал, очевидно, под ним выбор начальной формы слова.

На уровне «акцидентального» способа обозначения осуществляется морфологизация части речи, выбранной в предшествующий период речевой деятельности говорящего. Процесс морфологизации, по Томасу, осуществляется посредством двух способов обозначения – абсолютного и релятивного. Посредством первого из них говорящий производит выбор тех морфологических средств языка, которые связаны с обозначением реальных свойств вещей. Таковы субстантивные флексии рода, числа и падежа и глагольные флексии залога, времени и наклонения.

Посредством релятивного способа обозначения говорящий осуществляет выбор тех средств языка, которые являются результатом их согласования с абсолютными флексиями. К согласовательным Томас относил категории рода, числа и падежа у прилагательных и причастий, а также категории числа и лица у глагола. Релятивный способ обозначения у него, как видим, предполагает переход морфологической актуализации в синтаксическую. Больших успехов модисты достигли в области функционально-ономасиологического синтаксиса.

В грамматике Томаса Эрфуртского уже намечены основные стадии синтаксической актуализации – стемматическая и линейная. Томас ставил в центр синтаксической стеммы грамматический

субъект («суппозитум»), подчиняя ему грамматический предикат («апозитум»). От основных компонентов стеммы зависят их «детерминанты»: от «суппозитума» – прилагательные, от «апозитума» – падежные формы существительных и наречия. Иерархия грамматических отношений в предложении демонстрировалась Томасом на примере предложения *Белый человек бежит хорошо*:



Томас, таким образом, был сторонником субъектоцентрической теории стеммообразования. Вопрос о порядке слов в предложении решался Томасом в связи с валентными свойствами членов предложения («конструктибий»). Ученый различал два типа конструкций – интранзитивный и транзитивный. Конструкции первого типа начинаются с независимого члена предложения (*Socrates currit* «Сократ бежит»). Конструкции второго типа начинаются с зависимой «конструктибии» (*Lego librum* «Читаю книгу»). В приведённом примере транзитивной конструкции на первом месте находится апозитум. Он зависит от суппозитума *ego* «я», который в предложении не выражен, но подразумевается.

Грамматическая доктрина модистов не получила развития в эпоху Возрождения. Ещё в XIV в. мощный удар ей нанёс английский философ У. Оккам. Его «бритва» была направлена в сердцевину грамматического учения модистов – его «спекулятивный» (т.е. философский) характер. У. Оккам отводил грамматике роль частной науки, которая должна заниматься изучением языка как такового. Грамматика при таком подходе теряла свою связь с философией (но именно за счёт такой связи грамматика модистов приобрела ономаσιологическую перспективу).

Критика грамматики модистов У. Оккамом вполне соответствовала эмпирическим установкам, характерным для грамматической науки XV–XVI вв. На господствующее положение в это время выдвинулось, как и в античности, семасиологическое направление в грамматике. Его крупными представителями стали такие учёные, как Л. Мегрэ, П. Рамус, У. Буллокар и Ф. Санкциус. Слабую оппозицию работам этих учёных составляет латинская грамматика Ю.Ц. Скалигера (*Scaliger U.C. De causis linguae Latine*. – Lyons, 1540).

Используя каузальные категории Аристотеля, Скалигер попытался создать свою модель речевой деятельности говорящего. В основе этой модели лежат четыре категории – *causa materialis* «материальная причина», *causa formalis* «формальная причина», *causa efficiens* «действующая причина» и *causa finalis* «целевая причина». Эти категории разрабатывались Аристотелем как универсальные, т.е. прилагались к любому существу. Скалигер применил их к описанию речевой деятельности говорящего. Под материальной причиной этой деятельности он понимал материальную, звуковую сторону языка, которую склонен был отождествлять с языком как таковым. Тем самым учёный сужал структурно-ономасиологическую зону исследования в своей грамматике. Под формальной причиной речевой деятельности он понимал идеальную, смысловую сторону языка, которую считал объектом логики. Категория действующей причины связывалась Скалигером с говорящим, а категория целевой причины – с коммуникативной функцией языка, с рассмотрением языка в качестве средства, с помощью которого говорящий передаёт свои мысли слушающему.

Скалигер пытался осмыслить речевую деятельность говорящего в более общем виде, чем это делали модисты. В отличие от них, он оперировал понятием языка в целом. В таком подходе к описанию речевой деятельности имеется определённое достоинство, но модель Скалигера осталась не детализованной. Отсюда её схематический характер. В области синтаксиса, тем не менее, Скалигер наметил тот путь, по которому пошли в дальнейшем авторы грамматики Пор-Рояля. Он соотносил предложение с суждением. Основную функцию глагола при этом он видел в том, что эта часть речи выступает в предложении-суждении в роли связки. Анализируя предложение *Caesar est clemens* «Цезарь (есть) снисходителен», Скалигер указывал на то, что глагол *est* выступает здесь в своей собственно глагольной функции – в функции предикативной связки.

Становление ономасиологического направления в грамматике было связано в Европе с грамматикой Пор-Рояля (*Arnauld A., Lancelot C. Grammaire générale et raisonnée. – P., 1754*). А. Арно и К. Лансло стремились объяснить «рациональные начала», лежащие в основе языка. Рационализм был характерен для научного мышления многих учёных Нового времени, что объяснялось прежде всего влиянием на них философии Р. Декарта. Авторам грамматики Пор-

Рояля была близка нормативистская позиция, которую Р. Декарт занимал в гносеологии. Через всю теорию познания французского философа проходит мысль: «Для успеха в познании мало иметь хороший ум, надо ещё уметь его правильно применить». Для А. Арно и К. Лансло из этой мысли следовал вывод: «Правильное применение ума невозможно без правильного пользования языком». Они определяли грамматику как «искусство говорить» (указ. соч. С. 1). Нормативизм не был единственной установкой, которая сближала авторов грамматики Пор-Рояля с Р. Декартом. Им был близок также и дедуктивизм Р. Декарта. Их грамматическая теория имеет явную дедуктивную направленность. В основе этой теории лежит традиционное положение о том, что все люди мыслят одинаково, а следовательно, в любом языке должны быть средства, служащие для выражения хода их мыслей, их суждений. Лингвистические универсалии выводились ими из логических универсалий. Как те, так и другие составили дедуктивную основу их грамматической концепции.

Важнейшей чертой картезианской философии является антропоцентризм. В основе этой философии, как известно, лежит знаменитое *Cogito, ergo, sum*. В центре внимания Р. Декарта был мыслящий человек.

Антропоцентрической является и грамматика Пор-Рояля. В центре внимания её авторов был говорящий человек, что свидетельствует об ономасиологической направленности их грамматики. Ориентация А. Арно и К. Лансло на точку зрения говорящего сказалась на субъективации, или рационализации, ономасиологических категорий, из которых они исходили в своей грамматике. Субъективный момент в этих категориях связан со степенью зависимости их содержания от точки зрения говорящего на те или иные явления действительности, которые отражаются в данных категориях. В качестве основных в грамматике Пор-Рояля выступают, по существу, те же ономасиологические категории, что и у модистов, – категории субстанции, качества и отношения. Но А. Арно и К. Лансло внесли в них субъективный момент, т.е. перевели их из плана объективной действительности в план мышления. Тем самым они превратили данные категории в ономасиологические категории предмета мысли (субъекта), его атрибута (предиката) и связи между ними. Это позволяло французским учёным

интерпретировать категории субстанции, качества и отношения с точки зрения тех операций, которые совершает говорящий в процессе суждения (указанные операции учитывались ими не только в синтаксисе, но и в морфологии). На доминирующее положение в последнем из этих разделов грамматики у них выдвинут структурно-ономасиологический аспект, а в первом – функционально-ономасиологический.

В своей классификации частей речи авторы грамматики Пор-Рояля стремились исходить из структуры суждения. Основными членами суждения они считали субъект, атрибут и связку. Субъект суждения называет тот предмет, в отношении которого что-либо утверждается или отрицается, а атрибут указывает на то или иное качество субъекта суждения, которое приписывается ему с помощью связки. В предложении *La terre est ronde* «Земля является круглой» *la terre* – субъект, *ronde* – атрибут и *est* – связка. Исходя из структуры суждения, авторы грамматики Пор-Рояля отграничивали друг от друга существительные и местоимения (они выступают в суждении в роли субъекта), прилагательные и причастия (они выступают в суждении в роли атрибута) и глаголы.

Основную роль в суждении А. Арно и К. Лансло отводили глаголу-связке «*быть*», называя его субстантивным в отличие от остальных глаголов – адъективных, выступающих в суждении не только в роли связки, но и атрибута. Это обстоятельство позволяло А. Арно и К. Лансло устанавливать синонимические отношения между предложениями *Pierre vit* «Пьер живёт» и *Pierre est vivant* «Пьер жив». Другие части речи – кроме существительных, местоимений, прилагательных, причастий и глаголов – авторы грамматики Пор-Рояля стремились группировать вокруг частей речи, которые непосредственно соотносятся с членами суждения. Предлоги и артикли они подключали к существительным, наречия – к глаголам. Такого рода классификации частей речи не могут быть признаны собственно морфологическими: в основе их лежат категории, выводимые из функций членов предложения, а не частей речи. Синтаксоцентрический подход к классификации частей речи стирает границу между морфологией и синтаксисом.

А. Арно и К. Лансло подразделяли синтаксис на два раздела. Первый из них был посвящён объяснению согласования и управления. Интерпретация этих синтаксических связей в их граммати-

ке свидетельствует о том, что её авторы, как и модисты, исходили из субъектоцентрической теории стеммообразования. Второй раздел синтаксиса в анализируемой грамматике посвящён объяснению синтаксических «фигур», под которыми А. Арно и К. Лансло понимали аномальные явления в синтаксисе. Они относили к ним, вслед за Ф. Санкциусом, силлепсис, эллипсис, плеоназм и гипербат (инверсию) (там же. С. 208). Инверсию они усматривали в тех случаях, когда при установлении порядка слов в предложении говорящий не следует за естественным ходом мыслей, т.е. не ставит сказуемое или определение после подлежащего, а дополнение – после сказуемого. Два периода синтаксической актуализации – стемматический и линейный – были намечены у авторов грамматики Пор-Рояля в ещё недостаточно чёткой форме.

Среди последователей авторов грамматики Пор-Рояля были не только популяризаторы этой грамматики (М. Песто, А.Сильвестр де Саси или Р.Сикар (*Restaut M. Principes generaux et raisonnees de la grammaire francoise.* – Р., 1730; *Silvestre de Sacy A.J. Principes de grammaire générale.* – Р., 1799; *Sicard R.A. Éléments de grammaire générale.* – Мосcou, 1807). Среди них были и оригинальные учёные. Остановимся здесь на анализе структурно-ономасиологического аспекта морфологии в грамматике Н. Бозэ (*Beauzée N. Grammaire générale. V. I–II.* – Р., 1767) и функционально-ономасиологического аспекта синтаксиса в грамматике Ц. Дюмарсэ (*Dumarsais C.C. Logique et principes de grammaire.* – Р., 1769).

Все части речи Н. Бозэ подразделял на «аффективы» (междометия) и «дискурсивы». Первые из них выражают чувства, а вторые служат для анализа и выражения мыслей. Дискурсивы учёный членил на склоняемые и несклоняемые части речи. Под это формальное членение он подводил содержательное основание. Склоняемые части речи характеризовались им как слова, которые своими окончаниями передают значения единичности или множественности, т.е. обладают морфологической категорией числа, а несклоняемые части речи он описывал как слова, которые данной категорией не обладают.

К несклоняемым частям речи Н. Бозэ относил «супплетивы» и союзы. Супплетивы включают предлоги и наречия. Их объединяет функция смыслового «дополнения»: предлоги конкретизируют (дополняют) смысл существительных и местоимений, а наречия

уточняют (дополняют) смысл глаголов в предложении. Союзы же служат для выражения различных отношений, в которых находятся те или иные явления действительности, описываемые либо отдельными членами предложения, либо целыми предложениями.

К склоняемым частям речи Н. Бозэ относил «детерминативы», куда он включал существительные и субстантивные местоимения, и «индетерминативы», в состав которых включались глаголы и прилагательные (артикли и причастия Н. Бозэ относил к прилагательным). Разграничение детерминативов и индетерминативов проводилось им на том основании, что первые обозначают определённые явления, а вторые – неопределённые. Он писал: «Детерминативами являются слова, которые представляют в сознании определённые явления... Существительные обозначают определённые явления через идею их природы, местоимения же обозначают их через идею их отношения к лицу в акте речи. Индетерминативы являются словами, которые представляют в сознании неопределённые явления... Прилагательные обозначают неопределённые явления через определённую, но случайную для субстанций идею; эти явления обычно выражаются именами нарицательными, к которым они (прилагательные. – *В.Д.*) присоединяются; глаголы обозначают неопределённые явления через определённую идею интеллектуального существования, имеющую отношение к атрибуту (*avec relation a un attribut*)» (указ. соч. Н. Бозэ. С. 95).

Как видим, синтаксоцентрическая тенденция в данной классификации связана лишь с интерпретацией глагола, однако в основе своей она является собственно морфологической. К сожалению, содержание таких категорий, как определённость и неопределённость явления или идеи, не объяснено у Н. Бозэ с достаточной чёткостью. Остаётся неясным, почему прилагательные и глаголы обозначают неопределённые явления через определённые идеи. Очевидно, говоря об этом, учёный имел в виду случайный, преходящий характер качеств и действий по отношению к субстанциям, а под определённостью идей, которые их отражают, он подразумевал их отнесённость к определённым субстанциям в конкретных речевых ситуациях.

Термин «*синтаксис*» Ц. Дюмарсэ употреблял в узком смысле – только по отношению к тому состоянию создаваемого предложения, которое мы называем вслед за Л. Теньером «*стеммой*»



(*Tesnière L. Éléments de syntaxe structurale. – P., 1965*). Линейное состояние создаваемого предложения Ц. Дюмарсэ называл «конструкцией». Объясняя различие между стеммой («синтаксисом») предложения и линейными вариантами одной и той же синтаксической стеммы («конструкциями»), он указывал, что в предложениях *Accept litteras tuas* «Я получил твоё письмо», *Litteras accepi tuas* и *Tuas accepi litteras* мы имеем дело с тремя различными конструкциями, поскольку здесь представлены три различных расположения слов, хотя «синтаксис» в них один и тот же. «Синтаксические» отношения, таким образом, он мыслил как отношения зависимости, которая существует между членами создаваемого предложения.

Три конструкции, приведённые выше, реализуют одну и ту же стемму, которую Ц. Дюмарсэ описывал в такой последовательности: *Ассері – litteras – tuas*. Тот факт, что «синтаксис» у Ц. Дюмарсэ предшествует «конструкции», свидетельствует об ономаσιологической перспективе его функционального синтаксиса. Отношения, существующие между двумя – стемматическим и линейным – периодами синтаксической актуализации, он представил в своей грамматике в более эксплицированном виде, чем это сделано в грамматике Пор-Рояля. В качестве основного варианта синтаксической стеммы Ц. Дюмарсэ рассматривал конструкции с прямым порядком слов. Он считал, что при установлении этого порядка говорящий следует за естественным ходом вещей. Вот почему и сам этот порядок он называл «естественным». Естественно, полагал он, что следствие идёт за причиной, качество – за субстанцией, а пациент – за агенсом. Естественный порядок отражает естественный ход вещей. Он отражен в таких предложениях, как *Le soleil est lumineux* «Солнце является ярким», *Dieu a cree le monde* «Бог сотворил мир» и т.п. (указ. соч. Ц. Дюмарсэ. С. 245).

Фактор «природы» отнесён у Ц. Дюмарсэ к синтаксическому периоду фразообразования, тогда как на самом деле он действует в его лексический период – в тот период, когда говорящий отбирает лексемы для создаваемого предложения. Это привело Ц. Дюмарсэ к неверному истолкованию активных и пассивных конструкций. В противовес собственному определению синтаксических отношений в предложении он рассматривал эти конструкции как варианты одной и той же стеммы предложения. Так, различие между предложениями *August vainquit Antoine* «Август победил Антония»

и *Antoine fut vaincu par Auguste* «Антоний был побеждён Августом» он объяснял с точки зрения «естественного» фактора словорасположения: актив интерпретировался как конструкция с «естественным» словопорядком (агенса – пациенс), а пассив – как конструкция с «фигуративным» (т.е. обратным) словопорядком (пациенс – агенса) (там же. С. 245). В понятие стеммы предложения при таком подходе включается понятие синтактико-содержательной структуры. Иначе говоря, структурно-ономасиологический синтаксис сливается в этом случае с функционально-ономасиологическим синтаксисом.

Появление инвертированных конструкций в речи говорящих Ц. Дюмарсэ не связывал с передачей какого-либо смысла, что вызвало протест со стороны Ш. Бато, который в полемике с Ц. Дюмарсэ пришёл во второй половине XVIII в. к основным понятиям актуального членения предложения (*Batteux Ch. De la construction oratoire*. – Р., 1763).

Прямой словопорядок Ш. Бато называл «грамматическим», а обратный – «ораторским». Объясняя разницу между ними, он сравнивал предложения *Alexander vicit Darium* «Александр победил Дария» и *Darium vicit Alexander* «Дария победил Александр». В результате он пришёл к выводу, что указанные предложения нельзя отождествлять в смысловом отношении, как это делал Ц. Дюмарсэ. Инвертированный порядок во втором предложении, указывал Ш. Бато, не является механическим преобразованием прямого словопорядка, а связан с передачей определённого смысла – дополнительного к тому, который передаётся с помощью «грамматического» словорасположения. Он свидетельствует, что Дарий в данном случае стоял в центре «интересов» и внимания говорящего. «Порядок, который я называю ораторским, – писал Ш. Бато, – представляет собою такой порядок, который обусловлен интересом или точкой зрения того, кто говорит» (там же. С. 14).

В XIX в., как и в эпоху Возрождения, на лидирующее положение выдвинулось семасиологическое направление в грамматике, что было связано с бурным развитием в это время сравнительно-исторического языкознания. Наиболее крупным представителем ономасиологической линии в языкознании в этот период стал В. Гумбольдт. Его учение о двух формах существования языка, названных *ergon* и *energeia*, способствовало дифференциации поня-

тий «языковая система», «речевая деятельность» и «речь». Вопрос о соотношении этих понятий решался немецким учёным в ономасиологическом направлении. «Если язык, – писал он, – представлять в виде особого и объективированного самого по себе мира, который человек создаёт из впечатлений, получаемых от внешней действительности, то слова образуют в этом мире отдельные предметы, отличающиеся индивидуальным характером также и в отношении формы. Речь течёт непрерывным потоком, и говорящий, прежде чем задуматься над языком, имеет дело только с совокупностью подлежащих выражению мыслей» (Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. С. 90).

В этих словах В. Гумбольдта мы находим, по существу, сжатое описание ономасиологической модели языка, учитывающей её структурный и функциональный аспекты. Однако на ведущее положение В. Гумбольдт выдвинул в своей концепции первый из этих аспектов.

Ономасиологическая концепция В. Гумбольдта является этноцентрической. Немецкий учёный сосредоточил своё внимание на выявлении субъективного момента в ономасиологических категориях, но не в связи с речевой деятельностью говорящего, как это было у А. Арно и К. Лансло, а в связи с соотношением данных категорий с языковой системой как таковой. При этом он обращал внимание на то, что различные языки выражают одни и те же содержательные категории по-разному, имея в виду не только звуковую сторону языка, но и его «внутреннюю форму», т.е. систему особых способов, посредством которых язык выражает те или иные категории. Так, В. Гумбольдт обращал внимание на то, что категория наклонения получила в греческом языке более развитую внутреннюю форму, нежели в санскрите, где средства выражения данной категории, по его мнению, недостаточно чётко отграничены от средств выражения категории времени (там же. С. 101).

К выявлению ономасиологических категорий В. Гумбольдт шёл семасиологическим путем. Так, отправляясь от различных средств выражения категории двойственного числа и обращая внимание на семантическое варьирование этой категории в разных языках, учёный выделил три типа ономасиологических субкатегорий двойственного числа: «1) имеющие отношение к лицу, 2) свя-

занные с природно-парными явлениями, 3) содержащие общее понятие двоичности» (там же. С. 392).

Исходя из данных категорий, В. Гумбольдт разбил языки на три группы: 1) языки, в которых средства выражения двойственного числа ограничиваются местоимениями; 2) языки, в которых двойственное число выражается именами; 3) языки, в которых двойственное число «распространяется на весь язык» (там же. С. 393).

Собственно ономаσιологический подход к выявлению ономаσιологических категорий (от «чистых понятий») В. Гумбольдт считал вспомогательным по отношению к семасиологическому. Он писал: «Что же касается самой формы, то при таком (семасиологическом. – *В.Д.*) подходе реальное её употребление противопоставляется тому, которое можно вывести из её чистого понятия, а это предостерегает от того одностороннего стремления к системности, которому неизбежно подвержен исследователь, желающий определить законы реально существующих языков исходя из абстрактных понятий. Как раз за счёт того, что рекомендуемая здесь практика преследует как можно более полное освещение фактов, но неизбежно сочетает с ним и обращение к чистым понятиям, чтобы внести единство в многообразие и выбрать правильную исходную основу для наблюдения и оценки отдельных различий, она избегает опасности, которая иначе равным образом грозит сравнительному языкознанию как со стороны исключительного предпочтения исторического (семасиологического. – *В.Д.*) пути, так и философского (ономаσιологического. – *В.Д.*)» (там же. С. 382–383).

Ведущее положение семасиологического подхода при выявлении ономаσιологических категорий по отношению к собственно ономаσιологическому было связано у В. Гумбольдта с его вниманием к структурно-семантическим различиям между языками. Источник языкового своеобразия В. Гумбольдт видел в конечном счёте не в объектах описываемой действительности, а в особом отношении к ним со стороны народа, говорящего на данном языке; задача исследователя состоит в том, чтобы показать, как отразилась в структуре того или иного языка особая точка зрения на мир, присущая определенному народу. С этих позиций учёный подходил к вопросу о классификации языков.

Цель этой классификации он видел в том, чтобы показать своеобразие содержательных, а не формальных структур того или ино-

го типа языка. Его классификация языков была направлена на выполнение ономаσιологических, а не семасиологических задач. «Через описание формы, – указывал В. Гумбольдт, – мы должны установить тот специфический путь, которым идет к выражению мысли язык, а с ним и народ, говорящий на этом языке» (там же. С. 73).

Ономаσιологическую перспективу гумбольдтовской классификации языков трудно установить, поскольку в её основе нет определённых содержательных категорий. Автор этой классификации как бы остановился в самом начале своего пути к подлинно ономаσιологической типологии, опирающейся на определённые ономаσιологические категории (примером такой типологии в наше время является синтаксическая типология И.И. Мещанинова). Однако в теоретическом отношении В. Гумбольдт представил ономаσιологическую интерпретацию своей морфологической классификации языков, призванной показать, «какие внутренние духовные потребности вызывают её (классификацию. – В.Д.) к жизни, как она воплощается в звуковой форме и насколько эти потребности удовлетворяются подобным звуковым воплощением» (там же. С. 118).

Чрезвычайно абстрактный характер критериев, отграничивающих в анализируемой классификации один тип языка от другого, не позволил В. Гумбольдту положить в основу этой классификации определённые ономаσιологические категории. В основе его классификации лежит внеязыковое содержание вообще.

А. Вейль, в отличие от В. Гумбольдта, в своей работе о порядке слов (*Weil H. De l'ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes.* – Р., 1869) выдвинул на передний план функциональный аспект ономаσιологической грамматики. Опираясь на идеи Ш. Бато, он заложил основы учения об актуальном членении предложения. Цель этого учения французский учёный видел в том, чтобы показать, что принцип актуального членения является главным принципом словопорядка. Основные понятия актуального членения («отправной пункт» или «исходное понятие» и «собственно высказывание» или «цель высказывания») А. Вейль пояснял на примере различных способов актуального членения предложения *Romulus condidit Romam* «Ромул основал Рим». Если говорящий принимает Ромула за отправной пункт высказывания,

он может использовать словопорядок *Romulus Romam condidit*, где собственно высказывание составляют дополнение и сказуемое. Если же за отправной пункт высказывания говорящий принимает Рим, он может использовать словопорядок *Romam condidit Romulus*, где собственно высказывание составляют сказуемое и подлежащее.

«Мы имеем здесь дело, таким образом, – писал А. Вейль, – с отправным пунктом, исходным понятием, которое одинаково представлено и тому, кто говорит, и тому, кто слушает, и которое выступает как место встречи двух сознаний, и с другой частью высказывания, которая образует собственно высказывание» (указ. соч. А. Вейля. С. 24).

Поскольку в основе предложений, имеющих различное актуальное членение, лежит одна и та же ситуация, говорящий использует в них одни и те же члены предложения. Различные условия общения в конкретных актах речи детерминируют выбор говорящим особого способа актуального членения, который свидетельствует об особом движении его мысли и, следовательно, об особом порядке слов в предложении.

«Синтаксис (грамматическое членение предложения. – В.Д.), – писал А. Вейль, – есть образ чувственного факта. Порядок слов... есть образ движения мысли» (там же. С. 24). А. Вейль, как видим, вплотную приблизился к современным представлениям об актуальном членении предложения и его роли в акте синтаксической линейаризации. Уже этот факт свидетельствует об успехах, которых достигли грамматисты XIX в. в области ономаσιологической грамматики.

Однако больших успехов в это время достигли и представители семасиологического направления в европейской грамматике. Его ведущими представителями на рубеже XIX–XX вв. стали младограмматики. Их научный авторитет, однако, был основательно поколеблен в начале XX в. Ф. де Соссюром. Он считал, что чрезмерное увлечение диахронией привело младограмматиков к утрате подлинного объекта лингвистики – языковой системы как таковой. Но Ф. де Соссюр не затрагивал семасиологических установок младограмматической доктрины. Концепция швейцарского учёного, таким образом, не могла способствовать возрождению интереса к ономаσιологической грамматике в этот период.

Понятно, что тот, кто в этих условиях стал заниматься разработкой ономаσιологической грамматики, не мог не осознавать себя новатором. Новаторскими были грамматические теории таких выдающихся представителей ономаσιологического направления в грамматике первой половины XX в., как Ш. Балли, Ф. Брюно, О. Есперсен, В. Матезиус и Г. Гийом. Ономаσιологическая грамматика представляется «новой» и в настоящее время, поскольку её принципы разработаны в значительно меньшей степени, чем основы семасиологической грамматики.

## *Приложение*

### **ЧЕТЫРЕ РЕВОЛЮЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ**

Термин *«научная революция»* получил широкую популярность благодаря книге американского науковеда Томаса Куна (1). Её автор понимал под научной революцией смену господствующей парадигмы в истории той или иной науки. В качестве типичной революции в физике, например, приводилась смена аристотелевского геоцентризма коперниковским гелиоцентризмом.

С лёгкой руки Т. Куна понятия научной революции, научной парадигмы, «нормальной» науки и другие стали достоянием широкой научной общественности далеко за пределами науковедения, но, как ни странно, ими оперируют до сих пор главным образом историки естествознания, тогда как в культурологических науках они не получили широкого распространения. Между тем в общенаучной плодотворности теории научной революции Т. Куна сомневаться не приходится. С её помощью мы имеем возможность выделить в истории любой науки её наиболее драматические события, связанные с именами тех её ярких представителей, теории которых, с одной стороны, приходили на смену предшествующим, а с другой, становились на долгое время во главе новых научных парадигм. Подобные драматические события в истории науки Т. Кун и называл научными революциями.

Несмотря на то что в лингвистической историографии существует традиция, связанная с выделением наиболее влиятельных

фигур в истории языкознания (например, В. Гумбольдта или Ф. де Соссюра), строгого применения понятия научной революции в ней до сих пор не проводилось. Впервые я попытался это сделать в книге (2). Здесь я излагаю свою идею о четырёх революциях в истории европейской лингвистики в сжатом виде.

Как я показал ещё в своей докторской диссертации (3), вся история языкознания может быть поделена на два кардинальных методологических направления – семасиологическое и ономасиологическое. Для сторонников первого из них характерно выдвижение на первый план точки зрения получателя речи на языковые явления, а для сторонников другого – точки зрения отправителя речи. Основателями семасиологического направления в европейской лингвистике стали александрийские филологи, жившие в III–I вв. до н.э., а основателями ономасиологического направления – авторы трактатов о модусах обозначения (модисты), жившие в позднем Средневековье. Центральными фигурами среди александрийских грамматистов был Дионисий Фракийский, а среди модистов – Томас Эрфуртский.

О семасиологическом подходе к изучению языка Дионисий Фракийский заявил в своём определении грамматики. «Грамматика, – писал он в своём «Грамматическом искусстве», – есть осведомлённость (эмпирия) в большей части того, что говорится у поэтов и прозаиков» (4). В свою очередь, Томас Эрфуртский обобщил в своей «Спекулятивной грамматике» усилия всех модистов, направленные на ономасиологическую интерпретацию семасиологических грамматик Доната и Присциана, унаследовавших методологические установки александрийцев.

Противостояние семасиологической грамматики и ономасиологической стало осознаваться уже в эпоху Возрождения. Так, Юлиус Цезарь Скалигер в своей грамматике латинского языка (1540) писал: «Grammatici non est interpretari autores (Грамматики не являются интерпретациями авторов)» (5). Мы слышим здесь голос воинственного ономасиологиста, запустившего критическую стрелу в традиционную семасиологическую грамматику. Период «нормальной науки», вместе с тем, продолжался в истории европейского языкознания вплоть до выхода в свет грамматики Пор-Рояля в 1660 г. С этого момента мы можем начинать отсчёт научных революций в европейской лингвистике.



В истории европейского языкознания, по моему мнению, произошло четыре научные революции: две – в рамках ономаσιологического направления и две – в рамках семасиологического направления.

**Первую революцию в рамках ономаσιологического направления** в европейском языкознании, идущего от модистских грамматик позднего Средневековья (Петра Гелийского, Роберта Килвордби, Томаса Эрфуртского и др.), совершили в XVII в. авторы грамматики Пор-Рояля – Антуан Арно и Клод Лансло. Приблизительно на три пятидесятилетия они утвердили в европейской грамматике синхронизм и универсализм (предполагающий, что все языки отличаются друг от друга только своей звуковой стороной). Основоположники индоевропейской компаративистики, таким образом, направляли критическое острие своего диахронизма как в адрес семасиологических (Ш. Мопа, Ю. Шоттеля, Й. Готшеда и др.), так и в адрес ономаσιологических грамматик Нового времени (Н. Бозэ, Ц. Дюмарсэ, Э. Кондильяка, Дж. Хэрриса, Й. Майнера, Й. Аделунга и др.)

**Вторую революцию в рамках ономаσιологического направления** в европейском языкознании совершил в первой трети XIX в. Вильгельм фон Гумбольдт. В его концепции, как и в грамматике Пор-Рояля, господствует ономаσιологизм, однако суть его революции в истории лингвистической науки состоит в открытии и глубоком обосновании языкового идиоэтнизма. Не отрицая универсального компонента в содержательной стороне языка, он, в отличие от авторов грамматики Пор-Рояля, а также и всех других языковедов, включая компаративистов, сумел увидеть в каждом языке носителя особого мировидения. Тем самым он предвосхитил концепцию языковой картины мира у неогумбольдтианцев в XX в.

**Первую революцию в рамках семасиологического направления** в европейском языкознании, идущего от александрийцев и их римских последователей (Дионисия Фракийского, Аполлония Дискола, Элия Доната, Присциана и др.) совершили в начале XIX в. основоположники индоевропейской компаративистики – Франц Бопп, Якоб Гримм и Расмус Раск. В результате этой революции на смену традиционной семасиологической грамматике, направленной в эпоху Возрождения и Новое время на описание современных языков (у Рамуса, Санкциуса, Ш. Мопа, Б. Джонсона,

У. Уолкера, Ю. Шоттеля, Й. Готшеда и мн. др.), пришло сравнительно-историческое языкознание. Его диахронический компаративизм был унаследован в XIX в., с одной стороны, А. Шляйхером, а с другой, младограмматиками (К. Бругманом, Б. Дельбрюком, Г. Остхофом и др.).

**Вторую революцию в рамках семасиологического направления** в европейском языкознании совершил в начале XX в. Фердинанд де Соссюр. Младограмматический диахронизм он заменил на системно-языковой синхронизм. С помощью последнего он стремился выяснить истинный и единственный объект лингвистики, в качестве которого он провозгласил в конечном счёте язык в себе и для себя, резко отграничив его от речи. Структурный семасиологизм и синхронизм Ф. де Соссюра был унаследован в первой половине XX в. представителями структурализма – Л. Ельмслевым, Н.С. Трубецким, Л. Блумфильдом и др.

В XIX в., таким образом, в европейской лингвистике на положение господствующих выдвинулись две научных парадигмы – бопповская и гумбольдтианская. В XX в. место первой из них заняла соссюрианская парадигма. Соссюрианская и гумбольдтианская парадигмы господствуют в европейской лингвистике до сих пор. Ф. де Соссюр и В. Гумбольдт и до сих пор остаются здесь самыми яркими звёздами на лингвистическом небосклоне. Теория первого доминирует в рамках семасиологического направления в европейской лингвистике, а теория другого – в рамках ономасиологического направления. Так, из-под «шинели В. Гумбольдта» в XX в. вышла целая плеяда блестящих лингвистических умов, создавших ономасиологические концепции языка, – О. Есперсен, Ш. Балли, Ф. Брюно, В. Матезиус, Л. Вайсгербер и мн. др.

В истории языкознания были попытки альтернативистского подхода к решению вопроса о соотношении семасиологизма и ономасиологизма. Так, Р. Раск и Л. Ельмслев отрицали ономасиологический подход к изучению языка, а Ю.Ц. Скалигер и Ш. Балли – семасиологический. Но в конечном счёте победил взгляд, в соответствии с которым семасиологический и ономасиологический подходы к изучению языка признаются за равноправные. Иначе и быть не может, поскольку первый исходит по преимуществу из деятельности слушающего, а другой – из деятельности говорящего. А кто может сомневаться в равноправии слушающего и говорящего?

Вот почему нельзя сталкивать лбами Ф. де Соссюра и В. Гумбольдта на том основании, что в теории первого доминирует семасиологизм, а в теории другого – ономасиологизм.

Соссюровский семасиологизм и гумбольдтовский ономасиологизм отнюдь не конкурируют друг с другом. Они взаимодополняют друг друга. Взаимодополняют друг друга и научные парадигмы, победившие в европейской лингвистике, – соссюрианская и гумбольдтианская. Благодаря революциям, совершённым в языкознании их основателями, современная лингвистика приобрела, по крайней мере, два достижения – методологическое и дисциплинарное.

**Методологическое достижение европейской лингвистики** состоит в строгом разграничении семасиологического и ономасиологического подходов к изучению языка. В предельно ясной форме это разграничение было сформулировано О. Есперсеном, В. Матезиусом и Л. Вайсгербером. Первый назвал семасиологический подход к изучению языка *«морфологическим»*, а ономасиологический – *«синтаксическим»*, второй – *«формальным»* и *«функциональным»*, третий – *«ориентированным на форму»* и *«ориентированным на содержание»*.

**Дисциплинарное достижение европейской лингвистики** состоит в строгом отграничении внутренней лингвистики от внешней, а также в стремлении её представителей к упорядочиванию их внутренних дисциплинарных структур. Так, Ф. де Соссюр стремился не только к предельному отграничению внутренней лингвистики от внешней, но и к установлению чёткой дисциплинарной структуры у грамматики. В последнюю он включал не только морфологию и синтаксис, но и лексикологию. Подобным образом поступают в дальнейшем В. Матезиус и Л. Вайсгербер. В орбиту европейской грамматики в конечном счёте попадают четыре дисциплины – словообразование, лексикология, морфология и синтаксис.

Оба достижения европейской лингвистики – методологическое и дисциплинарное – являются результатом «мирного сосуществования» в ней соссюрианской и гумбольдтианской парадигм. Из Европы они перекочевали в Америку. Знаковыми здесь являются фигуры Л. Блумфильда – как наиболее яркого представителя соссюрианства – и Э. Сепира – как наиболее яркого представителя гумбольдтианства. Однако во второй половине XX в. в американ-

скую лингвистику ворвалась, с одной стороны, когнитологическая стихия, а с другой, в ней укрепилась известная моррисовская триада – синтактика, семантика и прагматика.

Вполне возможно, что будущий историк лингвистической науки найдёт основание для выделения в западной лингвистике пятой, американской, революции – моррисовско-когнитивистской. При этом он может обнаружить явное отличие моррисовско-когнитивистской парадигмы в языкознании от соссюрианской и гумбольдтианской. Это отличие состоит, с одной стороны, в смещении семасиологического подхода к изучению языка с ономасиологическим, а с другой стороны, в смещении словообразования, лексикологии, морфологии и подобных дисциплин с синтактикой, семантикой и прагматикой. Главная особенность моррисовско-когнитивистской парадигмы в языкознании, таким образом, состоит в том, что она страдает двумя пороками: в ней царит методологический и дисциплинарный хаос (6). Эта парадигма утратила главные достижения европейской лингвистики – методологическое и дисциплинарное. Вот почему будущий историограф может вынести представителям моррисовско-когнитивистской парадигмы в языкознании суровый приговор, расценив их вовсе не как революционеров, а как контрреволюционеров.

Итак, говорить о пятой революции в лингвистике преждевременно, поскольку, как сказал поэт, «большое видится на расстоянии». На сегодняшний день мы с уверенностью можем заявить лишь о четырёх революциях в европейской лингвистике. Две первые произошли в пределах ономасиологического направления. Их совершили А. Арно и К. Лансло в XVII в., с одной стороны, и В. Гумбольдт в XIX в., с другой. Последний дополнил языковой универсализм первых языковым идиоэтноизмом (7). Две другие революции произошли в рамках семасиологического направления. Их совершили Ф. Бопп, Я. Grimm и Р. Раск в начале XIX в. и Ф. де Соссюр в начале XX в. Последний заменил на системно-языковой синхронизм компаративистский диахронизм первых. В. Гумбольдту и Ф. де Соссюру мы обязаны сосуществованием в современной европейской лингвистике двух господствующих парадигм – гумбольдтианско-ономасиологической и соссюрианско-семасиологической.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Кун Т.С.* Структура научных революций. – М., 1975.
2. *Даниленко В.П.* В. Гумбольдт. Неогумбольдтианство. В. Матезиус. – Иркутск, 2004.
3. *Даниленко В.П.* Ономаσιологическое направление в грамматике. – Иркутск, 1990.
4. *Фрейденберг О.М.* Античные теории языка и стиля. – М., 1936. С. 105.
5. Scaligeri de causis linguae latinae. – Lyons, 1540. P. 3.
6. *Даниленко В.П.* Два порока моррисовской триады // Язык и познание: методологические проблемы и перспективы / под ред. А.В. Кравченко. – М., 2006. С. 203–221.
7. *Даниленко В.П.* Универсализм и идиоэтнолизм в концепции В. Гумбольдта // Вестник ИГЛУ. Язык. Сознание. Этнос. Культура. Сер. «Психолингвистика». Вып. 5. – Иркутск, 2002. С. 13–18.

*Проблемы систематики языка и речевой деятельности / под ред.  
Г.М. Костюшкиной. – Иркутск, 2005. С. 57–63.*

---

## 5. СТРУКТУРНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДЫ В ЛИНГВИСТИКЕ

---

Анализ концепций, принадлежащих к ономасиологическому направлению в грамматике XX в., показывает, что в его рамках можно выделить три тенденции: структурную, функциональную и структурно-функциональную. Представители первой тенденции – Ф. Брюно и Л. Вайсгербер. Их грамматики являются структурно-ономасиологическими. Представитель второй тенденции – Г. Гийом. Его грамматика является функционально-ономасиологической.

Представителями третьей тенденции были О. Есперсен, Ш. Балли и В. Матезиус. Их грамматики следует признать не только структурно-ономасиологическими, но и функционально-ономасиологическими (сюда же относится и ономасиологический синтаксис Л. Теньера). Ф. Брюно, О. Есперсен, В. Матезиус и Ш. Балли могут быть названы основателями современной ономасиологической грамматики. Каждый из этих исследователей, однако, шёл к этой грамматике своим путём.

Ещё в 1909 г. Ш. Балли писал: «Итак, единственно рациональный метод состоит в том, чтобы брать за исходную точку логические категории и отношения, которые живут в сознании всех носителей данного языка, с целью определить средства, которые язык предоставляет в распоряжение говорящих для выражения каждого из этих понятий, категорий и отношений» (*Балли Ш. Французская стилистика. – М., 1961. С. 296*).

Объясняя специфику подхода, используемого в его книге «Мысль и язык», Ф. Брюно писал «Эта книга не является “психологией” ... Она не является также и “грамматикой”... Я хотел бы только представить в ней методическое изложение фактов мысли, рассматриваемых и классифицируемых в отношении к языку и средствам выражения, которые им соответствуют» (*Brunot F. La pensée et la langue. – P., 1922. P. VII*).

Ф. Брюно, как видим, был очень осторожен в утверждении ономасиологического подхода в грамматике. Этим объясняется его отказ от термина «грамматика». Как ни странно, но именно этим вызваны и такие его слова: «Пусть читатели не удивляются, что я

иду от мысли к формам её выражения в языке. Возврат к идеологической (ономасиологической. – В.Д.) грамматике XVIII в. меня совсем не пугает» (там же. Р. XIX).

Различие между семасиологическим подходом к изучению языка и ономасиологическим О. Есперсен объяснял следующим образом: «Любое языковое явление можно рассматривать либо извне, либо изнутри, исходя из его внешней формы или из его внутреннего значения. В первом случае мы начинаем со звучания слова или какой-либо иной части языкового выражения, а затем переходим к значению, связанному с ним. Во втором случае мы отправляемся от значения и задаём себе вопрос, какое формальное выражение это значение находит в данном конкретном языке» (Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958. С. 32–33).

В историко-научном плане описывал разницу между семасиологическим и ономасиологическим подходами в грамматике В. Матезиус: «Традиционный метод лингвистического исследования может быть назван формальным в том смысле, что форма как вещь известная постоянно бралась за отправной пункт исследования, тогда как значение, или функция, формы рассматривалось как то, что должно быть обнаружено. Это явилось естественным следствием из факта, что филология долгое время основывалась, главным образом, на интерпретации старых текстов и, следовательно, делала точку зрения читающего своей собственной. Перенесённый в реальную жизнь формальный метод совпадал с методом слушающего... В противоположность традиционной интерпретации форм, современная лингвистика принимает значение, или функцию, за свой отправной пункт и пытается обнаружить, какими средствами оно выражено. Это и есть точка зрения говорящего или пишущего, который должен находить языковые формы для того, что он хочет выразить» (*Mathesius V. Nove proudy a smeřy v jazykovednem badani // Z klasickeho obdobi Pražske školy 1925–1945. – Praha, 1972. S. 12*).

Не отрицая необходимости семасиологической грамматики, Ф. Брюно, однако, считал, что настало время для нового типа грамматики. Цель новой – «идеологической» – грамматики он видел в том, чтобы систематизировать выразительные средства языка на ономасиологической основе, т.е. отправляясь от определённых ономасиологических категорий. Каждая категория при этом долж-

на выступать в качестве основы для объединения разноуровневых средств языка – словообразовательных, лексических, морфологических и синтаксических.

Новизна структурно-ономасиологической грамматики Ф. Брюно именно в том и состояла, что в состав содержательных структур языка её автор стал включать единицы различных языковых уровней, тогда как представители традиционной ономасиологической грамматики ограничивали состав той или иной содержательной структуры языка единицами определённого уровня. Вот почему эта грамматика имела ту же дисциплинарную структуру, что и семасиологическая грамматика. Дисциплинарная структура представлена в большей части и современных ономасиологических исследований. Традиционная ономасиологическая грамматика может быть названа грамматикой стратификационного типа, или грамматикой с эксплицитной дисциплинарной структурой. Ф. Брюно положил начало ономасиологической грамматике межуровневого типа, или грамматике с имплицитной дисциплинарной структурой.

Граматики этого типа имеют в настоящее время широкое применение в практике преподавания иностранных языков. Так, в «Практической грамматике русского языка для зарубежных преподавателей-русистов» под ред. Н.А. Метс (М., 1985) представлено описание разноуровневых средств языка, служащих для выражения таких категорий, как время, условие, цель и т.д.

В теоретическом плане над ономасиологической грамматикой межуровневого типа у нас работал А.В. Бондарко со своими сотрудниками. Он исходит из положения о том, что для выражения одной и той же ономасиологической («семантической») категории в реальном речевом акте говорящий может использовать единицы, принадлежащие к разным уровням языка. «В конкретном акте речи, – писал А.В. Бондарко, – морфологические, синтаксические, словообразовательные, лексические элементы переплетаются и взаимодействуют, включаясь в выражение смысла высказывания» (Бондарко А.В. Основы построения функциональной грамматики // ИАН СЛЯ. – 1981. – № 6. – С. 493). Принцип дисциплинарности при таком подходе не игнорируется полностью.

Межуровневая ономасиологическая грамматика имеет имплицитную дисциплинарную структуру потому, что, во-первых, языковые средства, служащие для выражения определённой ка-



тегории в ней, маркируются с точки зрения их принадлежности к тому или иному уровню языка, а во-вторых, эти средства упорядочиваются в соответствии с определённым принципом. У А.В. Бондарко это принцип центра и периферии функционально-семантического поля. Одно поле объединяет разноуровневые средства языка, однако в центре этого поля – в зависимости от типа ономаσιологической категории, лежащей в его основе, – могут находиться языковые средства определённого уровня – морфологического, синтаксического и т.д. В одной из своих статей А.В. Бондарко охарактеризовал грамматики с эксплицитной дисциплинарной структурой как «системно-дифференцирующие», а грамматики с имплицитной дисциплинарной структурой – как «системно-интегрирующие» (Бондарко А.В. К системным основаниям концепции «Русской грамматики» // ВЯ. – 1987. – № 4. – С. 3–4).

Ф. Брюно считал, что в философских грамматиках нового времени «идеологический» принцип не был проведён до конца. Эту задачу он поставил перед собой при написании книги «Мысль и язык». В основу его структурно-ономаσιологической грамматики межуровневого типа положено пять содержательных зон: *предметы, события, обстоятельства, характеристики и отношения*. Внутреннее членение этих зон Ф. Брюно производил, как правило, на семасиологической основе, однако изложение материала проводилось им не по разделам грамматики, а по указанным зонам. В результате этого грамматика Ф. Брюно воспринимается как «чисто» ономаσιологическая.

Изложение грамматики на основе содержательных категорий не означает, что автор такой грамматики выделяет данные категории безотносительно к языку. Легко увидеть, что различные виды «отношений» выводились Ф. Брюно из синтаксиса: «предметы» – из существительных, «события» – из глаголов, «обстоятельства» – из наречий, «характеристики» – из прилагательных.

«Мы вновь находим, таким образом, – писал Л. Кледа, – те самые “части речи”, которые автор “Мысли и языка” так энергично критиковал во введении» (цит. по: *Arrive M. De F. Brunot a K. Togeby: regards sur quelques grammaires // Langages. – 1967. – № 7. – P. 38*).

Л. Кледа не принял новый – межуровневый – тип ономаσιологической грамматики. Его смущало отсутствие в грамматике

Ф. Брюно чёткой дисциплинарной структуры. С этих же позиций критиковал Ф. Брюно и В. Матезиус. Нечто подобное мы наблюдаем и в подходе В.Г. Гака к грамматической теории А.В. Бондарко. «В этом случае (в случае отказа от принципа дисциплинарности в ономасиологической грамматике. – *В.Д.*), – пишет В.Г. Гак, – грамматика перестаёт быть грамматикой в собственном смысле термина и превращается в функционально-ономасиологическое описание языка» (*Гак В.Г. К типологии функциональных подходов к изучению языка // Проблемы функциональной грамматики / под ред. В.Н. Ярцевой. – М., 1985. С. 15*).

Ономасиологическая грамматика с эксплицитной дисциплинарной структурой, на наш взгляд, не является единственным вариантом этой грамматики. Другим её вариантом является грамматика с имплицитной дисциплинарной структурой.

Если грамматика Ф. Брюно представляет собою структурно-ономасиологическую грамматику межуровневого типа, то грамматика Л. Вайсгербера является структурно-ономасиологической грамматикой стратификационного типа. Её автор выделял три направления в истории грамматики – ориентированное на звуки (*lautbezogen*), ориентированное на (языковое) содержание (*inhaltbezogen*), ориентированное на вещи (*sachbezogen*).

Два последних направления он резко отграничивал друг от друга, хотя и расценивал их как ономасиологические и противопоставлял на этом основании первому, которое связывал с традиционной семасиологической грамматикой. Направление, ориентированное на содержание, Л. Вайсгербер возводил к учению В. Гумбольдта, а направление, ориентированное на вещи, обычно анализировал на примере лексической ономасиологии Г. Шухардта и идеографического словаря Ф. Дорнзайфа, хотя истоки этого направления он усматривал ещё у Аристотеля. Разницу между данными направлениями Л. Вайсгербер видел в том, что направление, ориентированное на вещи, подходит к языковым структурам со стороны объективного мира, а направление, ориентированное на содержание, исследует эти структуры, исходя из языкового содержания как такового.

Свою заслугу учёный видел в последовательном развитии гумбольдтовской концепции языка. В грамматике, ориентированной на звуки, Л. Вайсгербер усматривал предварительное условие для

построения грамматики, ориентированной на содержание. Вот почему он включил её в свою четырехступенчатую систему грамматики (*Weisgerber L. Die vier Stufen in der Erforschung der Sprachene.* – Düsseldorf, 1963).

Кроме «*inhaltbezogene Grammatik*», сюда вошли также когнитивная (*leistungbezogene*) и прагматическая (*wirkungbezogene*) грамматики, необходимость разработки которых он выводил из гумбольдтовского учения о языке как *energeja*, тогда как грамматику, ориентированную на содержание, связывал с учением В. Гумбольдта о языке как *ergon*.

Подход, ориентированный на вещи, расценивался Л. Вайсгербером в качестве вспомогательного по отношению к другим подходам, однако возможности этого подхода он считал ограниченными. «Словарь, ориентированный на содержание, – писал он, – должен размещать слова так, чтобы они соотносились друг с другом по содержанию, описываемые формы при этом принимают порядок, который может быть осознан как содержательный. Определённую помощь в этом может оказать подход, ориентированный на вещи, с помощью которого мы легко сведём друг с другом “*один*” и “*два*” или “*отец*” и “*мать*”, однако границы его применения обнаруживаются очень скоро...» (*Weisgerber L. Zweimal Sprache.* – Düsseldorf, 1973. S. 159).

Эти границы, по мнению Л. Вайсгербера, связаны с тем, что с помощью данного подхода можно наметить лишь предварительную языковую картину мира, но её национальное своеобразие в данном языке обнаруживается только на семасиологической основе, т.е. исходя из языка как такового.

В определении национального своеобразия содержательных структур языка Л. Вайсгербер видел высшую цель своей грамматики. Эта цель не может быть достигнута, поскольку содержательные структуры языка в любом случае соотносятся со структурой объективной действительности, но стремление к ней не могло не отразиться на своеобразии его грамматики, ориентированной на содержание. Эта грамматика является структурно-ономасиологической в своей основе. Сосредоточенность на языковой системе как таковой привела Л. Вайсгербера к абсолютизации структурного аспекта ономасиологической грамматики. Грамматика, ориентированная на

содержание, не имеет функциональной перспективы (*Weisgerber L. Grundzüge der inhaltbezogenen Grammatik. – Düsseldorf, 1962*).

Л. Вайсгербер довёл до логического предела этноцентрическую ориентацию ономаσιологической модели языка. Подобно В. Гумбольдту, он сосредоточил своё внимание на выявлении субъективного («мировоззренческого») компонента в содержательных категориях, но обнаруживал он этот компонент в абстракции от речевой деятельности говорящего, направленной на создание предложения. Это привело Л. Вайсгербера к «полевой» теории содержательных структур.

Принцип поля при этом распространялся на все языковые уровни в равной мере. В качестве эталона в грамматике Л. Вайсгербера выступает идеография. Следует в связи с этим отметить, что организация лексического материала по семантическим полям связана с речевой деятельностью говорящего в меньшей мере, чем организация словообразовательного, морфологического и синтаксического материала, поскольку лексические единицы соотносятся с объектами внешнего мира более непосредственно, чем единицы других уровней языка. Это значит, что роль принципа поля в словообразовании, морфологии и синтаксисе должна быть в большей мере ограниченной, чем в лексикологии. Ещё Я. Розвадовский показал, что словообразовательная и синтаксическая деятельность говорящего начинается с категорий предмета мысли и его признака (*Rozwadowski J. Wortbildung und Wortbedeutung. – Heidelberg, 1904*).

Отсюда следует, что систематизация словообразовательных и синтаксических структур в ономаσιологической грамматике должна производиться сначала на основе данных категорий и только затем на «полевой» основе. Подобным образом, очевидно, следует подходить и к классификации содержательных структур в морфологии, поскольку отбор морфологических форм в процессе создания предложения зависит от порядка установления в нём грамматических отношений. Деятельностный критерий иерархизации ономаσιологических категорий, а вслед за ними и содержательных структур в словообразовании, морфологии и синтаксисе опережает «полевой» критерий.

Преувеличение роли принципа поля привело Л. Вайсгербера к теоретическим рассуждениям о равном значении этого принци-

па для всех типов содержательных структур. Однако практическая часть его грамматики сводится к демонстрации национального своеобразия языковых структур немецкого языка в первую очередь в области лексикологии (главным образом на материале цветообозначений), а также в словообразовании (на материале поля орнативности), в морфологии (главным образом на материале глагольных и падежных форм) и в синтаксисе, где он сопоставлял формальные и содержательные типы предложений. Подобные примеры должны были подтвердить своеобразие системы немецкого языка в целом. Главный источник этого своеобразия Л. Вайсгербер видел не во внешнем мире, а в отношении к нему говорящих. Своеобразие языка, с его точки зрения, отражается в языковом сознании говорящих. В результате этого язык выступает в познавательной и практической деятельности человека как «действующая сила».

Воздействие языка на познавательную деятельность изучается когнитивной грамматикой. Воздействие языка на практическую деятельность изучается прагматической грамматикой. На этом замыкается четырёхступенчатая система грамматического описания языка в целом. Таким образом, функционально-ономасиологическая грамматика выпадает из системы Л. Вайсгербера.

В грамматической теории Г. Гийома, напротив, функциональный аспект ономасиологической грамматики заслоняет собою её структурный аспект. Свою главную задачу Г. Гийом видел в том, чтобы описать механизм перехода языка в речь («дискурс»).

Если идеал Ф. де Соссюра состоял в том, чтобы рассматривать языковую систему вне перехода в речь, то идеал Г. Гийома состоял в том, чтобы все языковые явления объяснить сквозь призму этого перехода. Г. Гийома не устраивала расплывчатость соссюрковского понятия «речь», поэтому он заменил его более конкретным понятием «дискурса» (фразы). Переход языка (*langue*) в дискурс (*discours*) он назвал актом речевой деятельности (*acte de langage*). Этот акт и лежит в основе его функционально-ономасиологической грамматики (*Guillaume G. Structure semiologique et structure psychique de la langue française. – P., 1971; Guillaume G. Psycho-systematique du langage. – P., 1971; Guillaume G. Grammaire particuliere du français et grammaire générale. – P., 1973*).

Механизм перехода языка в дискурс Г. Гийом описывал следующим образом: «Чтобы совершить акт речевой деятельности, я

обращаюсь к языку, который существует в моём сознании как нечто устойчивое... Акт речевой деятельности имеет завершение в дискурсе – мимолетной конструкции моего духа, реализуемой посредством речи и вызванной мимолетной потребностью выражения» (*Guillaume G. Grammaire particuliere du français et grammaire générale.* – P., 1973. P.12).

Несмотря на то что в этом отрывке из лекций Г. Гийома упоминаются «потребности выражения», модель акта речевой деятельности, лежащая в основе «психомеханики», не учитывает перехода внеязыкового содержания в языковую форму. Структурный аспект его ономасиологической грамматики растворён в её функциональном аспекте. «Акт речевой деятельности – постоянно подчёркивал Г. Гийом, – есть переход языка в дискурс» (там же). Схема данного акта обычно изображалась им таким образом:



Грамматическая теория Г. Гийома принадлежит к числу наиболее оригинальных теорий в лингвистике. Она нашла много последователей (*Wilmet M. Gustave Guillaume et son ecole linguistique.* – P., 1972). Г. Гийому удалось представить переход языка в дискурс в виде пространственно-временного механизма, результатом действия которого является фраза. Его грамматическая модель вместе с тем имеет ограниченную ономасиологическую перспективу: интерпретация языковых структур остаётся в ней во власти семасиологической грамматики. Это проявилось в том, что представление о языковой системе у Г. Гийома сводилось к системе частей речи, расположенных на оси «язык → дискурс».

Исходя из обычного порядка слов в предложении, Г. Гийом расположил в начале языковой области имена существительные. Они приводят в действие лингводискурсивный механизм. Затем располагаются другие части речи – в порядке их иерархической зависимости. Посредине языковой области находятся прилагательные и глаголы, в её конце – наречия. Ближе к дискурсивной области располагается предлог, который вместе с другими служебными словами завершает построение фразы. Граница между языковой и

дискурсивной областями в разных языках не одинакова: в одних она ближе к языку (интрафлексивные языки), в других – ближе к дискурсу (инкорпорирующие языки). Немецкий язык ближе к инкорпорирующим языкам, чем французский. Этим объясняется обилие сложных слов в немецком языке.

Несмотря на то что Г. Гийому удалось по-новому объяснить многие языковые явления, его теория не лишена противоречий. Основной источник этих противоречий заключён в несогласованности ономаσιологических задач, стоящих перед данной теорией, с семасиологическими средствами их достижения: языковые структуры, которыми располагает говорящий в процессе создания дискурса, интерпретировались Г. Гийомом в основном с семасиологической точки зрения.

В области функционально-ономаσιологической грамматики французский учёный повторил ошибку Л. Вайсгербера, состоящую в переоценке значения семасиологической грамматики для ономаσιологической. Стремление к упразднению принципиального различия между содержательными и формальными структурами языка не имеет объективных оснований: сведение первых к последним семасиологизирует ономаσιологическую грамматику. В грамматической теории О. Есперсена, напротив, получили ономаσιологическую интерпретацию не только функциональный, но и структурный аспекты ономаσιологической грамматики.

Структурно-ономаσιологический аспект грамматики представлен у О. Есперсена теорией понятийных категорий. Эта теория развивалась в дальнейшем И.И. Мещаниновым. Л. Вайсгербер расценивал понятийные категории как внеязыковые. Тем самым он хотел принизить их значение для грамматических исследований. Ни у О. Есперсена, ни у И.И. Мещанинова между тем нет ни одной понятийной категории, которые были бы выведены безотносительно к языковым средствам их выражения. В противном случае данные категории не могли бы выступать в теориях О. Есперсена и И.И. Мещанинова как ономаσιологические. Эти категории фигурируют в двух формах – объективной (предметной) и субъективной (мыслительной). Последняя из этих форм ономаσιологических категорий в процессе речевой деятельности говорящего переходит в языковое содержание (значение).

Между внеязыковым и языковым содержанием нет резкой границы, поскольку в каждом из них есть противоположные элементы. Так, в мыслительном содержании имеется семантический (содержательно-языковой) момент, поскольку к описанию внеязыковой действительности говорящий подходит с особой точки зрения, которая в какой-то мере, как показал Л. Вайсгербер, задается определённым языком. Данный момент составляет субъективное начало в ономаσιологической категории. Однако в процессе создания предложения мыслительные категории свободны от языковых форм, поэтому они и являются внеязыковыми.

Утверждение О. Есперсена об универсальном характере понятийных категорий не отменяет связи этих категорий с языком: в любом языке имеются те или иные средства для выражения количества, времени и т.д. Связь понятийных категорий с различными средствами их языкового выражения указывает на их своеобразие по отношению к разным языкам. Так, состав понятийных категорий, связанных с морфологическими средствами современного английского языка, в той или иной мере отличается от состава понятийных категорий, связанных с морфологическими средствами их выражения в других языках (*Jespersen O. Essentials of English grammar.* – L., 1933. P. 58).

Функциональный аспект ономаσιологической грамматики представлен у О. Есперсена теорией трёх рангов. В основе данной теории лежит акт фразообразования, взятый главным образом на его начальной, стемматической, стадии. Базовую стемму предложения в синтаксисе О. Есперсена составляют элементы трёх рангов. Первый из них представляет собою обобщение подлежащего и дополнения, второй – обобщение сказуемого и определения, третий – соответствует обстоятельствам. Каждый из данных элементов выступает как основа для объединения не только номинативных, но и синтаксических средств языка. Так, в роли подлежащего первичного элемента могут выступать не только существительные в именительном падеже или его функциональные эквиваленты, но также и различные синтаксические конструкции (например, *What you say is quite true* «То, что ты говоришь, совершенно верно»).

К сожалению, в основе теории рангов лежит не в меру абстрактное представление о реальном акте фразообразования. Это придаёт ей искусственный характер. Так, не получил у О. Еспер-



сена удовлетворительной разработки вопрос о линейаризации предложения. Фактор актуального членения в процессе актуализации стеммы предложения у него, по существу, не учитывается. Проблема словорасположения решается в синтаксисе О. Есперсена только на уровне грамматического фактора. Но главный недостаток ономасиологической грамматики датского ученого в целом состоит в несогласованности её структурного и функционального аспектов: теория понятийных категорий и теория рангов не составляют единой системы, отражающей механизм речемыслительной деятельности говорящего. Не может быть признана удовлетворительной с данной точки зрения и ономасиологическая грамматика Ш. Балли (*Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка.* – М., 1955. С. 40).

Структурный аспект ономасиологической грамматики представлен у Ш. Балли теорией идентификации. Сущность этой теории связана с систематизацией номинативных средств языка на основе иерархизации ономасиологических категорий, которые лежат в основе этих средств. Замысел Ш. Балли состоял в том, чтобы расположить указанные средства в соответствии с предварительно установленным «*понятийным языком*». Он включал в него основные идеи, выражаемые в данном языке стилистически нейтральными словами. «*Понятийный язык*», идеографически организованный, должен составить ономасиологическую основу для систематизации номинативных средств языка в целом.

Функциональный аспект ономасиологической грамматики у Ш. Балли представлен теорией актуализации. С точки зрения данной теории язык представляет собою систему виртуальных знаков, актуализация которых в речи происходит с помощью определенных средств, названных ученым «*актуализаторами*». В качестве основных актуализаторов во французском языке выступают окончания и служебные слова. Благодаря им языковые единицы становятся речевыми. С помощью определённых актуализаторов одна часть речи может употребляться в значении другой. Это явление Ш. Балли назвал транспозицией. У него мы находим начало той теории, которую Л. Теньер определял как теорию трансляции.

В качестве базовой стеммы у Ш. Балли выступает предложение типа *Я думаю, что идёт дождь*. Первая часть этого предложения выражает отношение говорящего к описываемой ситуации,

вторая – обозначает эту ситуацию. Первая составляет *модус*, вторая – *диктум*. Основными компонентами базовой стеммы являются четыре ономаσιологические категории: модальный субъект (*Я*), модальный предикат (*думаю*), диктальный субъект (*дождь*) и диктальный предикат (*идёт*). Наряду с прямыми (словесными) средствами в любом языке имеются и косвенные средства выражения данных категорий. Так, предложение *Я хочу, чтобы вы вышли* выражает отдельными словами каждую из указанных категорий, а предложение *Выйдите!* эксплицирует отдельным словом только диктальный предикат. Другие категории выражаются окончанием, интонацией и т.д.

В число косвенных средств выражения модальности (т.е. отношения говорящего к ситуации) Ш. Балли включал порядок слов в предложении. При этом он пользовался понятиями актуального членения, которые он называл соответственно «темой» и «поводом» (там же. С. 72).

Как отмечал Ж. Мунен (*Mounin G. La notion de predicat chez Charles Bally // La linguistique. – 1984. – V. 20. – № 2. – P. 10*) в интерпретации темы и повода Ш. Балли не удалось избежать непоследовательности. С одной стороны, эти понятия выступают у него как эквиваленты основных категорий актуального членения, а с другой, он отождествляет их с модусом и диктумом. Данная непоследовательность связана с отсутствием чёткого разграничения двух периодов в акте синтаксической актуализации – периодов стеммообразования и линейаризации. В первом случае мы имеем дело с таким состоянием создаваемого предложения, которое предполагает полную грамматикализацию его членов, во втором случае – с установлением порядка слов в предложении. Четкое разграничение двух периодов в акте актуализации предложения не позволило бы Ш. Балли перенести понятия актуального членения со второго периода на первый. Более пристальное внимание к объективной основе ономаσιологической грамматики в целом позволило бы ему создать более стройную грамматическую систему, чем это удалось в его работах.

В грамматике В. Матезиуса (*Mathesius V. Obsahový rozbor současně angličtiny na základě obecně lingvistickém. – Praha, 1961*), как и в грамматиках О. Есперсена и Ш. Балли, представлен как структурный, так и функциональный аспект ономаσιологической

грамматики (*Даниленко В.П.* Ономаσιологическая сущность концепции функциональной грамматики Вилема Матезиуса // *ФН.* – 1986. – № 4). Первый из них В. Матезиус связывал с выбором говорящим ономаσιологических и синтаксических средств языка из состава содержательных структур. В основе ономаσιологических содержательных структур лежат элементы действительности, описываемые в предложениях.

В основе синтаксических содержательных структур лежат типы ситуаций, которые описываются с помощью предложений. В состав каждой из содержательных структур входит несколько формальных структур. Так, в состав акциональной синтаксической структуры В. Матезиус включал все предложения, которые обозначают действия. В своей совокупности они составляют синтаксико-содержательную структуру, куда входят активные, пассивные и возвратные конструкции. Эти последние представляют собою формальные синтаксические структуры.

Структурный аспект ономаσιологической грамматики органически связан у В. Матезиуса с ее функциональным аспектом. В основе структурного аспекта этой грамматики лежит ситуация выбора говорящим языковых форм из состава содержательных структур языка, систематизация которых и составляет задачу структурно-ономаσιологической грамматики. В основе функционального аспекта грамматики В. Матезиуса лежит ситуация перевода говорящим языковых форм в речевые.

Результатом лексической и словообразовательной деятельности говорящего является лексема. В акте морфологической номинации происходит частичная грамматикализация лексем, поскольку не все грамматические показатели обозначают объективные реалии. Так, грамматикализация прилагательных происходит в акте синтаксической актуализации, поскольку значения рода, числа и падежа являются у них лишь средством согласования с существительными.

Концепции В. Матезиуса и Л. Теньера различаются тем, что В. Матезиус был сторонником субъектоцентрической теории стеммообразования: если на вершине стеммы предложения у Л. Теньера находится сказуемый глагол, то у В. Матезиуса центральная роль в процессе стеммообразования отводится подлежащему существительному. Предикатоцентрическая теория фразообразова-

ния, однако, не учитывает подвижности точки зрения говорящего на описываемую ситуацию: в центре внимания говорящего может быть не только действие, но и, как выражался Л. Теньер, «актёры» и «декорации».

Между Л. Теньером и В. Матезиусом имеются расхождения также и в интерпретации заключительного периода в создании предложения – периода установления в нем линейных отношений. При объяснении словопорядка французский ученый исходил только из грамматического фактора, тогда как чешский исследователь учитывал и другие факторы, например, актуальное членение предложения.

Итак, развитие семасиологического и ономасиологического направлений в истории грамматики не было равномерным. В античный период более развитыми оказались представления о структуре семасиологической, а не ономасиологической грамматики. В этом есть закономерность: прежде чем описать содержательные структуры какого-либо языка, необходимо выявить его формальные структуры, поскольку в состав структур первого типа входит несколько структур другого типа. Этим объясняется лидирующее положение семасиологической грамматики по отношению к ономасиологической в истории языкознания.

В средневековой грамматике выдвинулся на первый план ономасиологический подход к изучению языка. Авторы модистских грамматик стремились к ономасиологической переориентации традиционной семасиологической грамматики. Однако в эпоху Возрождения на ведущее положение в грамматике вновь выдвигается семасиологический подход. Грамматические трактаты модистов XIII–XIV вв., таким образом, могут расцениваться как краеугольные камни ономасиологического направления в европейской грамматике. Именно с этими трактатами в первую очередь связано зарождение ономасиологического направления в грамматической науке, а его становление определили идеи грамматики Пор-Рояля. Благодаря ей ономасиологическая грамматика поднялась в Новое время на новую научную высоту. Однако в XIX в. наблюдается явный спад интереса к ономасиологическим исследованиям. В это время на передний план выдвигается семасиологическая грамматика, что было связано с бурным развитием в XIX в. сравнительно-исторического языкознания.

Семасиологическое направление сохраняло лидирующее положение в грамматике и в XX в. Его авторитетными представителями стали структуралисты. С ослаблением их влияния на современную грамматическую науку в последние 20–30 лет стал все более и более возрождаться активный интерес к ономасиологической грамматике. Это способствовало поиску историко-научных истоков этой грамматики. Можно предположить, что ономасиологическую грамматику в недалёком будущем ожидает новый научный взлёт.

## *Приложение*

### **МЕМУАР О ПРЕДИКАТО- И СУБЪЕКТОЦЕНТРИЗМЕ ВО ФРАЗООБРАЗОВАНИИ**

О соотношении предикато- и субъектоцентризма в грамматике я писал на английском языке ещё в 1988 г. в журнале *Philologica Pragensia* (Danilenko, 1988). Отзыв на указанную статью был написан главным хранителем традиций Пражского лингвистического кружка и старейшим из его участников – Йозефом Вахком. В самом начале он писал: «*Přiznavam, že rkp, který mi byl zaslán k posouzení redakci PhPg, jsem přičeti (po několikátýdenním opětovném studiu) se smíšenými pocity. Základní potíž je asi v tom, že autor přistupuje ke své klasifikaci syntaktických teorií na ‘subjektocentrické’ a ‘predikátocentrické’ (a ovšem i k zařazení Tesnière do druhé a Mathesia do první z těchto skupin) sub specis kategorií vzatých z formálního rozboru větného* (Признаюсь, что рукопись, которая была прислана мне для отзыва редакцией PhPg, я прочитал (после неоднократного её изучения в течение нескольких дней) со смешанными чувствами. Основная трудность, по-видимому, состоит в том, что автор подходит к своей классификации синтаксических теорий на “субъектоцентрические” и “предикатоцентрические” (относя, разумеется, Теньера к последним, а Матезиуса – к первым) с точки зрения категорий, взятых из формального анализа предложения)».

Упрёк, высказанный мне Й. Вахком, я и сейчас не могу признать справедливым, поскольку мой анализ субъектоцентризма и предикатоцентризма у В. Матезиуса и Л. Теньера в указанной статье вовсе не был произведён с «формальной» точки зрения.

Он был произведён с ономасиологической точки зрения, которую В. Матезиус называл «функциональной». Кроме того, в этой статье я стремился показать, что В. Матезиус был близок к совмещению в рамках своей грамматической теории предикатоцентризма и субъектоцентризма, а вовсе не был «чистым» субъектоцентристом. «Чистым» предикатоцентристом был Л. Теньер, а «чистым» субъектоцентристом – К. Сунден.

Цель моей статьи как раз в том и состояла, чтобы показать односторонность как «чистого» предикатоцентризма в грамматике, идущего ещё от Й. Майнера (XVIII в.), но получившего широкую популярность во второй половине XX в. благодаря Л. Теньеру, так и «чистого» субъектоцентризма, идущего ещё от Томаса Эрфуртского (XIV в.) и ставшего достоянием традиционной грамматики.

В некоторых грамматиках XVIII–XIX вв. (например, у Й. Аделунга, К. Бекера и Ф.И. Буслаева) присутствуют как предикатоцентризм, так и субъектоцентризм, однако в подобных грамматиках они оказались в отношениях дурного противоречия: в одном месте в них говорится о том, что подлежащее зависит от сказуемого, а в другом – наоборот. В подобном противоречии предикатоцентризм и субъектоцентризм в нашей науке находятся до сих пор. Не снимает противоречия, о котором идёт речь, и термин «*координация*», который был введён в последнюю академическую грамматику русского языка для указания на взаимозависимый характер отношений между подлежащим и сказуемым, поскольку этот характер обрисовывается в ней не в динамически-деятельностном плане, а в статически-системном.

Настало время, чтобы обосновать, наконец, необходимость гармонического сочетания предикатоцентризма и субъектоцентризма в пределах одной и той же теории ономасиологической грамматики – грамматики, сориентированной на коммуникативные потребности говорящего. Данная цель может быть достигнута, если системообразующее начало ономасиологической грамматики мы научимся видеть в периодизации речевой деятельности говорящего, направленной на создание нового предложения. Назовём эту деятельность фразообразованием.

Отзыв Й. Вахка на статью, о которой идёт речь, в целом одобрительный, содержал ещё и такое замечание: «...rozdíl Mathesius – Teanière prostě nelze redukovat na formuli 'predikatocentrismu

vs. subjektocetrismu' (...разницу между Матезиусом и Теньером просто нельзя сводить к формуле “предикатоцентризм vs. субъектоцентризм”»). Но я и не сводил разницу между ними к указанной формуле. В этой статье я лишь обратил внимание на разницу между Л. Теньером и В. Матезиусом только в одной области грамматики – связанной с интерпретацией иерархических отношений между членами предложения в процессе его создания говорящим. Не больше и не меньше.

Существует, как известно, две теории, объясняющие природу иерархических отношений в предложении, – субъектоцентрическая и предикатоцентрическая. Если в первой из этих теорий центральная роль в организации предложения отводится грамматическому субъекту (подлежащему), то во второй эта роль признаётся за грамматическим предикатом (сказуемым). Поскольку в функции сказуемого обычно употребляется финитный глагол, то предикатоцентрическую теорию называют также «вербоцентрической». Если субъектоцентрическую теорию предложения считают традиционной, то предикатоцентрическую обычно оценивают как относительно новую.

Люсьен Теньер (1893–1954) – глава современного «чистого» (тотального, абсолютистского) предикатоцентризма в грамматике, но у него были предшественники ещё в XVIII и XIX вв. – Й. Майнер и А.А. Дмитриевский.

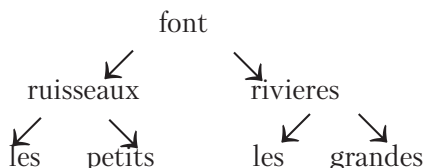
Йоганн Майнер – первый немецкий учёный, создавший оригинальную универсальную грамматику. Это произошло в 1781 г. Задолго до Л. Теньера он стал рассматривать предикат предложения в качестве его организующего центра. «Предикат, – писал он, – самая производящая часть предложения, поскольку из него развивается предложение в целом» (Meiner, 1781: 127). «Развивающую» роль предиката в предложении Й. Майнер, как и Л. Теньер, связывал с валентными свойствами глагола, выступающего в предложении в функции предиката. Моновалентные глаголы он называл «односторонне несамостоятельными». Они развивают предложение только за счёт субъекта (*sitzen* «сидеть», *stehen* «стоять» и т.п.). Двухвалентные глаголы он называл «двусторонне несамостоятельными». Они развивают предложение за счёт субъекта и дополнения (*setzen* «ставить», *legen* «класть» и т.п.). Й. Майнер выделял и трехвалентные глаголы. К ним он относил, например,

глагол *beschuldigen* «обвинять». Он требует трёх партиципантов – *A beschuldiget B des Diebstahls* «*A обвиняет B в воровстве*» (*A* – 1-й партиципант, *B* – 2-й и воровство – 3-й). О грамматике Й. Майнера см. подр. в (Даниленко, 2007: 203–204).

В «Практических заметках о русском синтаксисе», опубликованных в журнале «Филологические записки», А.А. Дмитриевский – со свойственным ему пафосом – объявил сказуемое единственным главным членом предложения. Он писал: «Сказуемое есть неограниченный властитель, царь предложения: если есть в предложении, кроме него, другие члены, они строго ему подчинены и от него только получают свой смысл и значение; если нет их, даже подлежащего, сказуемое само собой достаточно выражает мысль и составляет целое предложение» (Дмитриевский, 1877: 23).

А как быть с подлежащим? Оно объявляется одним из дополнений: «Итак, подлежащее, по нашему твёрдому убеждению, должно быть включено в состав дополнения как один из его видов» (Дмитриевский, 1878: 64). И далее он уточняет: «... дополнение есть такой придаточный член (слово или предложение), который доказывает или пополняет мысль по вопросам падежей: кто? что? кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком? о чём? Дополнение, отвечающее на вопрос им. п., называется подлежащим, – на вопрос вин. п. без предлога – прямым, – на вопросы прочих падежей – косвенным» (там же).

Развитие вербоцентрической теории фразообразования в XX в. связано с теорией стеммы предложения, разработанной Л. Теньером. «Стеммой» он называл такое состояние создаваемого предложения, которое предшествует его «линейному порядку». «Конструировать или устанавливать стемму фразы – это значит преобразовывать линейный порядок в структурный, – писал Л. Теньер. – Возьмём, например, фразу *Les petits ruisseaux font les grandes rivières* “*Маленькие ручьи становятся большими реками*”; если я трансформирую линейный порядок в структурный, то получу стемму:





...говорить на языке – значит преобразовывать структурный порядок (стемму предложения. – В.Д.) в линейный порядок, и, наоборот, понимать язык – значит преобразовывать линейный порядок в структурный» (Tesnière, 1965: 19). В качестве грамматического центра предложения, взятого в его стемматическом состоянии, у Л. Теньера выступает предикатный глагол. Французский учёный полагал, что в описываемой ситуации говорящий выделяет в первую очередь действие (процесс). Отсюда делался вывод о центральной роли глагола в процессе стеммообразования. «Глагольный узел, – писал Л. Теньер, – выражает маленькую драму. Как и в настоящей драме, он обязательно означает действие, связанное, как и полагается, с актёрами и декорациями» (Tesnière, 1965: 102).

Вилем Матезиус (1882–1945) не употреблял термина «*стемма*». Но он пользовался понятием, которое обозначает этот термин. К интерпретации этого понятия он подходил по преимуществу с субъектоцентрической точки зрения. Предикатоцентризм в его концепции менее эксплицирован, чем субъектоцентризм. В конечном счёте он полагал, что к описываемой ситуации в процессе фразообразования говорящий подходит субъективно. Он может поставить в центр своего внимания не только «действие», но также «актёров» и «декорации». Каждый из этих элементов действительности может послужить для говорящего основой грамматического субъекта.

На примере теорий Л. Теньера и В. Матезиуса мы видим, казалось бы, непримиримость субъектоцентрической и предикатоцентрической теорий фразообразования. Отношения между ними, вместе с тем, не столь однозначны, как может показаться с первого взгляда. Если в функциональном разделе синтаксиса у В. Матезиуса центральная роль в организации предложения отводится подлежащему, то в его структурном разделе эта роль усматривается за сказуемым. Нет ли здесь противоречия? На этот вопрос можно ответить лишь в том случае, если мы будем принимать во внимание те методологические установки, из которых В. Матезиус исходил при построении своей «функциональной грамматики» в целом.

Как мне уже приходилось отмечать (Даниленко, 1986: 62–66; 120–128), на ведущее положение в грамматике В. Матезиуса выдвинут ономазиологический подход. Формулу этого подхода можно обозначить следующим образом: «внеязыковое содержание →

языковая форма/языковая система → речь». Ономаσιологическая грамматика исходит из потребностей говорящего, начинающего свою деятельность с некоторого внеязыкового содержания, которое он переводит в языковую форму. Этот этап речевой деятельности говорящего лежит в основе структурного аспекта ономаσιологической грамматики. Функциональный аспект ономаσιологической грамматики отражает следующий этап речевой деятельности говорящего. Он связан с переводом языковых единиц, выбранных говорящим из языковой системы, в речевые. В основе семасиологической грамматики лежат обратные переходы: «речь → языковая система (структурный аспект семасиологической грамматики) / языковая форма → внеязыковое содержание (функциональный аспект семасиологической грамматики)». Об истории ономаσιологического направления в грамматике см. подр. в (Даниленко, 1988: 108–131; 2002: 107–133; 2007).

В грамматике В. Матезиуса представлены структурные и функциональные аспекты как семасиологической грамматики, так и ономаσιологической, однако доминирующее место в ней принадлежит исследованию структурного и функционального аспектов ономаσιологической грамматики. Первый из этих аспектов связан с систематизацией содержательных языковых структур, а второй – с изучением их функционирования в деятельности говорящего. Своеобразие содержательных структур языка состоит в том, что они содержат в своём составе несколько формальных структур. Так, в области морфологии мы имеем дело с содержательными структурами, когда речь идёт о субстантивации, адъективации, вербализации и т.д. Субстанция, например, может обозначаться не только с помощью существительных, в своей совокупности составляющих одну из формальных структур языка, но и с помощью слов, принадлежащих к другим частям речи, а стало быть, относящихся к другим формальным структурам языка. С категорией субстанции в конечном счёте соотносится не одна формальная языковая структура, включающая существительные, но и множество других (прилагательные, глаголы, наречия и т.д.). Большая протяженность содержательных структур языка по сравнению с формальными объясняется тем, что в структурах первого типа критерии содержательного сходства между классифицируемыми единицами занимают ведущее положение по отношению к формальным критериям.

Предикатоцентризм в грамматике В. Матезиуса представлен в скрытом виде. Чтобы его обнаружить, мы можем сравнить классификацию предложений у В. Матезиуса (Mathesius, 1961) и у К. Сундена (Sunden, 1916). Если у последнего организующая роль в акте создания предложения отводится только подлежащему, то у В. Матезиуса эта роль первоначально – в структурном разделе его синтаксиса – отводится сказуемому, а лишь затем – в функциональном разделе его синтаксиса – подлежащему. Отсюда следует вывод о наличии в грамматике В. Матезиуса не только субъектоцентризма, но и предикатоцентризма. Отсюда следует также и вывод о правомерности гармонического сочетания предикатоцентризма и субъектоцентризма в рамках одной и той же грамматической теории. К такому сочетанию некоторые грамматисты стремились ещё в XIX в.

Так, Ф.И. Буслаев в своей «Исторической грамматике русского языка» (1858) предпринял попытку соединения предикатоцентризма с субъектоцентризмом, исходя из логической интерпретации первого и грамматической интерпретации другого. «Основной член предложения, – писал он, – есть сказуемое» (Буслаев, 1959: 258). Почему? Потому, – отвечает учёный, – что «вся сила суждения содержится в сказуемом. Без сказуемого не может быть суждения» (Буслаев, 1959: 271). Ф.И. Буслаев, таким образом, возвышал сказуемое над подлежащим, исходя из *логической* точки зрения. А как он смотрел на иерархию главных членов предложения с *грамматической* точки зрения? В грамматическом отношении он, наоборот, подлежащее возвышал над сказуемым, поскольку не мог не видеть зависимость последнего от первого по числу и лицу (Буслаев, 1959: 270).

Мы можем увидеть у Ф.И. Буслаева предвосхищение той точки зрения на отношения между подлежащим и сказуемым, которая предполагает гармоническое сочетание предикатоцентризма и субъектоцентризма в пределах одной и той же грамматики. К этой точке зрения был близок В. Матезиус. Развивая его идеи, я изложил данную точку зрения в общей части моей докторской монографии «Ономасиологическое направление в грамматике» (Даниленко, 2007). Исходя из этой точки зрения, мы признаём зависимость подлежащего от сказуемого на первой, лексической, стадии фразообразования, когда говорящий отбирает лексемы для создаваемого

предложения, а вместе с ними и содержательный тип предложения, но – начиная со второй, морфологической, стадии, когда говорящий начинает переводить лексические формы слова в морфологические, – сказуемое перестаёт главенствовать над подлежащим, оно становится зависимым от подлежащего по роду, числу и лицу. Иначе говоря, сказуемое главенствует над подлежащим в лексическом отношении (Ф.И. Буслаев расценивал его как логическое), но в морфолого-синтаксическом отношении не сказуемое, а подлежащее господствует в создаваемом предложении. К подобной точке зрения на иерархические отношения между главными членами предложения, очевидно, должен прийти любой, кто увидит в процессе построения предложения три основных периода – лексический, морфологический и синтаксический.

В лексический период создаваемого предложения мы имеем дело со сказуемым, ещё не оформленным морфологически. Вот почему его лучше всего назвать лексическим предикатом. Морфологизация лексического предиката происходит во второй – морфологический – период фразообразования. В этот период во главе стеммы предложения оказывается подлежащее. Но в первый – лексический – период фразообразования центральная роль в акте стеммообразования принадлежит лексическому предикату. Почему? Очевидно, потому, что он, как правило, обозначает действие, а оно выступает в описываемой ситуации в качестве связующего звена между агенсом и пациенсом. Не случайно поэтому, что у глаголов весьма яркими являются его валентные свойства. Так, глагол «*читать*» требует субъекта действия и его объекта (*книгу, статью* и т.д.), т.е. этот глагол бивалентен. Глагол «*идти*», в свою очередь, моновалентен, поскольку требует распространения лишь за счёт обозначения субъекта действия. В русском языке имеются глаголы и с нулевой валентностью. Это безличные глаголы (*Моросит. Тошнит* и т.д.). Исходя из валентности глагола, мы можем выделить следующие основные типы исходных лексических стемм:

1. Моновалентный глагол → субстантив первого актанта (агенса).
2. Бивалентный глагол → субстантив первого актанта (агенса) + субстантив второго актанта (пациенса).

Первый тип исходной лексической стеммы лежит в основе предложений, в которых глагол обозначает безобъектный процесс

(*стоять, слепнуть, спать* и т.п.), а существительное – первый актант. Второй тип исходной лексической стеммы лежит в основе предложений, в которых глагол указывает на объектный процесс (*видеть, веселить, белить* и т.п.), а существительные – на первый и второй актанты. Развёртывание исходных стемм осуществляется в дальнейшем за счёт определений и обстоятельств. Первые зависят от существительных, а вторые – от глаголов.

Выбор лексического предиката осуществляется говорящим ещё в первый – лексический – период фразообразования. Благодаря ему говорящий имеет возможность выбора нескольких формальных типов предложения из одного содержательного. В морфологический период фразообразования он может обозначить производителя действия с помощью подлежащего и использовать активную форму глагола (*Рабочие строят дом*). Он может также обозначить производителя действия в акте морфологической номинации с помощью дополнения и использовать пассивную форму глагола (*Дом строится рабочими*).

В морфологический период фразообразования лексический предикат подвергается морфологизации. Степень его морфологизации в этот период времени является меньшей, чем степень морфологизации подлежащего. Вот почему в процессе морфологизации подлежащее выполняет роль управляющего члена предложения по отношению к сказуемому. Подлежащее возглавляет в дальнейшем стемму предложения в целом. От него зависит выбор согласовательных категорий рода, числа и падежа у прилагательного. От него же зависит и выбор согласовательных категорий предикатного глагола.

Деятельностный подход к соотношению предикатоцентризма и субъектоцентризма позволяет нам определить их место в ономаσιологической грамматике. Первый из них является правомерным по отношению к лексическому периоду фразообразования, а второй – по отношению к его морфологическому и синтаксическому периодам. Изменение данного соотношения между ними ведёт к ошибочной интерпретации процесса образования предложения. Тотальный субъектоцентризм не учитывает организующей роли лексического предиката в процессе выбора говорящим лексических единиц для создаваемого предложения и его содержательного типа. Тотальный предикатоцентризм, в свою очередь, не учитывает

подвижного характера речевой деятельности говорящего в процессе создания нового предложения.

Если в лексический период фразообразования точка зрения говорящего направлена на центральное звено описываемой ситуации – действие, то в морфологический период фразообразования она может быть направлена не только на действие, но может переместиться и на любой другой элемент описываемой ситуации – агенс или пациенс. Как тот, так и другой могут выступить в создаваемом предложении в роли подлежащего. С этого момента подлежащее выступает в качестве иерархического центра предложения, который сохраняется в нём до завершения акта фразообразования – включая и его синтаксический период.

Таким образом, предикатоцентрическая и субъектоцентрическая теории фразообразования должны рассматриваться не как конкурирующие между собою, не как взаимоисключающие друг друга, а как дополняющие и сменяющие друг друга. Первая из них верна в отношении к лексическому периоду фразообразования, когда говорящий отбирает лексические единицы для создаваемого предложения, а вторая – в отношении к его морфологическому и синтаксическому периодам, когда он осуществляет морфологизацию лексических форм слова, переводя их в формы морфологические и синтаксические (см. об этом подр.: Даниленко, 2003: 200–228; 272–287).

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Буслаев Ф.И.* Историческая грамматика русского языка. – М.: Учпедгиз, 1959.
2. *Даниленко В.П.* Ономаσιологическая сущность концепции функциональной грамматики Вилема Матезиуса // В.П. Даниленко. Филологические науки. – 1986. – I; Лингвистическая характерология в концепции В. Матезиуса // Вопросы языкознания. – 1986. – № 4.
3. *Даниленко В.П.* Ономаσιологическое направление в истории грамматики // В.П. Даниленко. Вопросы языкознания. – 1988. – № 3.
4. *Даниленко В.П.* Ономаσιологическое направление в грамматике. – 2-е изд. – М.: ЛКИ (УРСС), 2007.
5. *Даниленко В.П.* Ономаσιологическое направление в истории русской грамматики // Номинация. Предикация. Коммуникация: сборник статей к юбилею профессора Лии Матвеевны Ковалевой / под ред. А.В. Кравченко. – Иркутск: ИГЛУ, 2002.

6. Даниленко В.П. Общее языкознание: курс лекций. – 2-изд. Иркутск: ИГЛУ, 2003; История русского языкознания: курс лекций. – 2-е изд. – Иркутск: ИГЛУ, 2003.

7. Дмитриевский А.А. Практические заметки о русском синтаксисе / А.А. Дмитриевский. Филологические записки. – 1877. – Вып. 3; 1878. – Вып. 2.

8. Danilenko V.P. On the Relation between Subject-Centred and Predicate-Centred Theories of Sentence-Forming (V. Mathesius and L. Tesnière) // V.P. Danilenko. Philologica Pragensia. – 1988. – № 1.

9. Mathesius V. Obsahový rozbor současne angličtiny na základě obecně lingvistickém. – Praha: Academia, 1961.

10. Meiner J.W. Versuch einer an der menschlichen Sprache abgebildeten Vernunftlehre... – Leipzig: I. Breitkopf, 1781.

11. Sundén K. The Predicational Categories in English. Uppsala: E. – Berling, 1916.

12. Tesnière L. Éléments de syntaxe structural. – Paris: Klincksieck, 1965.

*Вестник ИГЛУ. Серия «Филология». – № 2. – 2009. – С. 66–70.*

## **У ИСТОКОВ УЧЕНИЯ ОБ АКТУАЛЬНОМ ЧЛЕНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (период до Анри Вейля)**

В современной историко-лингвистической науке сложилась традиция связывать возникновение учения об актуальном членении предложения с работой Анри Вейля о порядке слов, первое издание которой вышло в 1844 г. (см., например, статью Я. Фирбаса и монографию И.И. Ковтуновой (1). Основные понятия актуального членения (прежде всего – понятие ремы) между тем с достаточной отчётливостью представлены уже в работах Ш. Бато (2), Монбоддо (Джеймса Барнета) (3), И. Аделунга (4) и К. Беккера (5). Термин «актуальное членение предложения», разумеется, правомерно использовать в данном случае лишь в той мере, в какой он применим к понятиям темы и ремы на стадии их первоначального формирования в науке.

Учение об актуальном членении предложения, как известно, тесно связано с проблемой словопорядка. Эта проблема стала чрезвычайно популярной во второй половине XVIII в. В её обсуждении приняли участие такие видные французские ученые, как Цезарь Дюмарсэ (1676–1756) и Никола Бозэ (1717–1789). Первый из них стал употреблять термин «синтаксис» только по отношению к тому

состоянию создаваемого предложения, которое Л. Теньер называл «стеммой» (6). Линейные варианты стеммы предложения, в свою очередь, Ц. Дюмарсэ называл «конструкциями». На первый план в грамматике Ц. Дюмарсэ был выдвинут только один тип конструкции – конструкции с прямым («естественным») словорасположением. Линейные отношения в этом типе конструкции совпадают со стемматическими. Вот почему в грамматике Ц. Дюмарсэ основное место занимает теория конструкций: «синтаксис» рассматривается в этой грамматике в свете описаний, посвящённых конструкциям с прямым порядком слов. Ц. Дюмарсэ называл их «необходимыми». Он имел при этом в виду смысловую «необходимость». Учёный считал, что конструкции с обратным («фигуративным») словорасположением не передают какой-либо новый, дополнительный смысл в сравнении с конструкциями с прямым словопорядком. «Каждый из этих трех расположений, – писал он о линейных вариантах синтаксической стеммы предложения *Accepi litteras tuas* «Я получил письмо твоё», – возбуждает в сознании один и тот же смысл» (7). Учёный полагал, что при установлении прямого словопорядка говорящий следует за естественным ходом событий. Вот почему и сам этот порядок он назвал «естественным». Естественно, считал он, что следствие следует за причиной, качество за субстанцией, а пациенс – за агенсом. Естественный словопорядок представлен в таких предложениях, как *Le soleil est lumineux* «Солнце является ярким», *Dieu a créé le monde* «Бог сотворил мир» и т.п. (8). Конструкции с «фигуративным» словорасположением не отражают естественного хода событий. Их появление в речи Ц. Дюмарсэ связывал с «живостью воображения», со стремлением к «гармонии, ритму и т.д.» (9).

Н. Бозэ, в отличие от Ц. Дюмарсэ, связывал прямой порядок слов в предложении с естественным ходом мыслей, а не с естественным ходом событий. Этот порядок он называл не только «естественным», но и, вслед за Кондильяком (10), «аналитическим», поскольку он отражает аналитическую работу ума, которая осуществляется в направлении от субъекта суждения к его атрибуту, а от них – к их дополнениям (в широком смысле этого термина). Аналитический порядок Н. Бозэ считал универсальным. Вот почему, по его мнению, субъект предложения обычно предшествует его атрибуту (предикату), а их распространители следуют



за ними. Фразы, в которых наблюдается отклонение от аналитической деятельности ума, он интерпретировал как «фигуративные». Ц. Дюмарсэ и Н. Бозэ сходились в том, что обратный словопорядок (инверсия) представляет собою аномальное отклонение от нормального словопорядка. Подобный подход к объяснению инверсии был традиционным. Он представлен, в частности, у Ф. Санчеса и авторов грамматики Пор-Рояля (11; 12). Иной взгляд на объяснение инверсии – у Ш. Бато.

Шарль Бато (1713–1780) различал два типа словорасположения – «грамматический» и «ораторский». В. Матезиус назовет первый из них «объективным», а второй – «субъективным» (13). «Грамматический порядок» Ш. Бато связывал со строгой, научной речью и считал его по этой причине «искусственным». «Ораторский порядок», напротив, он считал «естественным», поскольку он употребляется, как правило, в разговорной или поэтической речи. Если первый он называл «порядком науки», то второй – «порядком сердца» (14). Когда говорящий холоден и беспристрастен, считал Ш. Бато, он использует «грамматический порядок», при котором управляемое слово следует за управляющим (*Alexander vicit Darium* «Александр победил Дария»). Он задаётся «метафизическим порядком», т.е. тем порядком, в котором осуществляется познание, – от причины к следствию, от субстанции к качеству и т.д. Когда говорящий руководствуется в расположении слов не холодным рассудком, а своим «интересом» к ситуации, описываемой предложением, он использует «ораторскую конструкцию». Словопорядок *Darium vicit Alexander* говорит о том, что в данном случае Дарий, а не Александр находился в центре «интереса» говорящего. «Порядок, который я называю ораторским, – писал Ш. Бато, – это такой порядок, который вызывается интересом или точкой зрения того, кто говорит» (15).

«Ораторский порядок» у Ш. Бато обычно является инверсией по отношению к «грамматическому порядку», однако бывают случаи, когда эти порядки совпадают. Это происходит в том случае, когда в качестве важного или главного (т.е. ремы) в процессе создания предложения выступает тот компонент описываемой ситуации, который обозначается подлежащим. Но данные порядки расходятся в остальных случаях – когда компоненты, представляющие наибольшую важность для говорящего, обозначаются с по-

мощью других членов предложения. Однако в любом случае слово, обозначающее «главный объект», становится в «ораторской конструкции» на первое место. Ш. Бато писал: «Главный объект в ораторской конструкции не является всегда одним и тем же. Это то субъект действия, то его объект. В каких-то случаях он может быть действием, а в каких-то – обстоятельством или образом действия. Следовательно, глагол, наречие, субъект, определение, управляемая форма к глаголу ставятся время от времени на первое место в предложении» (16). При переводе «ораторских конструкций» с одного языка на другой возможно использование различных «грамматических порядков», но не должно быть расхождений в «ораторском порядке».

Так, латинское предложение *Patrem amat filius* «Отца любим сын» следует переводить французским предложением *Le pere est aimé par le fils* «Отец любим сыном». Ш. Бато, таким образом, рассматривал фактор актуального членения предложения как основной фактор словопорядка. Он не считал, что конструкции с «ораторским порядком», которые являются чаще всего инвертированными, несут ту же информацию, что и конструкции с «грамматическим» (прямым) словопорядком. Данная информация связана с содержанием основных понятий актуального членения – понятий темы и ремы. Тем самым Ш. Бато противопоставил свою точку зрения в данном вопросе точке зрения Ц. Дюмарсэ и Н. Бозэ (о грамматических концепциях этих ученых см. в статье В.П. Даниленко (17)). Эта последняя, к сожалению, ещё долгое время будет господствовать во французской грамматике над первой. Только восемь десятилетий спустя идеи Ш. Бато найдут развитие в книге А. Вейля (18).

Монбоддо (1714–1799) приблизился в своём синтаксисе к учению об актуальном членении предложения, очевидно, независимо от Ш. Бато. Монбоддо ещё не делал основные понятия актуального членения предметом специального рассмотрения. Он пользовался ими только в связи с объяснением причин, лежащих в основе установления определённого порядка слов в создаваемом предложении. Учёный различал три рода таких причин. Прежде всего он обращал внимание на грамматический фактор словорасположения, действие которого связывал с согласованием и управлением. Эти синтаксические связи требуют, чтобы главное слово

стояло перед зависимым. Но можно вообразить себе такой язык, в котором нет ни склонения, ни спряжения, а следовательно, нет согласования и управления. «Каким способом соединяются слова в таком языке?» – спрашивал Монбоддо (19). В этом случае может вступить в силу «естественный» фактор словопорядка. Он требует, чтобы слова располагались в предложении в соответствии с естественной ситуацией: слово, обозначающее субстанцию, ставится перед словом, которое указывает на акциденцию этой субстанции, и т.д. Но последовательность слов в предложении может отражать и естественный ход мыслей в сознании говорящего. Мысль, которая представляется говорящему наиболее важной, привлекает внимание говорящего в первую очередь. Чтобы подчеркнуть это, он должен поставить слово, выражающее эту мысль, на первое место в предложении. Таким путем Монбоддо приблизился к понятиям актуального членения.

В центре внимания Монбоддо было понятие ремы («главного»). Когда мы говорим, рассуждал ученый, о доброте и человеке, мы можем подчеркнуть либо то, что человек является добрым, либо то, что добрым является человек. По этой причине мы можем сказать либо «*Человек добр*», либо «*Добр человек*» (20). В такого рода рассуждениях у Монбоддо обнаруживается приписывание реме только одной функции – контрастивной: в первом случае подразумевается то, что именно человек является добрым, а во втором – что человек добр, а не зол. На контрастивную функцию ремы будет в первую очередь обращать внимание в дальнейшем К. Беккер. Такой подход к интерпретации «главного» ограничен, поскольку контрастивная функция не является основной функцией ремы. Как покажет А. Вейль, а вслед за ним и В. Матезиус, основная функция ремы – подчёркивание новизны той информации, которая передаётся ею. Ограниченное понимание ремы не позволило Монбоддо объяснить, какими средствами располагает английский язык для перевода латинских предложений с различным словопорядком и, следовательно, с различным актуальным членением (*Petrus amat Iohannem* «*Пётр любит Ивана*», *Iohannem amat Petrus* «*Ивана любит Пётр*» и т.д.). Учёный полагал, что английский язык располагает только одной возможностью для перевода этих предложений, а именно – *Peter loves John* (21). Ш. Бато между тем показал, что отсутствие падежей во французском языке возмещается использо-

ванием пассивных конструкций. То же самое возможно и в английском: *Iohannem amat Petrus* может быть переведено на английский с тем же словорасположением и актуальным членением – *John is loved by Peter*.

Иоганн Аделунг (1732–1806) называл прямой порядок слов в предложении естественным, а обратный порядок – искусственным. Так, в предложении *Der Tag war heiter* «День был светлый» представлен естественный словопорядок, а в предложении *Heiter war der Tag* «Светлый был день» – искусственный. В обоих случаях субъект стоит перед предикатом, если иметь в виду тот факт, что в первом предложении мы имеем дело с естественными субъектом и предикатом, а во втором – с искусственными субъектом и предикатом. Субъект – как естественный, так и искусственный – выражает «наиболее важную и самую неопределённую» идею, а предикат «разъясняет» её. Инверсия, таким образом, предполагает перемещение подлежащего («естественного субъекта») на место сказуемого («естественного предиката»). Естественный субъект в этом случае становится «искусственным предикатом», а естественный предикат – «искусственным субъектом». Необходимость в таком перемещении возникает, когда тот или иной член предложения, оформленный в предложении как сказуемое, выражает «главное понятие» (*Hauptbegriffe*). Мы называем это понятие ремой. Так, в предложении *Liebte ich einst ihn zärtlich* «Любил я когда-то его нежно» сказуемое выражает «главное понятие» (рему). При естественном словорасположении это понятие выражается подлежащим, но позиция подлежащего является значимой и при инверсии. Сказуемое, оказавшись на обычном месте подлежащего, т.е. в начале предложения, начинает выполнять функцию подлежащего. В позиции подлежащего может оказаться и любой второстепенный член предложения, если он выражает «главное понятие». Выполняя функцию подлежащего, он не будет иметь грамматических признаков подлежащего. Так, в предложениях *Ihn liebte ich einst zärtlich*, *Einst liebte ich ihn zärtlich* в функции подлежащего выступают дополнение и обстоятельство. К понятию «искусственного субъекта», таким образом, И. Аделунг пришел благодаря тому, что стал соотносить функцию подлежащего не только с подлежащим, но и с любым другим членом предложения. Функция подлежащего становится в этом случае функцией ремы, а любой член предложения, выполня-

ющий эту функцию, – самой ремой. Иначе говоря, понятие ремы И. Аделунг основывал на понятии подлежащего. А. Вейль, напротив, выводил из понятия подлежащего понятие темы («исходного пункта высказывания»), а не понятие ремы («собственно высказывания»). И. Аделунг и А. Вейль по-разному истолковывали функции подлежащего и сказуемого.

И. Аделунг истолковывал функции главных членов предложения своеобразно. Так, в подлежащем он видел, с одной стороны, тот член предложения, который обозначает нечто неопределенное, а с другой стороны, он считал, что подлежащее выражает «главное понятие». В первом случае он был близок к традиционному пониманию подлежащего, однако в центре своего внимания он держал вторую интерпретацию субъективной функции – ту, которую мы усматриваем сейчас у ремы. В отличие от И. Аделунга А. Вейль исходил в своей интерпретации функций главных членов предложения главным образом из традиционных представлений, в соответствии с которыми подлежащее обозначает то, о чем говорится в предложении, а сказуемое нечто сообщает о нем. Иначе говоря, подлежащее составляет исходный пункт высказывания, а сказуемое – собственно высказывание. При создании предложения *Romul condidit Romam* «Ромул основал Рим» говорящий принимает за исходный пункт высказывания Ромула, тогда как *condidit Romam* составляет собственно высказывание.

Исходный пункт высказывания в данном случае обозначен с помощью подлежащего, которое обычно стоит в начале предложения. На этом месте может оказаться и любой другой член предложения, если он будет обозначать исходный пункт высказывания (*Romam condidit Romul*, *Condidit Romul Romam* и т.д.). Понятие подлежащего при таком подходе выступает в качестве прообраза понятия темы, а не ремы. Функцию подлежащего А. Вейль соотносил не только с подлежащим, но и с любым другим членом предложения, помещенным в начало предложения. Субъектная функция становится в этом случае тематической, а предикатная функция – рематической.

Французский учёный усматривал в темо-рематических функциях не только то содержание, которое они унаследовали от субъектно-предикатных функций, но и новое содержание. Оно связано с тем, что член предложения, обозначающий «исходный пункт вы-

сказывания», несет информацию, которая уже известна слушающему, а «собственно высказывание» передаёт новую информацию для него. «Мы имеем здесь дело, таким образом, – писал А. Вейль, – с отправным пунктом, исходным понятием, которое одинаково представлено и тому, кто говорит, и тому, кто слушает, и которое выступает как место встречи двух сознаний, и с другой частью высказывания, которая составляет собственно высказывание» (24).

Карл Беккер (1775–1849) различал две формы предложения – «грамматическую» и «логическую» (25). Под грамматической формой предложения он понимал то состояние предложения, которое Л. Теньер назвал стеммой, а под логической формой – актуальное членение того или иного линейного варианта определённой стеммы. Заслуга К. Беккера состоит в том, что в качестве средства актуального членения он стал рассматривать не только инверсию («логический словопорядок»), но и логическое ударение. «Органическое значение инверсии и логического ударения, – писал он, – является одним и тем же» (26).

Функциональное тождество логического ударения и инверсии ученый демонстрировал на примере различных форм предложения *Der Mund des Gerechten bringt Weisheit* «Уста праведника несут мудрость». Это предложение может иметь различные логические формы (= актуальное членение) за счёт разных логических ударений. Так, если логическое ударение будет падать на *Gerechten*, то это будет означать, что именно данный член предложения выражает «главное понятие» (рему). Если же логическое ударение будет падать на *Weisheit*, то этот член предложения будет выполнять рematicкую функцию. Актуальное («логическое») членение предложения в данном случае осуществляется без изменения словопорядка. Но оно может осуществляться также и за счёт инверсии.

Так, вместо предложения *Der Mund des Gerechten bringt Weisheit* с логическим ударением на последнем слове говорящий может употребить предложение *Weisheit der Mund des Gerechten bringt*. Логическая форма данных предложений совпадает, хотя в первом случае актуальное членение произведено с помощью логического ударения, а во втором – с помощью инверсии, т.е. за счёт постановки *Weisheit* в начале предложения. Такое расположение необычно для неподлежащих членов предложения. Вот почему инверсия может заменять логическое ударение.

К. Беккер считал, что логическое ударение является более универсальным средством актуального членения, чем инверсия. Он объяснял это тем, что возможности последней в какой-то мере ограничиваются грамматической формой предложения. Это особенно заметно в языках с неразвитой системой флексий, где представлен менее гибкий словоупорядок, нежели в языках с развитой морфологической системой. Использование логического ударения, напротив, никак не ограничено особенностями грамматических форм предложения, имеющих в различных языках (27).

Выдвижение на первый план логического ударения в качестве средства актуального членения привело К. Беккера к узкой интерпретации того члена предложения, который выражает «главное понятие». Он полагал, что с помощью данного члена предложения говорящий лишь указывает на определенное противопоставление. Так, логическая форма предложения *Weisheit der Mund des Gerechten bringt* свидетельствует лишь о том, что уста праведника несут мудрость, а не глупость.

А. Вейль нашел более глубокое объяснение основной функции ремы. Эта функция состоит в подчёркивании того, что ещё неизвестно слушающему. Подобным образом стали объяснять данную функцию в дальнейшем Г. Габеленц, Г. Пауль и др. (28). На новую высоту учение об актуальном членении предложения было поднято Вилемом Матезиусом. Его заслуга в этой области состоит не только в том, что он значительно углубил представления об основных понятиях актуального членения, но и в том, что он определил место этого учения в системе ономазиологической («функциональной») грамматики в целом (о методологических особенностях грамматической концепции В. Матезиуса см. статьи В.П. Даниленко (29)).

## ЛИТЕРАТУРА

1. См.: *Firbas J. Ze srovnávacích studií slovosledných // Slovo a slovesnost*. – 1962. – № 3. С. 162; *Ковтунова И.И.* Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. – М., 1976. С. 24.

2. См.: *Batteux Ch.* De la construction oratoire. – Paris, 1763.

3. См.: *Monboddo.* Of the Origin and Progress of Language. V. 2. – Edinburgh, 1/74.

4. См.: *Adelung I. C.* Deutsche Sprachlehre für Schulen. – Berlin, 1795; *Adelung I. C.* Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache. Bd. 1–2. – Leipzig, 1782.
5. См.: *Becker K.F.* Organism der Sprache. – Frankfurt a/M, 1841; *Becker K.F.* Ausführliche deutsche Grammatik als Kommentar der Schulgrammatik. – Frankfurt a/M, 1837.
6. «Стеммой» Люсьен Теньер называл такое состояние создаваемого предложения, которое предшествует его «линейному порядку», но предполагает полную грамматикализацию его членов. См.: *Tesnière L.* Éléments de syntaxe structurale. – Paris, 1965. P. 231.
7. См.: *Dumarsais C. Ch.* Logique et principes de grammaire. – Paris, 1769. P. 231.
8. Ibid. P. 245.
9. Ibid. P. 252.
10. *Condillac.* Grammaire pour l' instruction des jeunes gens. – Paris, 1798 .
11. *Beauzee N.* Grammaire générale. V. 2. – Paris, 1767. P. 536.
12. Sanctii Minerva, siue de proprietate sermonis latini. – Salamanca, 1587; *Arnauld A., Lancelot C.* Grammaire générale et raisonnée. – Paris, 1660.
13. См.: *Матезиус В.* О так называемом актуальном членении предложения // Пражский лингвистический кружок / под ред. Н. А. Кондрашова. – М., 1967. С. 244.
14. *Batteux Ch.* Op. cit. P. 97.
15. Ibid. P. 14.
16. Ibid. P. 20.
17. *Даниленко В.П.* Ономасиологическое направление в истории грамматики // ВЯ. – 1988. – № 3.
18. См.: *Well H.* De l'ordre des mots dans les langues anciennes comparée aux modernes. – Paris, 1869.
19. *Monboddo.* Op. cit. P. 341.
20. Ibid. P. 347.
21. Ibid. P. 350.
22. См.: *Adelung I. C.* Op. cit. Bd. 2. S. 507.
23. Ibid. S. 556.
24. *Well H.* Op. cit. P. 24.
25. См.: *Becker K.F.* Organism... S. 166.
26. *Becker K.F.* Ausführliche... S. 303.
27. Ibid. S. 304.
28. См.: *Ковтунова И.И.* Указ. соч. С. 18.
29. См.: *Даниленко В.П.* Ономасиологическая сущность концепции функциональной грамматики Вилема Матезиуса // Филологические науки. – 1986. – № 1; его же: Лингвистическая характеристология в концепции В. Матезиуса // ВЯ. – 1986. – № 4.

*Филологические науки.* – 1990. – № 5. С. 82–89.



---

## 6. МЕТОД ДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА В ЛИНГВИСТИКЕ

---

Автор любой лингвистической теории исходит из тех или иных представлений о дисциплинарной структуре языкознания в целом или какого-либо его раздела в частности (например, грамматики). Значение этих представлений невозможно переоценить, поскольку от них зависит сущность теории её автора.

Существует два полярных типа дисциплинарной структуры той или иной науки – системный и асистемный. В первом случае дисциплинарная структура языкознания, например, отражает определённые периоды в речевой деятельности говорящего или слушающего, а во втором случае расположение дисциплин оказывается оторванным от структуры речевой деятельности. Вот почему дисциплинарная структура языкознания в этом случае оказывается бессистемной, хаотической, произвольной, рядоположенной. Такой, например, является дисциплинарная структура лингвистической теории Отто Есперсена.

В статье «О системном грамматическом анализе» Вилем Матезиус так критиковал эту теорию за отсутствие в ней дисциплинарной системы: «...результаты поистине неутомимых и оригинальных попыток профессора Есперсена нас не могут удовлетворить вполне. И последняя работа Есперсена о грамматической системе современного английского языка, его «Основы грамматики английского языка» («Essentials of English Grammar»)… не оправдывает надежд и не содержит полного и ясного анализа его грамматической системы во всех её основных компонентах» (Пражский лингвистический кружок / под ред. Н.А. Кондрашова. – М., 1967. С. 227).

В ономаσιологической грамматике О. Есперсена две части – теория понятийных категорий и теория трёх рангов. Эти теории оказались слабо связанными друг с другом, что объясняется недостаточно внимательным отношением их автора к реальной периодизации речевой деятельности говорящего, направленной на построение нового предложения. Вот почему дисциплинарная структура его грамматики не может расцениваться как системная.

В противоположность О. Есперсену В. Матезиус дал нам образец системного подхода к установлению дисциплинарной структуры грамматики. Его грамматика отражает два периода во фразообразовательной деятельности говорящего – номинативный (его изучает ономотология) и синтаксический (его изучает синтаксис) (см.: *Даниленко В.П.* Функциональная грамматика Вилема Матезиуса. Методологические особенности концепции. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010. В дальнейшем ФГМ).

Дисциплинарный анализ какой-либо лингвистической теории невозможно осуществить автору, который сам не выработал своего представления о дисциплинарной структуре языкознания. Первейшая обязанность начинающего исследователя – выработать такое представление или, по крайней мере, принять чужое, которое кажется ему наиболее убедительным. Смее надеяться, что моё представление о дисциплинарной структуре языкознания, которое отражено во многих моих книгах (ФГМ, ОНГ, ВЯ, ОЯиИЯ и др.), выглядит достаточно убедительным.

Качество преподавания лингвистических наук в вузе напрямую зависит от упорядоченного представления о дисциплинарной структуре языкознания. Иначе и не может быть, поскольку важнейшая задача лингвистического образования состоит в освоении студентами всей системы дисциплин, составляющих современную науку о языке. В противном случае на месте этой системы в сознании студентов остаётся дисциплинарный хаос. Этот хаос выражается прежде всего в том, что фонетику и словообразование, лексикологию и синтаксис, психолингвистику и лингвокибернетику, лингвосемиотику и лингвостилистику и т.д. студенты воспринимают как науки разрозненные, существующие сами по себе, вне системной связи друг с другом.

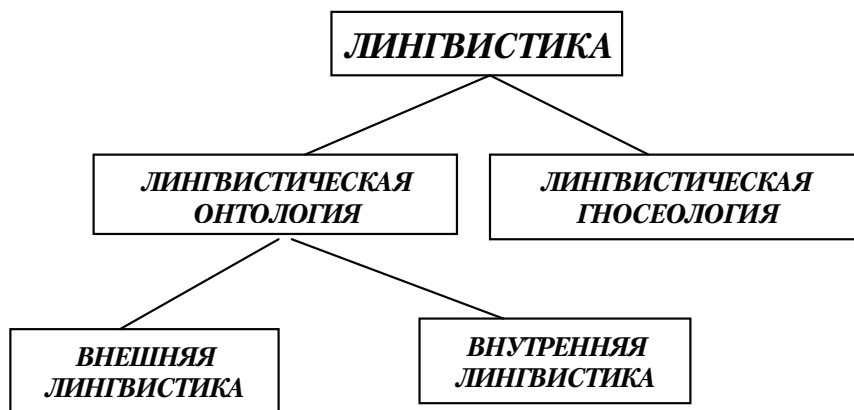
К сожалению, в наше постмодернистское время, характерной чертой которого является хаос, не приходится обольщаться в отношении системного взгляда на дисциплинарную структуру языкознания и у учёных мужей. Возьмём, например, книгу В.Н. Базылева «Российская лингвистика XXI века: традиции и новации» (М., 2009). В её оглавлении мы обнаруживаем очень длинный список лингвистических дисциплин: палеонтология языка, лингвистическая контактология, фоносемантика, теория происхождения языка и его эволюции, гендерная лингвистика, интерлингвистика, психи-

атрическая лингвистика, политическая лингвистика, лингвосинергетика, кондициональная лингвистика, криптолингвистика, лингвистика Интернета, биоллингвистика, лингвистическая генетика, аксиологическая лингвистика, лингвоконцептология и др. Почему здесь выбран данный, а не иной порядок следования лингвистических дисциплин? Этот вопрос в данном случае неуместен, поскольку автор книги и не ставил перед собой задачу представить дисциплинарную структуру языкознания в системе.

Более того, автор приведённого списка лингвистических наук приветствует хаотическую «междисциплинарность», которая размывает грани между предметными областями различных дисциплин. Он видит в дисциплинарном хаосе признак развития современной лингвистики. Вот как это выглядит у него самого: «Развитие лингвистической парадигмы XXI века... отличает ярко выраженная междисциплинарность, или трансдисциплинарность. Это собственно свойственно всей современной науке в целом с размыванием и диффузией предметных областей отдельных отраслей» (указ. соч. С. 263). Размывание и диффузия – это хаос.

Дисциплинарный хаос – это не признак «развития лингвистической парадигмы XXI века». Это её беда. Признаком прогресса любой науки был и остаётся системный подход – в том числе и к установлению дисциплинарной структуры языкознания.

В системном виде дисциплинарная структура языкознания может быть представлена следующим образом:



*Лингвистическая онтология* – учение о бытии языка, а *лингвистическая гносеология* – учение о способах его познания. В свою очередь, *внешняя лингвистика* отличается от *внутренней* тем, что в первой язык изучается в связи с другими, неязыковыми, объектами, а во второй он исследуется как таковой. Но каждая из указанных областей знаний имеет свою дисциплинарную структуру.

Поскольку внешняя лингвистика исследует язык в одном ряду с другими объектами, решение вопроса о её дисциплинарной структуре оказывается связанным с проблемой классификации всех наук, а они, взятые в комплексе, охватывают весь мир. Вот почему структура мира предопределяет структуру науки.

Из каких частей состоит наш мир? Из каких этажей состоит современное мироздание? Его первый этаж – физическая природа, второй – живая природа, третий – психика и четвёртый – культура.

Каждый этаж мироздания изучается особой наукой. Его первый этаж изучается *физикой*, его второй этаж – *биологией*, его третий этаж – *психологией* и его четвёртый этаж – *культурологией* (или *антропологией*).

Каждая из этих четырёх наук называется *частной*, поскольку она изучает лишь соответствующую *часть* мира. Но есть ещё и *общая* наука, возвышающаяся над всеми частными науками, *обобщающая* достижения всех частных наук. Эта наука называется философией. Её задача – построение общенаучной (философской) картины мира.

Классификацию базовых наук, таким образом, можно изобразить такой таблицей:

Ф И Л О С О Ф И Я			
ФИЗИКА	БИОЛОГИЯ	ПСИХОЛОГИЯ	КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Языкознание входит в культурологию, поскольку язык – один из продуктов культуры. Его объект исследования – язык – связан как с миром в целом, так и с его частями. Вот почему **внешняя лингвистика** включает в себя пять дисциплин:

Ф И Л О С О Ф И Я    Я З Ы К А			
ЛИНГВОФИ- ЗИКА	БИОЛИНГВИ- СТИКА	ПСИХОЛИНГ- ВИСТИКА	ЛИНГВОКУЛЬ- ТУРОЛОГИЯ

Философия языка изучает язык в связи с миром в целом. Центральное место в ней занимают следующие проблемы: происхождение языка, развитие языковой способности у ребёнка, основные функции языка.

Лингвофизика изучает *первую сторону языка – физическую* (звуковую). В центре внимания в лингвофизике находятся проблемы, связанные с выявлением акустических характеристик у речевых звуков (таких как его продолжительность, сила и т.п.).

Биолингвистика изучает *вторую сторону языка – биотическую*. Она связана с тремя органами тела – органами артикуляции, органами слуха и головным мозгом. В задачу биолингвистики входит исследование строения и функционирования этих органов.

Психоллингвистика изучает *третью сторону языка – психическую*. Она связана, с одной стороны, с локализацией языковой системы в нашем подсознании, а с другой, с её функционированием в деятельности либо говорящего, либо слушающего. В задачу психоллингвистики входит исследование речевой деятельности этих людей с психологической точки зрения.

Лингвокультурология, наконец, изучает *четвёртую сторону языка – культурную*. Язык, взятый с этой стороны, выступает в качестве одного из продуктов культуры. Он представляет собой результат титанической культуросозидательной деятельности его носителей.

Язык, таким образом, «является» нам в четырёх ипостасях – физической, биотической, психической и культурной. Всё дело, однако, в иерархии этих «явлений» языка. И.А. Бодуэну де Куртене, например, язык «являлся» в первую очередь в своей психической (психологической) ипостаси, а У. Матуране – в биотической (биологической). Но если следовать гумбольдтианским представлениям о сущности языка, то приоритетной (ведущей, сущностной) стороной языка следует признать его культурную сторону. Вот почему место языка – среди других продуктов культуры. Вот почему лингвистика входит в культурологию – науку о культуре.

Культурная сторона языка – его ведущая сторона потому, что в первую очередь язык является одним из важнейших продуктов культуры, а уж затем – физическим, биотическим и психическим образованием. Чтобы рассеять на этот счёт какие-либо сомнения, надо вспомнить, что знаки, из которых он состоит, создавались и продолжают создаваться так же, как и другие продукты культуры.

Язык – вовсе не дар божий, а величайшее творение культуросозидательной деятельности человека. Разумеется, технология создания разных продуктов культуры является разнообразной, но каждый продукт культуры – начиная от дротика и кончая компьютером, является продуктом одного и того же вида человеческой деятельности – культуросозидательной, благодаря которой наши животные предки и вступили на путь очеловечивания (антропогенеза, гоминизации).

Своеобразие языка по сравнению с другими продуктами культуры состоит в том, что он представляет собою наиважнейшую систему знаков, по степени значимости с которой не могут конкурировать никакие другие знаковые системы.

*Язык, таким образом, может быть определён как особый – биофизический и психический – продукт культуры, представляющий собою наиважнейшую систему знаков, которая выполняет три основные функции – коммуникативную (общения), когнитивную (познания) и прагматическую (практического воздействия на мир).*

Каждая из пяти выделенных нами внешнелингвистических наук имеет внутреннюю дисциплинарную структуру. Так, в задачу лингвокультурологии входит исследование языка в связи с такими продуктами духовной культуры, как религия, наука, искусство, нравственность и политика. В лингвокультурологии исследуются также связи языка и с продуктами материальной культуры (в частности, с техникой). В состав лингвокультурологии в конечном счёте входят следующие дисциплины: 1. Лингвистическое религиоведение. 2. Лингвистическое науковедение. 3. Лингвистическое искусствоведение. 4. Лингвоэтика. 5. Лингвистическая политология. 6. Лингвостилистика. 7. Лингвотехника. 8. Лингвокибернетика.

Первая из перечисленных дисциплин изучает отношения между религией и языком, вторая – отношения между наукой и языком, третья – отношения между искусством и языком, четвёртая – отношения между нравственностью и языком, пятая – отношения между политикой и языком, шестая – функционирование языка в различных сферах культуры – в религии, науке, искусстве и т.д., седьмая – отношения между техникой и языком и восьмая – отношения между кибернетическими машинами и языком.

В свою очередь, дисциплинарная структура **внутренней лингвистики** может быть представлена следующим образом:



Фонетика – наука о звуковом строе языка, грамматика – о его грамматическом строе и лингвистика текста – о его текстуальном строе. Основной единицей фонетики является звук, грамматики – слово и предложение, лингвистики текста – текст.

Данное представление о научно-отраслевой структуре внутренней лингвистики основывается на выделении в языке трёх ярусов – звукового, грамматического и текстуального. Однако каждый из них имеет внутренние подъярусы (уровни). На выделении последних базируется научно-отраслевая структура фонетики, грамматики и лингвистики текста.

Научно-отраслевая структура лингвистики текста до сих пор не сформирована, поскольку эта наука относится к числу сравнительно молодых. Зато фонетика и грамматика имеют весьма большой опыт по формированию своей дисциплинарной структуры. Так, в фонетику (в широком смысле слова) входят такие науки, как фонетика (в узком смысле этого термина), фонология, морфонология, силлабика, акцентология и мелодика (интонемика). Первая из этих дисциплин – наука о звуках, вторая – о фонемах, третья – о морфонемах, четвёртая – о слогах, пятая – об ударениях, шестая – об интонации.

Дисциплинарная структура грамматики может быть изображена таким образом:



Словообразование – наука о создании новых слов, а фразообразование – о создании новых предложений. В состав последней из этих наук входят лексикология, морфология и синтаксис. Лексикология направлена на изучение проблем, связанных с лексическим периодом фразообразования, когда говорящий отбирает слова для создаваемого им предложения. Морфология, в свою очередь, имеет дело со вторым, морфологическим, периодом фразообразования, когда говорящий оформляет лексемы, поступившие в его распоряжение из первого периода фразообразования, морфологическими средствами. Синтаксис, наконец, связан с проблемами, которые решает говорящий в третий, синтаксический, период фразообразования, когда он устанавливает в предложении его актуальное членение и определённый порядок слов.

## *Приложение*

### **ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ А.С. ПУШКИНА**

Уважение к минувшему – вот черта,  
отличающая образованность от дикости.

*А.С. Пушкин*

Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) был и остаётся солнцем русской поэзии. Не перечить статей и книг, посвящённых исследованию его нетленного художественного наследия. Но среди этих статей и книг не оказалось работы, где систематизировались бы лингвистические воззрения гениального поэта. Они концентрировались в области лингвокультурологии. Настоящая статья посвящена обзору размышлений А.С. Пушкина в рамках пяти лингвокультурологических дисциплин – лингвоэстетики, лингвоэтики, лингвистической политологии, лингвостилистики и переводоведения.

#### **Лингвоэстетика**

Главный вопрос лингвоэстетики есть вопрос о соотношении содержания и формы в художественном произведении. История



художественной литературы свидетельствует о двух полярных решениях этого вопроса. Первое из них отдаёт здесь предпочтение содержанию над формой, а другое, напротив, исходит из приоритета формы над содержанием. Русские футуристы довели в своих стихах приоритет языковой формы над её содержанием до их полной бессмыслицы – зауми. Вот вам стишок Алексея Кручёных:

Те гене  
рю ри  
ле лю,  
бе  
тльк  
тлько  
хомоло  
рек рюкль  
крьд крюд  
нтри  
нркью  
би пу.

Нетрудно догадаться, как бы отреагировал А.С. Пушкин на подобное трюкачество. Он не стал бы воспринимать его всерьёз, хотя он и написал в ранней редакции «Евгения Онегина»: «...но дорожит одними звуками пиит» (Русские писатели о языке, 1954: 82). Не стоит строить иллюзий насчёт формалистического «уклона» у А.С. Пушкина. Он ещё в пятнадцать лет заявил князю А.М. Горчакову: «Набором громозвучных слов я петь пустого не умею» (Пушкин, 1981, 1: 38).

На первое место в любом речевом произведении А.С. Пушкин ставил его содержание. Его недостатком и чрезмерным вниманием к форме он объяснял, в частности, забвение поэзии Франсуа Малерба (1555–1628) и Пьера де Ронсара (1524–1585). В статье «О ничтожестве литературы русской» (1834) А.С. Пушкин писал: «Малерб ныне забыт подобно Ронсару, сии два таланта, истощившие силы свои в усовершенствовании стиха... Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления!» (Пушкин, 1981, 6: 208).

А.С. Пушкин видел в языке вполне надёжное средство «для сообщения наших мыслей» (Пушкин, 1981, 6: 18), которые могут быть разнообразны до бесконечности. В статье «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико» (1936) он писал: «Разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов. Все слова находятся в лексиконе; но книги, поминутно появляющиеся, не суть повторение лексикона. Мысль отдельно никогда ничего нового не представляет; мысли же могут быть разнообразны до бесконечности» (Пушкин, 1981, 6: 292).

Забота о разнообразии мыслей, выражаемых в художественных произведениях, вовсе не приводила А.С. Пушкина к пренебрежению их языковой формой. Особое значение в прозе он придавал двум её особенностям – точности и краткости. Он писал: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат» (Пушкин, 1981, 6: 10–11).

Вот как писал двадцатитрёхлетний поэт в только что процитированной статье «О прозе» о людях, не научившихся изъясняться точно и кратко: «Эти люди никогда не скажут *дружба*, не прибавя: *сие священное чувство, коего благородный пламень* и пр. Должно бы сказать: *рано поутру* – а они пишут: *едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба* – ах, как это всё ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее. Читаю отчёт какого-нибудь любителя театра: *сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Апол...* боже мой, да поставь: *эта молодая хорошая актриса* – и продолжай – будь уверен, что никто не заметит твоих выражений, никто спасибо не скажет. *Презренный зомл, коего неусыпная зависть изливает усыпительный свой яд на лавры русского Парнаса, коего утомительная тупость может только сравниться с неутомимой злостью...* боже мой, зачем просто не сказать *лошадь?*» (там же).

### Лингвоэтика

В нормативной обработке русского языка своего времени А.С. Пушкин видел насущную необходимость. Его культурно-нормативное состояние он оценивал как младенчествуящее. В письме к И.В. Киреевскому в 1832 г. он писал: «NB: избегайте учёных тер-

минов; и старайтесь их переводить, то есть перефразировать: это будет и приятно неучам, и полезно нашему младенчеству языку» (Русские писатели о языке, 1954: 86).

В былые времена нередко можно было прочесть такое утверждение о роли А.С. Пушкина в формировании современного русского литературного языка: «А.С. Пушкин является основоположником русского литературного языка» (там же: 71). Подобные заявления нуждаются в уточнениях. Никто не сомневается в том, что А.С. Пушкин – целая эпоха в формировании русского литературного языка. Никто также не сомневается в том, что история современного русского литературного языка начинается с пушкинской эпохи. Но считать одного человека (даже если речь идёт об А.С. Пушкине) основоположником литературного языка – явное преувеличение. Наш литературный язык, как и любой другой, – великое достояние коллективного творчества. А.С. Пушкину принадлежит в его формировании виднейшая роль. В его создание он заложил краеугольный камень.

А.С. Пушкин ориентировал развитие русского литературного языка не только на письменную речь, но и на устную. Более того, он часто подчёркивал поощрительное отношение к простонародному языку. Он видел в нём неиссякаемый резерв, обогащающий литературный язык. Приведу в связи с этим следующие высказывания А.С. Пушкина, написанные в 1830 г.:

1. «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирам. Они говорят удивительно чистым и правильным языком». Опровержение на критики (1830) (Пушкин, 1981, 6: 121).

2. «Слова *усы, визжать, вставай, рассветает, ого, пора* казались критикам низкими, бурлацкими; низкими словами я, как Вильгельм Кюхельбекер, почитаю те, которые подлым образом выражают какие-нибудь понятия; например, *нализаться* вместо *напиться пьяным* и т.п.; но никогда не пожертвую искренностью и точностью выражения провинциальной чопорности и боязни казаться простонародным, славянофилом и тому под.» (там же).

3. «Мы к этому привыкли, нам кажется, что так и должно быть. Но надобно признаться, что если герои выражаются в трагедиях Шекспира, как конюхи, то нам это не странно, ибо мы чувствуем, что и знатные должны выражать простые понятия, как простые люди». О народной драме и драме «Марфа Посадница» М.П. Погодина (1830) (Пушкин, 1981, 6: 147–148).

4. «Газета дала заметить автору, что в его простонародных сценах находятся слова ужасные: *сукин сын*. Возможно ли – что скажут дамы, если паче чаяния взор их упадет на это неслыханное выражение? – Что б они сказали Фонвизину, который императрице Екатерине читал своего Недоросля, где на каждой странице эта невежливая Простакова бранит Еремеевну *собачьей дочерью?*». О новейших блюстителях нравственности (Пушкин, 1981, 6: 90).

В своих произведениях А.С. Пушкин подтверждал свои симпатии к разговорно-просторечной стихии. Более того, в «Евгении Онегине» он произносит:

Не дай мне бог сойтись на бале  
Иль при разъезде на крыльце  
С семинаристом в желтой шале  
Иль с академиком в чепце!  
Как уст румяных без улыбки;  
Без грамматической ошибки  
Я русской речи не люблю.  
Быть может, на беду мою,  
Красавиц новых поколение,  
Журналов вняв молящий глас,  
К грамматике приучит нас;  
Стихи введут в употребленье;  
Но я... какое дело мне?  
Я верен буду старине

(Пушкин, 1981, 4: 57)

«Не должно мешать свободе, – писал автор этих строк в примечаниях к «Евгению Онегину», – нашего богатого и прекрасного языка» (Русские писатели о языке, 1954: 81). Отсюда вовсе не следует, что А.С. Пушкин приветствовал грамматические ошибки. Его душа болела о судьбе родного языка. В статье «Российская академия» он писал: «Ныне Академия приготовляет третье издание своего Словаря, коего распространение час от часу становится необ-

ходимее. Прекрасный наш язык, под пером писателей неучёных и неискусных, быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется. Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и каждого. В журналах наших ещё менее правописания, нежели здравого смысла...» (Пушкин, 1981, 6: 244).

Наш первый поэт гордился тем, что в своих произведениях почти не делал ошибок. Он писал: «Вот уже 16 лет, как я печатаю, и критики заметили в моих стихах 5 грамматических ошибок (и справедливо):

- 1) останавливал взор на *отдаленные громады*;
- 2) на *теме* гор (темени);
- 3) *воил* вместо *выл*;
- 4) *был отказан* вместо *ему отказали*;
- 5) *игумену* вместо *игумну*.

Я всегда был им искренно благодарен и всегда поправлял замеченное место» (Пушкин, 1981, 6: 120).

А.С. Пушкин подходил к упорядочиванию грамматических правил как профессиональный лингвист. Вот лишь некоторые этюды из его размышлений на этот счёт из вышеуказанного источника:

1. «Что гласит грамматика? Что действительный глагол, управляемый отрицательною частицею, требует уже не винительного, а родительного падежа. Например: я *не пишу стихов*. Но в моём стихе глагол *ссорить* управляем не частицею *не*, а глаголом *хочу*. Ergo, правило сюда нейдет. Возьмём, например, следующее предложение: Я *не могу* вам позволить начать писать... *стихи*, а уж конечно не *стихов*. Неужто электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в существительном? Не думаю».

2. «Кстати о грамматике. Я пишу *цыганы*, а не *цыгане*, *тата-ре*, а не *татары*. Почему? потому что все имена существительные, кончающиеся на *анин*, *янин*, *арин* и *ярин*, имеют свой родительный во множественном на *ан*, *ян*, *ар* и *яр*, а именительный множественного на *ане*, *яне*, *аре* и *яре*. Все же существительные, кончающиеся на *ан* и *ян*, *ар* и *яр*, имеют во множественном именительный на *аны*, *яны*, *ары* и *яры*, а родительный на *анов*, *янов*, *аров*, *яров*. Единственное исключение: имена собственные».

3. «Иностранные собственные имена, кончающиеся на *е*, *и*, *о*, *у*, не склоняются. Кончающиеся на *а*, *ь* и *ь* склоняются в мужеском

роде, а в женском нет, и против этого многие у нас погрешают. Пишут: книга, сочинённая Гётем, и проч.».

4. «Многие пишут *юпка, сватьба*, вместо *юбка, свадьба*. Никогда в производных словах *t* не переменяется на *đ*, ни *n* на *b*, а мы говорим *юбочница, свадебный*».

### Лингвистическая политология

В споре между пуристами-шишковистами и антипуристами-камзинистами А.С. Пушкин занимал золотую середину. С одной стороны, языковые заимствования в свои произведения он вводил изящно, легко, уместно и смело. В «Евгении Онегине» имеется фрагмент, где он объясняет, почему он это делает:

Но панталоны, фрак, жилет,  
Всех этих слов на русском нет...  
(Пушкин, 1981, 4: 15).

А затем автор делает реверанс в сторону пуристов:

А вижу я, винюсь пред вами,  
Что уж и так мой бедный слог  
Пестреть гораздо б меньше мог  
Иноплеменными словами,  
Хоть и заглядывал я встарь  
В Академический Словарь.

У А.С. Пушкина мы находим небольшое исследование в области истории варваризации русского языка. Оно имеется в статье 1825 г. «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова». Он делит здесь историю нашего языка на три периода, первый из которых связан с влиянием греческого языка, второй – с татаро-монгольским игом и третий – с царствованием Петра I: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отседе заимлет он гибкость и пра-

вильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей. Г-н Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имевших ни словесности, ни торговли, ни законодательства? Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоя под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования. Таковой же пример видели мы в новейшей Греции. Какое действие имеет на поработанный народ сохранение его языка? Рассмотрение сего вопроса завлекло бы нас слишком далеко. Как бы то ни было, едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык. Войны литовские не имели также влияния на судьбу нашего языка; он один оставался неприкосновенною собственностью несчастного нашего отечества. В царствование Петра I начал он приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла своё влияние и на писателей, в то время покровительствуемых государями и вельможами; к счастью, явился Ломоносов» (Пушкин, 1981, 6: 18–19).

Жизнь автора этих слов совпала с лавинным проникновением в русский язык галлицизмов. Как к ним относился А.С. Пушкин? Двойственно. С одной стороны, в «Евгении Онегине» читаем:

Раскаться во мне нет силы,  
Мне галлицизмы будут милы,  
Как прошлой юности грехи,  
Как Богдановича стихи.

(Пушкин, 1981, 4: 57).

В письме к П.А. Вяземскому поэт писал: «Ты хорошо сделал, что заступился за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас ещё в диком состоянии» (Русские писатели о языке, 1954: 76).

С другой стороны, мы обнаруживаем у А.С. Пушкина решительный протест против вытеснения у дворянства русского язы-

ка французским, за которым, естественно, следует галлицизация первого. В письме к брату он, например, писал: «Сперва хочу с тобой побраниться; как тебе не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо, ты не московская кузина» (там же: 81).

«Грамматика, – считал А.С. Пушкин, – не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи» (Пушкин, 1981, 6: 323).

### **Лингвостилистика**

Вопрос о стилистико-жанровой структуре языка имел для поэта и прозаика А.С. Пушкина практический интерес. Он делил стихотворные жанры на два рода – классический и романтический. По поводу первого из них он писал: «К сему роду должны отнести те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили; следственно, сюда принадлежат: эпопея, поэма дидактическая, трагедия, комедия, ода, сатира, послание, ироида, эклога, элегия, эпиграмма и баснь» (Пушкин, 1981, 6: 23).

«Какие же роды стихотворения должны отнести к поэзии романтической? – блистая эрудицией, писал он далее. – Те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими. Не считаю за нужное говорить о поэзии греков и римлян: каждый образованный европеец должен иметь достаточное понятие о бессмертных созданиях величавой древности. Взглянем на происхождение и на постепенное развитие поэзии новейших народов. Западная империя клонилась быстро к падению, а с нею науки, словесность и художества. Наконец она пала; просвещение погасло. Невежество омрачило окровавленную Европу. Едва спаслась латинская грамота; в пыли книгохранилищ монастырских монахи соскребляли с пергамента стихи Лукреция и Вергилия и вместо их писали на нём свои хроники и легенды. Поэзия проснулась под небом полуденной Франции... Трубадуры играли рифмою, изобретали для неё всевозможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы: явились *virelai*, баллада, рондо, сонет и проч.» (там же).



Особый интерес у А.С. Пушкина был к оде. Он анализировал её на примере од М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина. Его критика была суровой. Так, по поводу ломоносовских од он писал: «Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев... утомительны и надуты... Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности – вот следы, оставленные Ломоносовым» (Русские писатели о языке, 1954: 104–105). Не менее нелюбезно звучит пушкинская критика и в адрес од Г.Р. Державина: «Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы... Читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом» (там же: 105).

В связи с работой над трагедией «Борис Годунов» А.С. Пушкин размышлял о драматических жанрах – в особенности о трагедии. Он различал три типа трагедии – шекспировскую, расиновскую (придворную) и народную. Свою трагедию он написал в народном стиле. Он противопоставлял её расиновской: «Трагедия наша, образованная по примеру трагедии Расиновой, может ли отвыкнуть от аристократических своих привычек? Как ей перейти от своего разговора, размеренного важного и благопристойного, к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади... как обойтись без правил, к которым она привыкла, насильственного принорования всего русского ко всему европейскому, где, у кого выучиться наречию, понятному народу?» (там же: 100). Вот она – народность – аристократа А.С. Пушкина!

### Переводоведение

А.С. Пушкин называл переводчиков «почтовыми лошадьми просвещения» (Пушкин, 1981, 6: 322). Основную трудность в переводческой деятельности он усматривал в невозможности буквального перевода. В статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе “Потеряного рая” (1836)» А.С. Пушкин указывал: «Переводчик должен стараться передавать дух, а не букву» (Пушкин, 1981, 6: 302). Вот почему он был против буквального, дословного перевода – слово в слово. Он приводит в связи с этим такие примеры: «Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык

имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами. Возьмём первые фразы: *Comment vous portez-vous; How do you do.* Попробуйте перевести их слово в слово на русский язык» (Пушкин, 1981, б: 309).

Имея в виду в первую очередь большую гибкость в изменении словопорядка, имеющуюся в русском языке по сравнению с французским, А.С. Пушкин писал: «Если уже русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам, не способен к переводу подстрочному, к предложению слово в слово, то каким образом язык французский, столь осторожный в своих привычках, столь пристрастный к своим преданиям, столь неприязненный к языкам, даже ему единоплеменным, выдержит таковой опыт, особенно в борьбе с языком Мильтона сего поэта, всё вместе и изысканного и простодушного, тёмного, запутанного, выразительного, своенравного и смелого даже до бессмыслия?» (там же). Вот почему он выносит дословному шатобриановскому переводу суровый приговор: «Перевод “Потерянного Рая” есть торговая спекуляция. Первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения, бывший некогда первым министром, несколько раз посланником, Шатобриан на старости лет перевёл Мильтона для куска хлеба» (там же).

Итак, мы увидели в нашем поэтическом гении человека в высшей степени образованного в области лингвистической науки. Кажется, и здесь ему не было равных среди знаменитых художников слова. А.С. Пушкин рассматривал язык сквозь призму культуры. Вот почему в его лингвистических воззрениях господствует лингвокультурологизм. Последний позволил ему высказать идеи, по крайней мере, в пяти областях лингвокультурологии – лингвоэстетике, лингвоэтике, лингвистической политологии, лингвостилистике и переводоведении. Эти идеи не утратили своей свежести до сих пор.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Пушкин А.С.* Собрание сочинений: в 10 т. Т. 1. Стихотворения 1813–1824 (Юг). – М.: Правда, 1981.

2. *Пушкин А.С.* Собрание сочинений: в 10 т. Т. 4. Евгений Онегин. Роман в стихах. – М.: Правда, 1981.

3. *Пушкин А.С.* Собрание сочинений: в 10 т. Т. 6. Критика и публицистика. – М.: Правда, 1981.

4. Русские писатели о языке (XVIII–XX вв.) / под ред. Б.В. Томашевского и Ю.Д. Левина. – Л.: Советский писатель, 1954.

*Литературная учёба. – 2009. – № 5. С. 103–111.*

## **ЛЕПИЦЫ И НЕЛЕПИЦЫ В КНИГЕ К.И. ЧУКОВСКОГО «ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ»**

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) прожил большую жизнь – 87 лет. Это была жизнь взлётов и падений (1). В памяти большинства его читателей он остался как непревзойдённый сказочник – как автор «Крокодила» и «Тараканища», «Мойдодыра» и «Айболита», «Мухи-Цокотухи» и «Федорина горя», «Краденого солнца», «Телефона» и «Путаницы». Но К.И. Чуковский был ещё и выдающимся филологом – как литературоведом, так и языковедом.

Ещё до революции К.И. Чуковский завоевал себе славу как блестящий литературный критик (2). В 1962 г. за книгу «Мастерство Некрасова» – через девять лет после её издания – ему была присуждена Ленинская премия. В этом же году он получил диплом почётного доктора литературы в Оксфордском университете.

Как тонкий, вдумчивый и профессиональный языковед К.И. Чуковский предстаёт перед нами прежде всего в трёх книгах: «От двух до пяти», «Высокое искусство» и «Живой как жизнь». Цель настоящей статьи – выявить типологию детских неологизмов на материале первой из этих книг. Она переиздавалась и дополнялась автором много раз. Книга разрасталась за счёт всё новых и новых примеров из речи детей, которые присылали её автору их родители со всего Советского Союза. Я буду делать отсылки к её переизданию 1999 г. (3).

Усвоение языка ребёнком К.И. Чуковский считал чудом. В начале книги «От двух до пяти» мы читаем: «...каждый малолетний ребёнок есть величайший умственный труженик нашей планеты, достаточно было бы приглядеться возможно внимательнее

к сложной системе тех методов, при помощи которых ему удаётся в такое изумительно короткое время овладеть своим родным языком, всеми оттенками его причудливых форм, всеми тонкостями его суффиксов, приставок и флексий. Хотя это овладение речью происходит под непосредственным воздействием взрослых, всё же оно кажется мне одним из величайших чудес детской психической жизни» (З: 272).

К.И. Чуковский учил видеть в детской речи не только результат подражания взрослому языку, но и плоды самостоятельного творчества. Он писал: «У двухлетних и трёхлетних детей такое сильное чутье языка, что создаваемые ими слова отнюдь не кажутся калекками или уродами речи, а, напротив, очень метки, изящны, естественны: и “сердитки”, и “духлая”, и “красавлюсь”, и “всехный» (там же).

Слова, созданные детьми, К.И. Чуковский делил на две группы – уже имеющиеся в языке и отсутствующие в нём. К первой группе относятся, например, слова «пулять», «никчемный», «обутки» и т.п. Изобретая их, ребёнок не подозревает, что они уже имеются в языке. Он пересоздаёт их заново (З: 272–273). Однако большую часть детских слов составляют подлинные неологизмы – слова, отсутствующие в языке. В этом случае мы имеем дело с настоящими детскими неологизмами.

К.И. Чуковский не даёт в своей книге классификации детских неологизмов. Опираясь на огромное число примеров, помещённых в ней, мы можем, тем не менее, выделить четыре их типа – словообразовательные, лексические, морфологические и синтаксические. Последний, синтаксический, тип представлен единичными случаями (например, употребление моновалентного глагола «плакать» в значении бивалентного: «Я плачу не тебе, а тётке Симе»). Вот почему в поле нашего внимания попадут только словообразовательные, лексические и морфологические типы детских неологизмов.

### **Словообразовательные неологизмы**

Детский словообразовательный неологизм – это новое слово, созданное ребёнком. В книге «От двух до пяти» мы обнаруживаем три разновидности детских словообразовательных неологизмов. Назовём их этимологическими, омонимическими и аналогическими.

**Этимологические неологизмы.** Уже маленький ребёнок способен к словообразовательному анализу. Он, например, хорошо осознаёт, что «*домище*» – это очень большой дом, а «*улочка*» – очень маленькая улица. Но как ему осмыслить слова, которые не поддаются словообразовательному анализу? Он действует так же, как и взрослые, использующие механизм народной этимологии: вазелин превращает в «*мазелин*», помаду – в «*помазу*», компресс – в «*моккесс*», термометр – в «*теплометр*», петлю – в «*цеплю*» (от «*цеплять*»), ртуть – в «*вертутию*» (от «*вертится*»), бормашину – в «*больмашину*», сухарик – в «*кусарик*», парикмахера – в «*вихрахе-ра*», валерьянку – в «*болерьянку*», вентилятор – в «*вертилятор*», паутину – в «*паукину*», пружинку – в «*кружинку*», буравчик – в «*дыравчик*», милиционера – в «*улицонера*», экскаватор – в «*песковатор*», рецепт – в «*прицепт*» (потому что прицепляется к аптечной бутылке), ватрушку – в «*творушку*» (от «*творог*») и т.д.

О необыкновенной словообразовательной активности малолетних детей ярко свидетельствует их этимологическая придирчивость. Многих из них не устраивает этимология некоторых слов. Более того, в своей критике взрослого языка они доходят до желания заменить имеющиеся слова, словообразовательная природа которых их не устраивает, на более, с их точки зрения, удачные.

«– Почему ручей? Надо бы журчей. Ведь он не ручит, а журчит.

– Почему ты говоришь: тополь? Ведь он же не топаёт.

– Почему ты говоришь: ногти! Ногти у нас на ногах. А которые на руках – это рукти.

– Почему ты говоришь: рыба клюет? Никакого клюва у ней нет.

– Почему разливательная ложка? Надо бы наливательная.

– Почему перочинный нож? Надо бы оточительный. Никакие перья я им не чиною» (З: 313).

К.И. Чуковский настаивал на том, что словообразовательная придирчивость – характерная черта всех малышей: «Нет ребёнка, который в известный период своего духовного роста не задавал бы подобных вопросов. Названный период его жизни характеризуется самым пристальным вглядыванием в конструкцию каждого слова» (там же). Он приводил в связи с этим множество других её примеров. «*Белку*» дети предлагают заменить на «*рыжку*», «*бодает*» – на

«рогает», «синяк» – на «красняк», «перчатки» – на «пальчатки», «полозья» – на «повозья», «самовар» – на «мамовар» и т.д.

**Омонимические неологизмы.** Иногда ребёнок создаёт слова, которые случайно совпадают по своей звуковой форме со словами, уже имеющимися во взрослом языке. Иначе говоря, сам того не ведая, он создаёт слова-омонимы. Вот какие примеры мы находим в книге К.И. Чуковского: *гусеница* вместо *гусыня*, *любовница* («Бабушка! Ты моя лучшая любовница!»), *распутница* («Мама, я такая распутница! И показала верёвочку, которую ей удалось распутать»), *Макарона* вместо *Макаровна* («Жил-был пастух, его звали Макар. И была у него дочь Макарона»); *кочегарка* (жена кочегара), *судак* (подсудимый); *насупиться* (наестся супа) и т.п.

**Аналогические неологизмы.** Данный вид детских словообразовательных неологизмов является самым многочисленным. Разобьём их на три группы – существительные, прилагательные и глаголы.

Существительные: *стрекозёл* (муж стрекозы); *шишенята* («Вы и шишку польёте?» – «Да». – «Чтобы выросли шишенята?»); *спун* («Какой ты страшный спун! Чтобы сейчас было встало!»); *почтаник* (почтальон); *сердитки* (морщинки); *смеяние* («Мне аж кисло во рту стало от баловства, от смеяния»); *тормозило* (тормоз); *ползук* (червяк, по аналогии с «жук» или «паук»); *обувало* (обувь); *брызгань* («Мы хорошо купались. Такую брызгань подняли!»); *учило* (учебник); *солныца* (солонка); *ещё* (Двухлетнюю Сашу спросили: «Куда ты идёшь?» – «За песочком». – «Но ты уже принесла». – «Я иду за ещём») (3: 278). И т.д.

Прилагательные: *никовойная* («Я мамина и больше никовойная»); *пахлая, духлая* (Лялечку побрызгали духами: «Я вся такая пахлая. Я вся такая духлая»); *всехний* (Я зажёл для детей костёр. Издали солидно подползла двухлетняя соседская девочка: «Это всехний огонь?» – «Всехний, всехний! Подходи, не бойся!») (3: 271)); *баюльная* (колыбельная, от «баю»); *окошный* («Какой окошный дом!») и т.д.

Глаголы: *красавиться* (И вертится у зеркала: «Я, мамочка, красавлюсь!») (3: 269); *нанитывать* бусы (по аналогии с *нанизывать* на нитку); *копытнуть* (ударить копытом); *налужить* (о дожде); *распакетить*; *отсониться* («Погоди, я ещё не отсонилась»); *залошадить* («Весь мост залошадило»); *углазиться* («На что это ты так углазилась?»); *поломыть* (пол мыть); *не божемойкать* (не говорить

«*Боже мой!*»); *оцыплятятся* («*Наседка оцеплятилась!*»); *высолить*; *вытрудить*; *отпомнить*; *отпачкать*; *расгащиваться*; *притонуть*, *вытонуть* (о кукле в ванне); *отмухиваться* («*Я сжусь и отмухиваюсь!*») и т.д.

Глагольное словотворчество автор книги «От двух до пяти» считал у детей более продуктивным, чем субстантивное: «Так велико у детей тяготение к глаголу, что им буквально не хватает глаголов, существующих во “взрослом” языке. Приходится создавать свои собственные. Нет, кажется, такого существительного, которое ребёнок не превратил бы в глагол:

– Часы часикают.

– Вся ёлка обсвечкана! Вся елка обсвечкана!

Брат трехлетней Нины играет на балалайке. Нина страдальчески морщится:

– Не балалай, пожалуйста!

Ребёнок создает такие глаголы десятками – гораздо чаще, чем мы.

Прищемив себе руку дверью, ребенок кричит:

– Ай, я задверил руку!

И пусть родителей коробит это смелое производство глагола, ребёнок считает его совершенно нормальным.

– Отскорлупай мне яйцо.

– Замолоточь этот гвоздик.

– Бумага откнопкалась.

– Я защёкала свою карамельку!

– Ого-го, как ладошкаются!

– Ой, меня крапива накрапивила!

– Я намакаронился.

– Я уже начаепился.

И даже:

– Мы почайпили кофе.

Иногда оглаголивается даже наречие.

– Расширокайтесь!.. Расширокайтесь! – кричала своим гостям четырёхлетняя девочка, требуя, чтобы они расступились» (3: 291).

К.И. Чуковский без конца поёт в своей книге дифирамбы детскому словотворчеству. Можно смело сказать, что в детской речи он черпал вдохновение для своих сказок. Вот почему он так ценил удачные детские слова. Вот что он писал, например, о слове «пере-

*лай*»: «Ни в чём не сказывается с такой очевидностью лингвистическая чуткость и одарённость ребёнка, как именно в том, что он так рано постигает все многообразные функции, выполняемые в родном языке каждой из этих мелких и незаметных частиц. Ребенок впервые очутился на даче. На соседних дачах и справа и слева лают весь вечер собаки. Он с удивлением спрашивает:

– Что это там за перелай такой?

Этот перелай (по аналогии со словами *переключка*, *переписка*, *перебранка*, *перепляс*, *перезвон*) отлично изобразил то явление, которое подметил ребёнок: прерывистость и “обоюдность” собачьего лая. Чтобы объяснить “*перелай*” иностранцу, пришлось бы прибегнуть к такой многословной описательной речи: лают две собаки (или больше) с двух противоположных сторон, причем не сразу, а попеременно – едва умолкает одна, тотчас же принимается лаять другая: *перелай*. Вот сколько понадобилось бы слов, чтобы выразить то, что ребенок высказал единственным словом с короткой приставкой» (З: 298).

А вот что К.И. Чуковский пишет о слове «*нырьба*»: «Или, например, слово *нырьба*. Ребёнок создал его лишь потому, что не знал нашего взрослого слова “*ныряние*”. Купаясь в ванне, он так и сказал своей матери:

– Мама, скамандуй: “К *нырьбе* приготовиться!”

*Нырьба* – превосходное слово, энергичное, звонкое; я не удивился бы, если бы у какого-нибудь из славянских племен оказалось в живом обиходе слово *нырьба*, и кто скажет, что это слово чуждо языковому сознанию народа, который от слова *ходить* создал слово *ходьба*, от слова *косить* – *косьба*, от слова *стрелять* – *стрельба*» и т.д. (З: 273).

### Лексические неологизмы

Существует два лексических способа словообразования – метафоризация и метонимизация. В первом случае слово появляется в языке за счёт его переносного употребления по сходству обозначаемых предметов, а во втором – по смежности. Примеры метафоризации: *шляпка* (у гвоздя), *кулак* (зажиточный крестьянин), *зайчик* (солнечный блик), *слог* (стиль) и т.п. Примеры метонимизации: *галифе*, *ампер*, *вольт*, *рентген* и т.п.



Для малолетних детей характерен первый из указанных способов лексического словообразования – метафоризация. Но подступаются они к нему с осторожностью. Поначалу они оказывают метафоре явное сопротивление. Вот как об этом писал К.И. Чуковский в разделе «Против метафор»: «Пожалуешься, например, при ребёнке:

– У меня сегодня ужасно трещит голова!

А ребенок насмешливо спросит:

– Почему же не слышно треска?

И тем подчеркнёт своё отрицательное отношение к странной (для него) манере взрослых выражать свои мысли метафорами, столь далёкими от подлинных реальностей жизни» (3: 317).

Другие примеры: «Спрашивают его о сестре:

– Что же это твоя Иришка с петухами ложится?

– Она с петухами не ложится – они клюются: она одна в свою кроватку ложится.

– Вот зимой выпадет снег, ударят морозы...

– А я тогда не выйду на улицу.

– Почему?

– А чтоб меня морозы не ударили» (3: 324).

Особое сопротивление ребёнок оказывает фразеологизмам, построенным на метафоре. Ему кажутся дикими, например, такие устойчивые словосочетания, как «*собаку съест*» или «*денег куры не клюют*». Он понимает их в прямом смысле: «Когда же он услышал, что пришедшая в гости старуха “*собаку съела*” на каких-то делах, он спрятал от неё своего любимого пса... Про какого-то доктора большие говорили в присутствии Мити, что денег у него куры не клюют. Когда Митю привели к этому богатому доктору, он, конечно, сейчас же спросил:

– А где у тебя твои куры?» (3: 322; 324).

Вот как объяснял своё неприятие метафоры один мальчик: «Правда, в конце концов у детей создается привычка к нашим “взрослым” идиомам и метафорам, но эта привычка вырабатывается не слишком-то скоро, и любопытно следить за различными стадиями её возникновения и роста. Приведу один очень характерный пример. В семье заговорили о новой квартире, и кто-то сказал, что её окна выходят во двор. Пятилетний Гаврик счёл необходимым заметить, что окна из-за отсутствия ножек не могут ходить по дво-

рам. Но произнёс он это свое возражение без всякой запальчивости, и было видно, что для него наступил тот период языкового развития, когда дети начинают примиряться с метафоричностью наших “взрослых” речей» (З: 315).

Постепенно ребёнок созревает до осознания метафоры. Он становится автором собственных метафор. Подчас они выглядят очень неожиданными. Вот лишь некоторые примеры: паровоз *купается*, голова *босиком* (о лысине), брюки *нахмурились*, ноги *толстопузые* («Ой, мама, какие у тебя *толстопузые* ноги!»), *как сесть на примус* (жарко) и т.п.

А вот уж и совсем нечто странное: «Когда же вы со мной поиграете? Папа с работы – и сейчас же за книгу. А мама – *барыня* какая! – сразу стирать начала» (З: 269).

### Морфологические неологизмы

Если при создании словообразовательных неологизмов мы имеем дело с образованием новых слов, то при создании морфологических неологизмов – с созданием необычных морфологических форм того или иного слова. Эти словоформы языковеды называют гиперкорректными (сверхправильными). Так, английские дети вместо неправильных глаголов употребляют правильные (вместо *went* «шел» – *goed*; вместо *did* «делал» – *doed*; вместо *thought* «думал» – *thinked* и т.п.). В русском языке можно услышать такие детские гиперкорректизмы, как «*идил*» (*шёл*), «*плохее*» (*хуже*), «*хорошее*» (*лучше*) и т.п.

О чём говорит наличие гиперкорректизмов в речи ребёнка? О его языковой активности, поскольку он творчески применяет языковые модели по отношению к конкретным речевым образованиям. Правда, при этом он не учитывает исключений из правил. Вот почему на место неправильной формы он может поставить правильную. Она оказывается сверхправильной (гиперкорректной).

Очень доступно объяснил механизм создания морфологических неологизмов К.И. Чуковский. Он писал: «Конечно, многие неологизмы ребёнка нередко свидетельствуют лишь о его неспособности освоить на первых порах те или иные отклонения от норм грамматики, свойственные общепринятой речи. Иное “созданное” ребёнком речение, кажущееся нам таким самобытным, возникло, в сущности,

лишь потому, что ребенок слишком прямолинейно применяет к словам эти нормы, не догадываясь ни о каких исключениях» (3: 279).

В анализируемой книге К.И. Чуковского мы встречаем два ярких случая употребления морфологических неологизмов (гиперкоррективизмов):

1) приписывание мужского рода существительным, которые в литературном языке его не имеют («Синица – тетёнька, а дяденька – синиц»; «Женщина – русалка. Мужчина – русал») (3: 302);

2) создание сравнительной степени от слов, которые её не имеют. Например:

– Мне сам папа сказал...

– Мне сама мама сказала...

– Но ведь папа *самее* мамы... Папа гораздо *самее*.

Другой пример: «Юра с гордостью думал, что у него самая толстая няня. Вдруг на прогулке в парке он встретил ещё более толстую.

– Эта тетя *заднее* тебя, – укоризненно сказал он своей няне» (3: 270).

При создании собственных слов и словоформ ребёнок заявляет о себе как о творческой языковой личности. Он смело врывается в безбрежную стихию родного языка, и она ему оказывается подвластной. Разумеется, не следует забывать о том, что на детское словотворчество влияет не только творческий фактор, но и подражательный. К.И. Чуковский определил соотношение между ними очень точно. Он писал: «Конечно, когда мы говорим о творческой силе ребёнка, о его чуткости, о его речевой гениальности, мы, хотя и не считаем этих выражений гиперболами, всё же не должны забывать, что (как уже сказано выше) общей основой всех названных качеств является подражание, так как всякое новое слово, создаваемое ребенком, творится им в соответствии с нормами, которые даны ему взрослыми. Но копирует он взрослых не так просто (и не так послушно), как представляется иным наблюдателям» (3: 278).

Вот какие временные рамки творческой активности ребёнка в освоении языка установил К.И. Чуковский: «Вообще мне кажется, что начиная с двух лет всякий ребенок становится на короткое время гениальным лингвистом, а потом, к пяти-шести годам, эту гениальность утрачивает. В восьмилетних детях её уже нет и в помине, так как надобность в ней миновала: к этому возрасту ребёнок уже

полностью овладел основными богатствами родного языка. Если бы такое чутье к словесным формам не покидало ребенка по мере их освоения, он уже к десяти годам затмил бы любого из нас гибкостью и яркостью речи. Недаром Лев Толстой, обращаясь ко взрослым, писал: «(Ребенок) сознает законы образования слов лучше вас, потому что никто так часто не выдумывает новых слов, как дети» (З: 278).

Более того, в возрасте до пяти лет, по мнению того же Л.Н. Толстого, ребёнок приобретает такой объём знаний и умений, которые он не приобретает за всю оставшуюся жизнь. Вот эти слова великого мыслителя, которые цитирует в своей книге К.И. Чуковский: «Разве не тогда я приобретал всё то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего страшное расстояние» (З: 329).

Теперь нам понятно, почему свою книгу о детском языковом творчестве К.И. Чуковский назвал «От двух до пяти». Именно в эти годы ребёнок «становится гениальным лингвистом». Именно в эти годы он щедро одаривает своих близких неологизмами собственного сочинения. К.И. Чуковский назвал их словами-однодневками. Он писал: «Всё это слова-экспромты, слова-однодневки, которые и не притязали на то, чтобы внедриться в язык, войти в общий речевой обиход, сделаться универсально пригодными. Созданные для данного случая, они чаще всего культивировались в домашних разговорах, в частных письмах, в шуточных стихах и умирали тотчас же после своего появления на свет» (З: 294).

Эти слова не совсем справедливы. Они верны для тех детских неологизмов, которым была уготована короткая жизнь. Но они несправедливы по отношению к тем неологизмам, которые обессмертил в своей прекрасной книге «От двух до пяти» её мудрый автор.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Лукьянова И.В. Корней Чуковский. – М.: Молодая гвардия, 2006.
2. Чуковский К.И. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6. Статьи. – М.: Художественная литература, 1969.
3. Чуковский К.И. Стихи и сказки. От двух до пяти. – М.: Планета детства, 1999.

*Литературная учёба. – 2010. – № 1. – С. 164–171.*

## О ГРАММАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ЛЕКСИКОЛОГИИ

О включении лексикологии в грамматику мне приходилось писать неоднократно (Даниленко 1992; 2003; 2007), но отсюда вовсе не следует, что в результате вопрос о включении лексикологии в число грамматических дисциплин сдвинулся с мёртвой точки. Общепринятой остаётся точка зрения, в соответствии с которой лексикология противопоставляется грамматике. Настоящее выступление – новая попытка объяснить живучесть традиционного подхода к его решению и обосновать необходимость его пересмотра.

Живучесть традиционного взгляда, в соответствии с которым лексикология не включается в состав грамматических дисциплин, объясняется историографически. На установление традиционных представлений о дисциплинарной структуре грамматики решающее влияние оказала александрийская филология. В «Грамматическом искусстве» Дионисия Фракийского и «Синтаксисе частей речи» Аполлония Дискола лексикологии не нашлось места. Бесспорный грамматический статус в европейском языкознании в дальнейшем приобрели только две дисциплины – морфология и синтаксис. В Новое время мы обнаруживаем новых претендентов на грамматический статус. Так, авторы знаменитой грамматики Пор-Рояля (1660) сочли необходимым включить в свой учебник не только морфологию и синтаксис, но и фонетику. Последнюю мы нередко находим и в современных грамматиках (например, в академических грамматиках русского языка). В современных грамматиках, кроме морфологии и синтаксиса, как правило, присутствует и словообразование, процесс отчленения которого от морфологии длился в нашей науке чрезвычайно долго – приблизительно со второй половины XVIII до середины XX в. Что же касается лексикологии, то и до сих пор подавляющее большинство лингвистов ничуть не сомневается в отсутствии у неё грамматического статуса (о становлении дисциплинарной структуры грамматики в Европе см. подр.: Даниленко 1992).

Вопрос о включении лексикологии в грамматику забрезжил на лингвистическом горизонте в начале XX в. За положительное его решение в это время выступили два светоча лингвистической мысли – Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ и Фердинанд де Соссюр. Первый из них, в частности, писал в 1904 г.: «Лексиколо-

гия, или наука о словах, как *отдельная ветвь грамматики* (курсив мой. – В.Д.) будет творением XX в.» (Бодуэн де Куртенэ 1973: 396).

В свою очередь, Ф. де Соссюр в седьмой главе своего «Курса общей лингвистики» (1916), названной «Грамматика» и её разделы», писал: «Наше определение не согласуется с тем более узким определением, которое обычно даётся грамматике. В самом деле, под этим названием принято определять *морфологию* и *синтаксис*, а *лексикология* – иначе, наука о словах – из грамматики исключается вовсе» (Соссюр 1977: 167). А на следующей странице Ф. де Соссюр задаёт вопрос: «...логично ли исключать лексикологию из грамматики?». Он ответил на него отрицательно.

Если И.А. Бодуэн де Куртенэ и Ф. де Соссюр лишь теоретически поставили вопрос о необходимости включения лексикологии в грамматику, то Вилем Матезиус и Лео Вайсгербер на практике ввели лексикологию в свои грамматики (Mathesius 1961; Weisgerber 1962). При этом они исходили из разных оснований: первый исходил из периодизации речевой деятельности говорящего, а другой – из полевого подхода к организации языковой системы.

Принцип языкового поля Л. Вайсгербер считал межуровневым. Во всяком случае, он распространял его на четыре грамматических дисциплины – лексикологию, словообразование, морфологию и синтаксис. Но лексикология была поставлена им на первое место, поскольку на уровне лексики этот принцип заявляет о себе в наиболее яркой форме. Вот почему главное внимание в грамматических трудах Л. Вайсгербера уделялось полям лексическим, а не словообразовательным, морфологическим или синтаксическим (см., в частности: Вайсгербер 1993). Лексикология, построенная на основе принципа системно-языкового поля, выступает в грамматике Л. Вайсгербера, которую он назвал «ориентированной на содержание» (*inhaltbezogene*), в качестве ведущей дисциплины.

В. Матезиус избрал иной путь для органичного введения лексикологии в состав грамматики. Он исходил здесь из ономаσιологического («функционального») подхода. По его глубокому убеждению, в основе дисциплинарной структуры грамматики должна лежать периодизация речевой деятельности говорящего, направленная на построение нового предложения. Именно в такой периодизации он видел системообразующее начало в решении вопроса о дисциплинарной структуре грамматики. В самых общих чертах

он поделил фразообразовательную деятельность говорящего на два акта. Он писал: «Один из этих актов (номинативный. – В.Д.) заключается в том, что из конкретной или абстрактной действительности отбираются отрезки с той целью, чтобы, во-первых, именно на них сосредоточилось внимание будущего говорящего и, во-вторых, чтобы их удалось закрепить словарным составом языка, о котором идет речь. Второй (синтаксический. – В.Д.) акт состоит в том, что языковые знаки, обозначающие отобранные отрезки действительности, вступают во взаимодействие друг с другом, в результате чего образуется органическое целое – предложение» (Матезиус 1967: 227). Исходя из данных фразообразовательных актов, В. Матезиус и построил свою систему ономаσιологической («функциональной») грамматики, в составе которой органичное место принадлежит лексикологии (Mathesius 1961).

В русском языкознании на решение вопроса о дисциплинарном статусе лексикологии оказали решающее влияние Л.В. Щерба и В.В. Виноградов. Оба они были против включения лексикологии в грамматику. На попытку И.И. Мещанинова присвоить лексикологии грамматический статус В.В. Виноградов, в частности, отреагировал следующим образом: «Сама по себе мысль о тесной связи грамматики и словаря не нова» (Виноградов 1947: 5). Между тем И.И. Мещанинов говорил вовсе не о «тесной связи грамматики и словаря», а о полном включении лексикологии в грамматику. Он был против изъятия лексикологии из грамматики. Вот его слова по этому поводу: «Учение о слове, выделяемое в особый отдел (лексикология), не может быть изъято из грамматического очерка. Нельзя учение о формальной стороне слова с его значимыми частями (морфемами) отделять от учения о значимости самого слова... Изъятие лексикологии из грамматического очерка вредно отражается и на историческом понимании языковых категорий» (там же).

Усилия И.А. Бодуэна де Куртене, Ф. де Соссюра, Л. Вайсгербера, В. Матезиуса, И.И. Мещанинова, направленные на включение лексикологии в грамматику, остаются актуальны до настоящего времени, поскольку в общепринятом мнении лексикология и до сих пор противопоставляется грамматике большинством лингвистов.

В своих работах при решении обсуждаемой проблемы я исходил из речевой деятельности говорящего, направленной на построение нового слова и нового предложения. Общее представление о

дисциплинарной структуре грамматики при таком подходе можно изобразить так:



В состав грамматики включается словообразование и фразообразование. Первая из этих дисциплин исследует вопросы, связанные с созданием новых слов, а вторая – с созданием новых предложений. В состав фразообразования, в свою очередь, включаются лексикология, морфология и синтаксис. Первая из этих дисциплин направлена на изучение лексического периода фразообразования, состоящего в отборе лексем для создаваемого предложения. Морфология исследует проблемы, связанные с новым периодом фразообразования, в процессе которого осуществляется перевод лексических форм слова (лексем), отобранных говорящим в первый период фразообразования, в его морфологические формы. Синтаксис, наконец, изучает заключительный период фразообразования, результатом которого является готовое предложение.

В предложенной мною дисциплинарной структуре грамматики лексикология находит вполне органичное место: она связана с тем периодом в деятельности говорящего, когда он лишь отбирает слова для создаваемого предложения. Он отбирает их в грамматически исходной (лексической) форме (*заяц, бежать, поляна*). Пропущенное через горнило морфологизации и синтаксизации, создаваемое предложение становится сформированным (*Заяц бежит по поляне*).

Если мы будем исходить из данного представления о дисциплинарной структуре грамматики, вопрос об исключении лексикологии из грамматики выглядит нелепым. В самом деле, предметом лексикологии является лексика, которая и выступает в акте фразообразования в качестве строительного материала для создаваемого предложения. Можем ли мы построить хоть одно предложение без лексического материала? Не можем. Можем ли мы в таком случае



исключать лексикологию из грамматики, если в её предметную область входит предложение? Не можем.

Исключение лексикологии из грамматики наводит нас на такие параллели: изучать предложение, предварительно опустошив его от его лексического материала (т.е. игнорируя первый, лексический, период в построении нового предложения) – всё равно, что при оценке той или иной пищи не принимать во внимание продукты, из которых она приготовлена; всё равно, что при выборе той или иной одежды игнорировать вид ткани, из которой она сшита; всё равно, что при описании того или иного жилища считать излишним учитывать вид материала (дерево, кирпич и т.п.), из которого оно построено. Подобные параллели можно было бы и продолжить, но уже и этих достаточно, чтобы понять, что в нашей науке сохраняется нелепая ситуация, которая позволяет выбрасывать из грамматики её самую что ни на есть органичную часть – лексикологию.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Бодуэн де Куртене И.А.* Языкознание, или лингвистика, XIX века // Хрестоматия по истории русского языкознания / сост. Ф.М. Березин. – М.: Высшая школа, 1973.
2. *Вайсгербер Л.* Родной язык и формирование духа. – М.: Изд-во МГУ, 1993.
3. *Виноградов В.В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.; Л.: Учпедгиз, 1947.
4. *Даниленко В.П.* Дисциплинарная структура грамматики // Филологические науки. – 1992. – № 3. С. 68–78.
5. *Даниленко В.П.* Общее языкознание: курс лекций. – 2-е изд. – Иркутск: ИГЛУ, 2003.
6. *Даниленко В.П.* История русского языкознания. – 2-е изд. – Иркутск: ИГЛУ, 2003.
7. *Даниленко В.П.* Ономаσιологическое направление в грамматике. – 2-е изд. – М.: ЛКИ (УРСС), 2007.
8. *Матезиус В.* О системном грамматическом анализе // Пражский лингвистический кружок / под ред. Н.А. Кондрашова. – М.: Прогресс, 1967.
9. *Соссюр Ф.* Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977.
10. *Mathesius V.* Obsahový rozbor současne angličtiny na základě obecně lingvistickém. – Praha: Academia, 1961.
11. *Weisgerber L.* Grundzüge einer inhaltbezogenen Grammatik. – Düsseldorf: Schwan, 1962.

*Лингвистические парадигмы и лингводидактика. Ч. 1 / под ред. Г.М. Костюшкиной. – Иркутск, 2005. С. 33–39.*

---

## 7. МЕТОД ЯЗЫКОВОГО ПОЛЯ И КОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА

---

Термин «поле» (Feld) употреблял в статье «Система языковедения» К.В.Л. Хайзе ещё в 1856 г. В XIX в. его употребляли также Э. Тегнер, К. Абель и др. (Радченко О.А. Язык как мирозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. Т. 1. – М., 1997. С. 221), однако современное звучание он приобрёл благодаря книге «Немецкий словарь в смысловой сфере разума» Йоста Трира (1928). Он писал в ней: «Целесообразно во всех лингвистических исследованиях, связанных со смысловыми сферами более высокого порядка, исходить не из отдельного слова или отдельного понятия, а из того, что можно назвать лексическим полем (Wortfeld), то есть из совокупности всех принадлежащих к той же смысловой сфере слов» (там же. С. 227). В другом месте он писал: «Мы набрасываем лексическую сетку на то, что нами лишь смутно и комплексно ощущается, чтобы уловить его, упорядочивая, и обладать им в виде отграниченных понятий. Понятийное формирование при помощи слова есть процесс упорядочивающего прояснения исходя из единого целого» (там же. С. 228).

У Й. Трира, как видим, речь идёт только о лексических полях, под которыми он понимал ту или иную группу слов, объединённых тем или иным значением. Лексическая система языка может быть представлена как система лексических полей. Мы можем выделить в ней такие глобальные поля, как поле физиосферы, биосферы, психосферы и культуросферы, внутри которых представлена своя система лексических полей. Так, в пределах поля биосферы могут быть обнаружены поля, связанные с обозначением разных видов растений и животных, а в пределах психосферы – поля разума и чувств. В конечном счёте всю лексику мы можем представить в виде системы лексических полей, находящихся по отношению друг к другу в родо-видовых отношениях.

Но в современной лингвистике исследуют не только лексические поля, но также поля словообразовательные, морфологические и синтаксические. Однако изобразительные возможности такого рода полей не идут в сравнение с лексическими полями, поскольку

число лексических единиц в любом языке преобладает над числом других единиц языка. Вот почему система морфологических полей, например, даже в языках с развитой морфологией, способна изобразить мир в очень абстрактном виде. Тем не менее термин «поле» некоторые лингвисты употребляют не только по отношению к лексическим полям, но и по отношению к единицам других языковых уровней. К таким лингвистам, например, относится А.В. Бондарко.

Чтобы подчеркнуть межуровневую природу языкового поля, А.В. Бондарко ввёл термин «*функционально-семантическое поле*» (ФСП). Он стал понимать под ним тот комплекс языковых средств, который связан с выражением некоторого однотипного содержания. Я называю этот комплекс межуровневой содержательной структурой языка. Правда, А.В. Бондарко даёт чересчур усложненное определение ФСП. В «Теории морфологических категорий» (М., 1976) он писал: «Функционально-семантические поля – это языковые группировки, которым присущи следующие черты:

1) наличие у языковых средств, входящих в данную группировку, общих инвариантных семантических функций;

2) взаимодействие не только однородных, но и разнородных элементов – грамматических и лексических;

3) структура, в которой определяющую роль играют следующие признаки:

а) членение “*центр (ядро) – периферия*”;

б) постепенные переходы между компонентами данной группировки и разными группировками, частичные пересечения, “общие сегменты”» (с. 204).

Такое сложное определение ФСП А.В. Бондарко дал не случайно. Дело в том, что «уже начинает проявляться «мода на поля» в нашей науке» (с. 223). Она приводит к чересчур небрежному употреблению термина «поле» в лингвистике – и по отношению к частям речи, и по отношению к членам предложения и т.д. Вот почему А.В. Бондарко дал такое обстоятельное определение этому понятию, выделив в нём в конечном счёте четыре признака.

Первый признак ФСП – «общность семантических функций». Он означает, что разноуровневые средства языка, составляющие то или иное ФСП, объединяются определённой семантической категорией (функцией). Например, все средства, входящие в ФСП времени, объединяет семантическая категория темпоральности.

Значение темпоральности охватывает все единицы этого поля. Вот почему оно является общим (всеохватывающим, сквозным, инвариантным). Но общие семантические категории, объединяющие макрополя, делятся на субкатегории, которые объединяют соответственные микрополя. Так, в рамках темпорального поля имеются микрополя прошедшего, настоящего и будущего времени.

Термины «*семантическая категория*» и «*понятийная категория*» нельзя отождествлять, поскольку первый из них применяется по отношению к языку, его семантической стороне, значению, а второй – по отношению к неязыковому мышлению, понятию, идее, отражающей определённый объект. Так, объективное время, которое существует независимо от сознания, может стать основой для соответственной понятийной категории, а последняя переходит в семантическую категорию темпоральности.

Поскольку в разных языках членение времени, как и любой другой категории, осуществляется особой системой средств его выражения, в каждом языке мы имеем дело со специфическими ФСП, в которых универсальные (общезыковые) элементы переплетаются с идиоэтническими. А.В. Бондарко писал: «Функционально-семантические поля – это конкретно-языковые двусторонние единства, план содержания которых включает в себя семантические элементы в интерпретации именно данного языка. Отсюда вытекает “поверхностная” трактовка таких полей. Это не исключает связи с глубинным уровнем: семантические функции, носителями которых являются элементы данного поля, представляют собой поверхностную реализацию определённых глубинных понятийных категорий. Понятийные категории глубинного уровня, с одной стороны, реализуются в вариантах общезначимых, а с другой – в таких вариантах, которые составляют специфическую особенность данного языка или группы языков. Поэтому план содержания определённого поля в изучаемом языке разнороден: здесь переплетаются универсальные и неуниверсальные элементы» (с. 207).

Второй признак ФСП – «взаимодействие явлений, относящихся к разным сторонам языка». Вот как пояснял его сам А.В. Бондарко: «Это свойство отличает их (ФСП. – *В.Д.*) от других разновидностей языковых систем, охватывающих лишь однородные элементы, например, только морфологические или только лексические» (с. 209). Иными словами, ФСП – такая группировка средств,

которая охватывает единицы разных уровней языка – лексического, морфологического и т.д. При этом на уровне речи (а ФСП – принадлежность языковой системы!) даже в одном предложении могут реализоваться единицы, относящиеся к разным языковым уровням, но к одному и тому же полю. Например, в предложении «*Завтра об этом будем говорить*» будущее время передаётся лексически («*завтра*») и морфологически («*будем*»).

Третий признак ФСП – наличие в нём центра и периферии. А.В. Бондарко в анализируемой книге пояснял этот признак на примере ФСП аспектуальности, темпоральности и модальности и тому подобным глагольным категориям. В центре этих полей находятся морфологические средства их выражения, т.е. те, с помощью которых передаются категории вида, времени и наклонения у глагола. На периферии же этих полей находятся неморфологические средства выражения категорий аспектуальности, темпоральности или модальности. Так, время может передаваться и с помощью лексических средств языка: *прежде – теперь – потом, вчера – сегодня – завтра* и т.п.

Четвёртый признак ФСП – отсутствие резких границ между разными полями в языке. Так, нет резкой границы между полями аспектуальности и темпоральности в русском языке.

В книге «Теория морфологических категорий» для её автора был характерен глагольный морфологоцентризм, который выражался в том, что примеры ФСП он брал только те, которые связаны с морфологическими категориями глагола. Однако в более поздних работах он пришёл к общей типологии функционально-семантических полей в русском языке. В книге «Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии» (М., 1983) он выделяет четыре группировки таких полей:

«1. Группировка полей с акциональным (предикативным) ядром, включающая следующие комплексы ФСП:

а) комплекс ФСП аспектуально-темпоральных отношений: аспектуальность, темпоральность, таксис (...таксис, как известно, представляет собой выражение временных отношений между действиями);

б) комплекс ФСП модально-бытийных отношений: группировка модальных полей (объективная и субъективная модальность,

аффирмативность), негативность, повествовательность (вопросительность), бытийность (экзистенциальность);

в) комплекс ФСП акционально-субъектных и акционально-объектных отношений: залоговость (поле, включающее не только выражение активности/пассивности, но и выражение транзитивности/интранзитивности, рефлексивности, взаимности и т.д.), персональность; комплекс двух последних полей относится к области пересечения акциональных полей с предметными (субъектно-объектными); особое положение в группировке ФСП с акциональным ядром занимает поле состояния, связанное со всеми тремя указанными комплексами ФСП, в частности, с аспектуальностью, модальностью и залоговостью.

2. Группировка полей с предметным (субъектно-объектным) ядром: субъектность/объектность (имеются в виду отношения, выражаемые сочетаниями с падежными и предложно-падежными формами...; данное поле включает также выражение одушевлённости (неодушевлённости), определённости/неопределённость...

3. Группировка полей с качественно-количественным (преимущественно атрибутивным) ядром: качественность, количественность..., компаративность, посессивность.

4. Группировка полей с обстоятельственным ядром: поля причины, цели, условия, уступки, следствия, поле сравнения, поле локативности» (с. 41–42).

Я привёл такую длинную цитату из книги А.В. Бондарко потому, что в ней дается целая система ФСП русского языка. Описание этой системы в её конкретной наполненности проводится под руководством А.В. Бондарко сотрудниками сектора функциональной грамматики Института лингвистических исследований РАН.

Мы видим, что в системе ФСП, предложенной А.В. Бондарко, лежат категории, выводимые не только из морфологических категорий (аспектуальность, темпоральность и т.п.), но и из синтаксических категорий (субъектность, объектность и т.п.). Эта система, таким образом, ставит на центральное положение те ФСП, которые охватывают морфологические и синтаксические средства языка. Вот почему имплицитная дисциплинарная структура грамматики у А.В. Бондарко сводится к морфологии и синтаксису. Словообразовательные и лексические поля в типологии ФСП А.В. Бондарко отсутствуют. Но это не значит, что она никак не учитывает нали-

чие словообразовательных и лексических средств языка, которые могут использоваться для выражения семантических категорий, лежащих в её основе. Эти средства занимают периферийное положение по отношению к центральным – морфологическим и синтаксическим. Опираясь на данную систему, А.В. Бондарко и его сотрудники создают свой вариант структурно-ономасиологической грамматики межуровневого типа.

Межуровневость языкового поля объясняется тем, что членение мира может осуществляться не только с помощью слов, но и с помощью других единиц языка. Так, оно может осуществляться с помощью морфем. В акте словообразования оно может осуществляться не только с помощью производящих слов, но и с помощью словообразовательных морфем. Как те, так и другие позволяют членить предмет первичной номинации на определённые фрагменты. Например, при создании слова *«учитель»* говорящий членил предмет первичной номинации с помощью производящего слова *«учить»* и словообразовательной морфемы *«-тель»*.

Членение мира может осуществляться не только с помощью словообразовательных морфем, но также и морфологических. Это происходит в акте фразообразования, заключающемся в построении нового предложения. Если в процессе создания нового слова наряду со словами участвуют словообразовательные морфемы, то в процессе создания нового предложения наряду со словами участвуют морфологические морфемы. С помощью последних говорящий переводит слова, отобранные им для создаваемого предложения, из их лексических форм в морфологические. Морфологические аффиксы (например, нулевая флексия у существительного *«учитель»* или личное окончание у глагола *«размышляет»*) продолжают фрагментацию ситуации, описываемой предложением (например, *«Учитель размышляет»*), которая была начата в лексический период фразообразования, когда говорящий членил эту ситуацию лишь с помощью лексем, т.е. слов, взятых в их исходных формах (*«учитель»* и *«размышлять»*).

Мы видим, таким образом, что членение мира осуществляется не только с помощью слов, но и с помощью морфем – словообразовательных и морфологических. Однако ведущая роль в этом процессе, бесспорно, принадлежит не морфемам, а словам. Морфемы лишь продолжают фрагментацию действительности, начатую с

помощью слов. Первые не могут конкурировать в своих номинативных возможностях со вторыми, поскольку лексических единиц в любом языке неизмеримо больше, чем словообразовательных и морфологических.

Выделение тех или иных лексических, словообразовательных и подобных полей предполагает использование метода компонентного анализа. У этого метода очень глубокие историко-научные корни. В книге А.М. Кузнецова «От компонентного анализа к компонентному синтезу» (М., 1986), вслед за Дж. Лайонзом, утверждается, что истоки компонентного анализа следует искать не у кого-нибудь, а у Г.В. Лейбница, который жил ещё в XVII в. Речь идёт о лейбницевских монадах. Но под монадами немецкий мыслитель имел в виду приблизительно то же самое, что Демокрит называл атомами. Монады Г. Лейбница подобны атомам Демокрита. И в том и в другом случае речь идёт о мельчайших и неделимых частицах. Но между Демокритом и Г. Лейбницем есть разница: у первого речь шла о материальных частицах, а у второго – о нематериальных. Следовательно, последние локализуются в голове. При желании легко увидеть в них мельчайшие элементы языкового значения, которые называют семами, семантическими компонентами, признаками или множителями. Легко, например, увидеть, что значение слова «автобус» состоит из таких сем, как «транспорт», «наземный», «рассчитанный на несколько человек» и т.д.

Но учение о монадах Г. Лейбница лишь с большой натяжкой можно рассматривать в качестве первоисточника компонентного анализа. Считается, что этот метод вошёл в науку в 1956 г. XX в. благодаря книгам двух американских этнолингвистов – У. Гуденафа и Ф. Лаунсбери (см. указ. кн. на с. 9). Первому из них принадлежит и сам термин «компонентный анализ» (*componential analysis*). Но вряд ли с этим мнением можно согласиться. Всё дело в том, что компонентный анализ – инструмент, с помощью которого создаётся языковое поле. А метод поля стали активно применять в своих исследованиях ещё в 20–30-х годах XX в. Й. Трир и Л. Вайсгербер. Уже они не могли не пользоваться методом компонентного анализа.

Метод поля и метод компонентного анализа – близнецы-братья. В этом нет ничего удивительного, поскольку любое поле в языке основывается на той или иной родовой (гиперонимической) семе, а входящие в него единицы, в свою очередь, отличаются друг от друга видовыми (гипонимическими) семами.



Если мы возьмём, например, поле родственников, то его родовая сема указывает на родственные отношения между теми или иными людьми. Однако единицы, входящие в это поле (*отец, мать, брат, сестра* и т.д.), наряду с родовой семьей содержат соответственные видовые семы. При этом в состав их значений входит не одна видовая сема, а несколько. Брата и сестру, например, отличают признаки непосредственной кровной близости по отношению к их родителям, но при этом они отличаются друг от друга по полу, и т.д.

Таким образом, значение той или иной языковой единицы включает в себя некоторый комплекс семантических компонентов. В значение слова «*корова*», например, войдут семы, указывающие на то, что это животное (1), что это домашнее животное (2), что у него четыре ноги (3), что она может давать молоко (4), и т.д. В подобных отношениях находятся члены любого языкового поля. Однако самое трудное при описании языкового поля – упорядочивание входящих в него единиц.

На связь методов языкового поля и компонентного анализа указывал А.М. Кузнецов в упомянутой книге: «...словарь представляет собой не простое скопление лексических единиц, а некоторым образом организованное единство, обладающее своей собственной структурой, элементы которой (слова и их отдельные значения) взаимосвязаны и взаимообусловлены. Эта связь осуществляется по определённым семантическим признакам, так что признаки низшего уровня абстракции объединяют слова в особые лексико-семантические группы – семантические поля, а признаки с наиболее обобщённым значением сигнализируют о межгрупповых (межполевых) связях» (указ. соч. С. 14).

## *Приложение*

### **СТРУКТУРА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЦЕЛИ В ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ**

1. «Суть... ономасиологических исследований, – писали М.А. Бородина и В.Г. Гак, – состоит в изучении того, как в языке обозначается одно понятие. Поскольку чаще всего понятие обозначается разными словами, ономасиологические исследования выво-

дят нас к исследованию лексической группы слов, близких по значению» (1). Подобные группы слов, как известно, часто называют лексико-семантическими полями (ЛСП).

В настоящей статье предпринята попытка ономаσιологического подхода к ЛСП цели. В связи с тем, что целевое значение охватывает огромное число лексических единиц, в данной работе предлагается только структурно-типологическая характеристика ЛСП цели, которая может быть представлена в самой абстрактной форме следующей схемой:

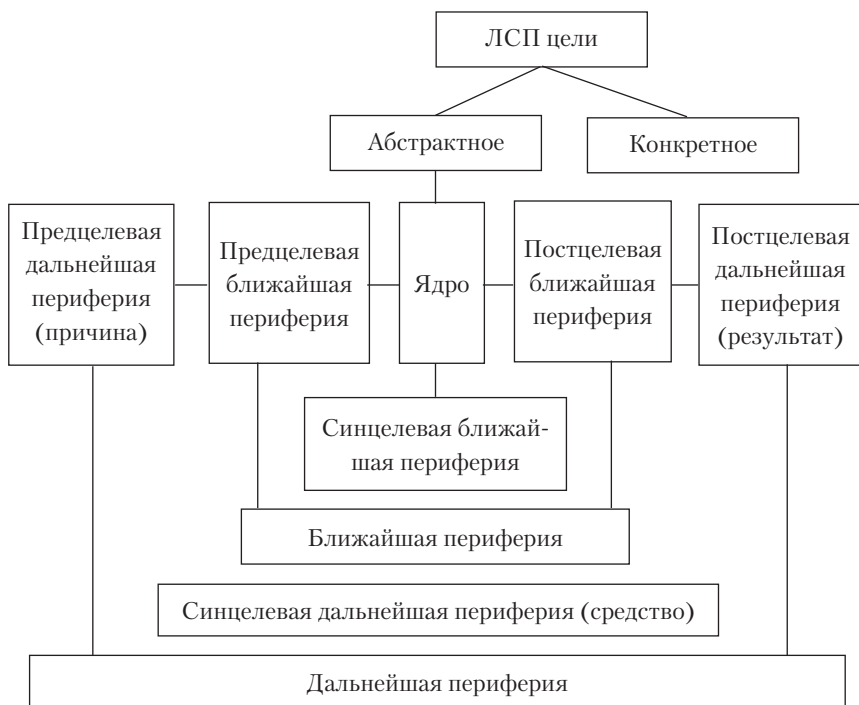


Схема показывает:

- 1) ЛСП цели существует в абстрактной и конкретной разновидностях;
- 2) между абстрактными и конкретными ЛСП цели имеется структурное сходство;
- 3) абстрактное ЛСП цели составляет ядро этого поля;

4) к ядерной, или собственно целевой, лексике примыкает ближайшая периферия ЛСП цели, которая включает пред-, син- и постцелевую лексику;

5) собственно целевая лексика и ближайшая периферия ЛСП цели обрамляются дальнейшей периферией ЛСП цели, которая включает пред-, син- и постцелевую лексику.

2. Поскольку изучение речевых средств, обслуживающих конкретные целевые значения, зависит от степени изученности абстрактно-целевой лексики, остановимся сначала на предварительном ограничении абстрактно-целевой и конкретно-целевой лексики.

Ограничение абстрактного ЛСП цели от конкретного связано с учётом способности слова выражать общее целевое значение абстрактного от индивидуального целевого значения: абстрактно-целевая лексика (*цель, самоцель, целевой, в целях, чтобы* и др.) обладает способностью обозначать «чистую» цель, а конкретно-целевая лексика не обладает такой способностью. Поясним это на примерах. В предложении «Это общее отношение – отношение цели, средства и результата – является непосредственным предметом настоящей работы» (Н.Н. Трубников) словом «цель» выражено общее (категориальное, философское) значение цели. Оно обладает способностью обозначать «чистую» цель, цель вообще, любую цель.

Такой способностью не обладают слова, которые приобретают целевое значение только за счет особых контекстуальных средств. Так, глаголы «*видеть, слышать, знать, порадоваться*» и т.п. сами по себе не обладают целевым значением. Они приобретают способность выражать конкретные целевые значения при поддержке союза «*чтобы*». Совокупность лексических средств, приобретающих способность обозначать индивидуальные цели за счёт контекста, составляют конкретное ЛСП цели. В качестве контекстуальных средств, которые позволяют нецелевым лексическим единицам переходить в разряд целевых, выступает собственно целевая лексика: *чтобы видеть, слышать, знать, порадоваться* и т.д., *ради денег, славы, справедливости* и т.д., *ставить цель поступить в университет, выйти замуж, отстоять товарища* и т.д. Конкретно-целевая лексика, таким образом, зависит от абстрактно-целевой.

Состав абстрактной ядерно-целевой лексики в русском языке сравнительно узок:

1) существительные: *цель, самоцель, целенаправленность, целесообразность, целеустремленность;*

- 2) глаголы: *целить, целиться* вместо *ставить цель, иметь цель*;  
 3) прилагательные: *целевой, целенаправленный, целесообразный, целеустремлённый*;  
 4) наречия: *целенаправленно, целесообразно*;  
 5) предлоги: *для, ради, за (хлебом), по (воду), к (делу)*, а также: *в целях, с целью*;  
 6) союзы: *чтобы, дабы, только бы, лишь бы*.

Особенность несубстантивной целевой лексики состоит в том, что она выступает в качестве маркеров для выражения конкретных целевых значений: *целевая аспирантура, для блага, чтобы узнать*. В центре абстрактно-целевой лексики стоит слово «цель» (2). Значение этого слова выступает в качестве организующего начала ЛСП цели в целом.

Содержание понятия «цель» было и остается предметом изучения целого комплекса наук – биологии, психологии, культурологии. Философская наука обобщает выводы частных наук в области изучения этой категории.

В истории философии и науки в целом представлено три основных точки зрения на категорию «цель»:

1) универсалоогическая, согласно которой носителем цели является любой объект;

2) биологическая, согласно которой носителем цели является любой живой организм;

3) антропологическая, согласно которой носителем цели является только человек. Самым основательным сводом историко-научных и современных представлений о категории «цель» до сих остаются книги М.Г. Макарова (3, 4), где признается биологическая точка зрения. Исходя из этой концепции, семантическая структура слова «цель» в его категориальном употреблении может быть представлена в следующем виде:

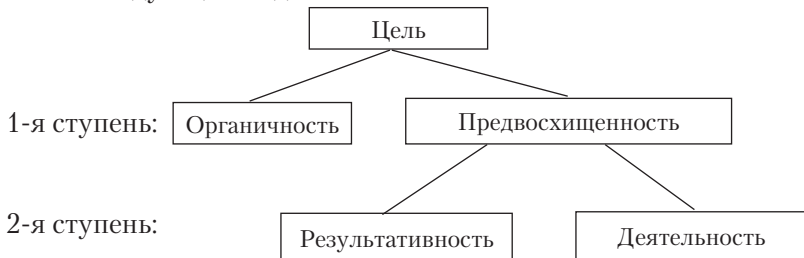


Схема показывает, что семантическая структура слова «цель» является двухступенчатой, что связано с тем, что вторая сема (предвосхищенность) конкретизируется внутренними семантическими компонентами (результативность и деятельность).

Как «органичность», так и «результативно-деятельностная предвосхищённость» не являются абсолютно неподвижными: смысловая широта каждой семы может расширяться до отражения признаков любой цели и сужаться до отражения признаков отдельных целей. Эта подвижность семантической структуры слова «цель» лежит в основе самого широкого лексико-семантического варьирования целевого значения.

По степени абстрактности и виду носителей цели лексико-семантические варианты слова «цель» могут быть разбиты прежде всего на четыре группы:

1) обозначающие цель вообще, т.е. цель любого живого организма: *«Ценность, как и цель, содержит в себе момент направления, стремления к ней»* (М.Г. Макаров);

2) обозначающие цель растений: *«Только изучив законы о жизни, только подметив или выпытав у самого растения, какими путями оно достигло своих целей, мы в состоянии направить его деятельность к своей выгоде»* (К.А. Тимирязев);

3) обозначающие цель животных: *«Те животные, которые не справляются с решением усложненного варианта задачи, в принципе могут строить иерархические планы, но лишь в том случае, если цель, которую они стремятся достигнуть, находится в сфере досягаемости их органов чувств»* (Е.Н. Панов);

4) обозначающие цель людей: *«Потеряв цель и надежду, человек с тоски обращается нередко в чудовище»* (Ф.М. Достоевский).

**3.** «Поля, – писал О. Духачек, – состоят из ядра, представленного термином (или терминами), наиболее широко употребляющимися для выражения данного понятия, и несколько областей, из которых одни могут располагаться в непосредственной близости к ядру (в нашей работе – ближайшая периферия ЛСП цели. – В.Д.), а другие – на периферии поля (в нашей работе – дальнейшая периферия ЛСП цели. – В.Д.)» (2).

Нетрудно заметить, что в зону целевой семантики вовлекаются такие значения, которые обслуживаются словами «замысел, план, задача, намерение» и др. Возникает вопрос: на какой основе описы-

вать структуру ближайшей периферии ЛСП цели? В качестве такой основы может служить диалектика.

В самом деле, динамический характер лексического значения слова обусловлен динамикой реалии, отражением которой оно является. Так, переход значения «цель» в значение «план» (слова «цель» в слово «план») обусловлен переходом цели-реалии в план-реалию. Переход одного лексического средства в другое, обусловленный переходом референтов, есть диалектический процесс. Источником этого перехода является противоречие внутри слова: оно есть единство и борьба противоположностей, разрешение которой осуществляется либо в сторону одной из них, либо в сторону другой. Так, значение слова «цель» есть единство и борьба целевого и нецелевого компонентов этого значения. В этом случае, если количество первого компонента уменьшается, значение слова «цель» возвращается к значению слова «замысел». В том случае, если количество целевого компонента в значении слова «цель» увеличивается, оно развивается в значении слова «план». От количественного соотношения целевого и нецелевого компонентов, таким образом, зависит качество значения.

Как было отмечено, содержание целевого компонента составляют «органичность» и «деятельностно-речевая предвосхищённость». Минимум целевого значения выражается словом «идеал». В самом деле, это слово обозначает зарождающуюся цель, для осуществления которой недостаточно жизни и степень предвосхищенности результата деятельности в которой является минимальной.

Увеличение целевого содержания в семантике слова «идеал» ведёт к переходу этого слова в слово «мечта», в смысловой структуре которого целевой компонент возрастает: мечта может перерасти в замысел, а замысел – в цель. Иначе говоря, для осуществления мечты может быть уже достаточно жизни, и образ результата будущей деятельности в ней более рельефен, чем в идеале. Подобным образом описывается механизм перехода значения «мечта» в значение «замысел», значения «замысел» в значение «цель», где представлено именно то соотношение целевого и нецелевого компонентов, которое и фиксируется словом «цель». Слова «идеал – мечта – замысел», таким образом, составляют ближайшую предцелевую периферию ЛСП цели.

Поскольку целевой компонент в семантике слов анализируемой группы слов может не только побеждать нецелевой, то наряду с переходами «*идеал* → *мечта* → *замысел* → *цель*» представлены также и переходы «*идеал* → *утопия*, *мечта* → *грёза*, *замысел* → *химера*». В этих переходах фиксируется бесперспективность целевых компонентов: утопия, грёза, химера не переходят в цель. Поскольку и в них имеется целевой компонент, хотя и не способный к развитию, эти слова также должны быть включены в состав ближайшей предцелевой периферии ЛСП цели.

Отмеченные слова (*идеал*, *утопия*, *мечта*, *грёза*, *замысел*, *химера*) являются базовыми, т.е. возглавляют слова, производные от них (например: *мечтать*, *мечтательный*, *мечтательно*), но в сферу ближайшей предцелевой периферии ЛСП цели входят не только производные от них: в области семантики слова «*замысел*» в русском языке оказываются такие слова, как «*проект*», «*задумка*», «*идея*» (*У меня есть идея!*), «*мысль*» (*Вот это мысль!*). Очевидно, различия между ними следует провести в двух планах: собственно семантическом и стилистическом. В собственно семантическом плане оказывается, что они отличаются друг от друга по степени значительности целевого компонента (проект – значительный замысел; например: *проект строительства*). Этот же семантический подвесок характерен и для слов «*идея*» и «*мысль*» в целевых значениях. Задумка, напротив, – незначительный замысел, или, по крайней мере, ещё не дотянувший до него. В стилистическом отношении оказывается, что слово «*проект*», в силу его неполного обрусения, обладает книжным оттенком, тогда как «*задумка*, *идея*, *мысль*» – разговорным.

В зоне собственно целевой семантики фигурируют слова «*миссия*, *предназначение* (*назначение*), *смысл*», составляющие ближайшую синцелевую периферию ЛСП цели. Периферийный характер этой группы объясняется выходом за пределы собственно целевой семантики: количественное соотношение целевого и нецелевого компонентов в их семантике сдвинуто в сторону предцелевой лексики: *миссия* (*пролетариата*), *предназначение* или *назначение* (*поэта*), *смысл* (*жизни*). Кроме того, у слова «*назначение*» есть такие лексико-семантические реализации, в которых сема «органичность» вытесняется семой «неорганичность»: *назначение стола*, *рукоятки*, *книги* и т.д.

Важно отметить также, что слова «*миссия, предназначение, смысл*» имеют книжную стилистическую коннотацию, тогда как слово «*назначение*» менее книжно (ср.: *назначение* и *предназначение поэта, цель* и *смысл жизни*).

Диалектической противоречивостью объясняется переход собственно целевой семантики в постцелевую: развитие целевого компонента в значении «*цель*» приводит к переходу его в значения «*план*», «*задача*», «*намерение*». Постцелевая лексика имеет в своей смысловой структуре такую степень развития целевого содержания, которая снимает целевое значение как собственно целевое: в плане, задаче, намерении цель реализуется. Осуществленное намерение (как последняя эманация цели) переходит в результат. Так, зарождение, становление, существование, развитие и исчезновение целевого значения в русском языке фиксируется ключевым рядом слов:

*«идеал → мечта → замысел → цель →  
план → задача → намерение → результат».*

4. Последний переход («*намерение → результат*») свидетельствует о связи ЛСП цели с дальнейшей периферией этого поля, включающей свою предцелевую, синцелевую и постцелевую лексику, которая отражает причину, средство и результат целесообразной деятельности.

Структура дальнейшей периферии ЛСП цели чрезвычайно сложна. В настоящей работе ограничимся следующей схемой дальнейшей периферии целевой лексики.

Как показывает история науки, особенно тесной является связь целевой лексики с ЛСП причины целесообразной деятельности. Многовековой спор между телеологами и детерминистами на семантическом языке может быть объяснен следующим образом: телеологи расширяли концептуальную зону цели за счёт смысловой зоны причины, а детерминисты – наоборот: расширяли последнюю за счёт первой.

Подвижность причины и цели объясняется переходом, с одной стороны, причины в цель, а с другой – цели в причину: «Цель не только пускает действие, но и продолжает стимулировать духовные и физические усилия человека на протяжении всего процесса» (5).



Диалектическим является также и характер отношений между целью, результатом и средством: осуществленная цель становится результатом, который может стать одним из компонентов средства для осуществления новой цели. Вместе с тем переход цели в средство (через результат) может и не осуществляться. В этом случае говорящий фиксирует целевое значение словом «самоцель», поскольку самоцель есть цель, не переходящая в средство осуществления новой цели.

5. Абстрактная целевая лексика и её периферия не исчерпывают языковых средств для выражения целевых и близких с ними значений. Как было отмечено вначале, конкретные целевые значения передаются не только с помощью абстрактной, но также и конкретной целевой лексики при поддержке первой. Своеобразие абстрактно-целевой лексики состоит не в том, что она не способна передавать конкретные целевые значения, а в том, что она, в отличие от конкретно-целевой, способна сохранять абстрактное целевое значение вне контекста, иначе говоря, на уровне языковой системы целевая лексика ограничивается абстрактным ЛСП цели.

Положение меняется, если мы обращаемся к уровню лексико-семантических вариантов слова: только на этом уровне мы имеем дело с конкретно-целевой лексикой.

Для обозначения отдельных целей в распоряжении говорящего имеется широчайший диапазон лексических средств, маркируемых в качестве целевых показателей абстрактно-целевой лексики. Типичным предсубстантивным целевым маркером является предлог «для» (*для изучения, открытия, жизни* и т.д.), а также предглагольный целевой союз «чтобы».

По конструкции «целевой союз “чтобы” + инфинитив» можно судить о структуре конкретно-целевой лексики. В неё входят инфинитивы, обозначающие действия:

1) биофизические: *уйти, побродить, зевнуть, повернуться, сесть, встать, уползти, лечь, прыгнуть, поест, попить, согреться* и т.д.;

2) психические: *посмотреть, услышать, понюхать, почувствовать, порадоваться, погрустить, подумать* и т.д.;

3) культурные: *испахать, сварить, построить, обожествить, помолиться, исследовать, изучить, написать, сказать, сотворить, бойкотировать, восстать* и т.д.

В разряд конкретно-целевых глаголов входят слова, обозначающие действия, которые могут быть предметом цели. Понятно, что большая часть глаголов обозначают действия, которые могут стать предметом цели. Исключения составляют глаголы, обозначающие действия, которые не могут быть таковыми: *забрести, поблестеть, замешать, зарыть*. Нетрудно заметить, что сюда входят глаголы обозначающие действия, которые недоступны живым организмам. Поскольку таких действий очень мало, группа глаголов, не способных выражать конкретное целевое значение, составляет мизерное количество. Подобным образом обстоит дело и с субстантивами: в смысловую зону цели не могут входить существительные, представление о которых не может выступать в качестве целевой модели: *землетрясение, вулкан, метель, засуха* и т.п.

Конкретизирующее целевое значение осуществляется не только глаголами и существительными, но данные части речи составляют основу конкретно-целевого значения. Так, в предложении «*Умственное спокойствие покупается ценой нравственного достоинства*» (Д.И. Писарев) обнаруживается компонент цели (*умственное спокойствие*), который расчленяется на существительное, несущее основное целевое значение (*спокойствие*), и прилагательное, выступающее в функции конкретизатора цели (*умственное*), а также компонент средства (*покупается ценой нравственного достоинства*), который подразделяется на компонент деятельности (*покупается*) и компонент орудия (*ценой нравственного достоинства*), где «*ценой*» выступает как носитель основного орудийного значения, а зависимые от него словоформы несут дополнительное конкретизирующее значение орудия целесообразной деятельности.

Понятно, что подобный анализ может быть распространён не только на те предложения, которые выражают целевые и связанные с ними значения, но для этого необходимо выявить состав и структуру понятийных категорий русского языка, важнейшее место среди которых принадлежит категории «*цель*».

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Бородина М.А., Гак В.Г.* К типологии и методике историко-семантических исследований. – Л., 1979. С. 83.

2. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. – М., 1976. С. 29.
3. Макаров М.Г. Категория «цель» в домарксистской философии. – Л., 1974.
4. Макаров М.Г. Категория «цель» в марксистской философии. – Л., 1977.
5. Макаров М.Г. Отражение становления категории цели и развития языков // Уч. зап. Тартуского ун-та, тр. по философии. – Вып. 334. – № 17. – Тарту, 1974.

*Вестник ИГЛУ. Сер. «Лингвистика». – Вып. 3. Вопросы теории текста, лингвостилистики и интертекстуальности. – 2002. С. 28–37.*

---

## 8. МЕТОД КОГНИТИВНОГО АНАЛИЗА В ЛИНГВИСТИКЕ

---

В «Кратком словаре когнитивных терминов», изданном в Москве в 1996 г. под ред. Е.С. Кубряковой, читаем: «Когнитивная лингвистика... – лингвистическое направление, в центре которого находится язык как общий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент – система знаков, играющих роль в репрезентации (кодировании) и в трансформации информации» (с. 53). Проще говоря, когнитивная лингвистика держит в центре своего внимания роль языка в познании.

Когнитивная лингвистика входит в более общую, комплексную, междисциплинарную науку, которую называет когнитивной наукой. Кроме когнитивной лингвистики, в неё входят когнитивная психология, теория информации, кибернетика и подобные науки, каждая из которых вносит свою лепту в изучение познания (когниции).

В чём состоит назначение когнитивной науки? Вот как на этот вопрос отвечает Е.С. Кубрякова: «...наука/науки, предметом которой/которых является когниция – познание и связанные с ним структуры и процессы; исследование феномена знания во всех аспектах его получения, хранения, переработки и т.п.» (с. 58).

Если в Европе «когниция» изучалась с античных времён (вспомним хотя бы Аристотеля), то в Америке интерес к ней вспыхнул лишь во второй половине XX в. Термины «*когнитивный*» «*когниция*» запустил в научный оборот У. Найссер, который ввёл их в название двух своих книг: *Cognitive Psychology* (N.Y., 1967) и *Cognition and Reality* (San Francisco, 1976). Критический пафос этих книг был направлен в адрес бихевиоризма, который, по мнению их автора, чересчур упрощённо представлял процесс познания.

Начало когнитивной лингвистики связывают с симпозиумом в Луйсбурге, который проходил в 1989 г., и созданием Международной когнитивной лингвистической ассоциации. К её истокам возводят работы Р. Джекендорфа, Дж. Лакоффа, который в 1981 г. провозгласил «когнитивную революцию» в психологии, Ч. Филлмора, У. Чейфа, Р. Лангакра и др. (с. 49).

В нашу науку когнитивистская стихия стала проникать ещё в конце 80-х годов, однако пышным цветом она расцвела в 90-е. Увлечение когнитивным подходом к изучению языка в это время приобрело форму эпидемии. Когнитивистский угар держит в плену некоторые лингвистические головы до сих пор, однако у него появился конкурент – дискурсивный угар. Впрочем, многие языковеды, чтобы быть впереди планеты всей, совмещают в своих работах оба подхода – когнитивный и дискурсивный.

К какому же результату пришли когнитивисты и дискурсивисты? Они возвращают лингвистическую науку в дососсюровское состояние. Вот как об этом написал В.Н. Базылев: «К концу XX в. язык как знаковая система перестаёт быть в центре исследовательских интересов... Когнитивистика отказывается от соссюровских дихотомий “язык-речь, синхрония-диахрония, синтаксис-семантика, лексика-грамматика”. Она объявляет язык одной из когнитивных способностей человека (наряду с ощущениями, восприятием, памятью, эмоциями, мышлением), а лингвистику – частью междисциплинарной науки когнитологии (когнитивистики). Теория дискурса отказывается от естественнонаучной модели знания, отдаёт приоритет качественному анализу и помещает лингвистику в междисциплинарную науку – человековедение, объектом которой является человек. Таким образом, лингвистика вновь теряет суверенность» (*Базылев В.Н.* Российская лингвистика XXI века: традиции и новации. – М., 2009. С. 10).

Американскую лингвистику ждёт время, когда в ней появится свой, доморощенный Фердинанд де Соссюр, поскольку европейский голос её представители обычно слышат с трудом. Подобно швейцарскому гению, он сумеет внести в неё идеи, направленные на упорядочение у них дисциплинарных представлений о своей науке. Пока американцы ждут своего Ф. де Соссюра, их наука пребывает в состоянии дисциплинарного хаоса.

Свою лепту в хаотизацию дисциплинарных представлений о языкознании внёс Чарлз Моррис (1903–1979). Как это произошло?

Свою дисциплинарную триаду (синтактика – семантика – прагматика) Ч. Моррис вывел в книге «Основания теории знаков», которая была издана ещё в 1938 г. Эта триада была призвана с разных сторон осветить единый процесс семиозиса, под которым

он понимал «процесс, в котором нечто функционирует как знак» (Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика / под ред. Ю.С. Степанова. – М., 1983. С. 39).

В содержание семиозиса входят интерпретаторы (например, собака и бурундук), знаковое средство или законоситель (звук, исходящий от бурундука), десигнат (бурундук) и интерпретанта (реакция собаки на звуки, исходящие от бурундука со стороны собаки, за которой следуют соответственные действия).

Семиозис – единый процесс, предполагающий знаковую деятельность его участников. Следовательно, он, во-первых, по-разному протекает у отправителя знаков и их получателя, а во-вторых, он протекает во времени. Этот единый процесс, тем не менее, Ч. Моррис разбивает на три фрагмента («измерения»), делая каждый из них предметом особой семитической дисциплины – синтактики, семантики и прагматики.

Мы могли бы предположить, что каждая из этих наук соответствует определённому периоду в деятельности отправителя знаков или их получателя. В этом случае моррисовская триада имела бы вполне оправданное – деятельностное – обоснование. Между тем у Ч. Морриса дело обстоит совсем по-другому. Его дисциплинарная триада провозгласила в качестве своих предметов разрозненные и не связанные между собою фрагменты семиозиса: синтактика – это наука об отношении знаков друг к другу, семантика – об отношении знаков к их объектам и прагматика – об отношении знаков к интерпретаторам.

По поводу двух последних дисциплин Ч. Моррис писал: «Отталкиваясь от трёх соотносительных членов троичного отношения семиозиса (знаковое средство, десигнат, интерпретатор), можно абстрагировать (из единой деятельности получателя знаков и единой деятельности их отправителя. – *В.Д.*) и рассмотреть ряд бинарных отношений. Можно, например, изучать отношения знаков к их объектам (со стороны их получателя и отправителя одновременно. – *В.Д.*). Это отношение мы назовем семантическим измерением семиозиса.; изучение этого измерения назовем *семантикой*. Предметом исследования, далее, может стать отношение знаков к интерпретаторам (к тому и к другому одновременно. – *В.Д.*). Это отношение мы назовем прагматическим измерением семиозиса... а изучение этого измерения – *прагматикой*» (указ соч. С.42).

Моррисовская триада была перенесена из семиотики в лингвистику во второй половине XX в. Её эффект очевиден: вместе с аморфной «междисциплинарностью» когнитивистики и дискурсологии эта триада привела дисциплинарные представления американских лингвистов в хаотическое состояние. Иначе и не могло быть, поскольку синтактика, семантика и прагматика стали сосуществовать в их сознании вместе с традиционными лингвистическими дисциплинами – словообразованием, лексикологией, морфологией и др. В этом и состоит дисциплинарный порок моррисовской триады, о котором я писал в статье «Два порока моррисовской триады» (см. приложение в моей кн.: Вильгельм фон Гумбольдт и неогумбольдтианство. – М., 2010. С. 169–187).

К счастью, не вся наука о языке отказывает лингвистике в суверенности, за которую боролся Ф. де Соссюр. Как ни велика любовь к американской науке у некоторых наших языковедов, но даже и они черпают своё вдохновение не только в Америке, но и в Европе. Вот почему на центральное положение в нашей когнитивной лингвистике выдвинулось понятие языковой картины мира. Оно имеет европейский источник – учение В. Гумбольдта о внутренней форме языка. Рассмотрим его подробнее.

Термин «*языковая картина мира*» (*sprachliche Weltbild*) был создан Л. Вайсгербером. Он приписывал языковой картине мира пять существенных признаков – словоцентризм, системность, своеобразие, изменчивость и действенность.

*Словоцентризм* языковой картины мира состоит в том, что любой язык по-своему ословливает (вербализует) мир, т.е. делит его на те или иные явления, обозначаемые с помощью слов. Так, словесное поле родства в разных языках по-своему делит подведомственную ему область. Например, в немецком языке – в отличие от сербохорватского, как и русского, – нет слов для обозначения тестя и свёкра. Немцы вынуждены говорить о них с помощью словосочетаний – отец жены и отец мужа.

Языковая картина мира есть системное, целостное представление о мире. В этом состоит ее *второй признак*. Это означает, что каждый язык изображает по-особому весь мир, а не только отдельные его фрагменты. Неслучайно вслед за В. Гумбольдтом Л. Вайсгербер писал: «...язык позволяет человеку объединить весь свой

опыт в единую картину мира» (Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. – М., 1993. С. 51).

Языковая картина мира своеобразна у каждого народа. В этом состоит её *третий признак*. Так, разные языки по-разному делят цветовой спектр. Например, в немецком, как и в английском и французском, нет специальных слов для обозначения синего и голубого цветов. С другой стороны, во вьетнамском имеется 13 наименований для разных видов бамбука, тогда как в европейских языках они отсутствуют.

*Четвёртый признак* языковой картины мира – её изменчивость. Л. Вайсгербер пояснял это на примере словесного членения животного царства в современном языке и в его истории. Оказалось, что языковая картина животного мира в разные периоды развития немецкого языка оказалась разной. Так, в древности немецкий язык классифицировал животных на пять групп: *домашние животные, бегающие дикие, летающие, плавающие, ползающие*. В современном же языке картина мира животных у немцев иная.

*Пятая черта* языковой картины мира – её действенность в отношении познавательной и практической деятельности человека. Л. Вайсгербер настаивал на господстве языковой картины мира в сознании человека над другими картинами мира – мифологической (религиозной), научной, политической и т.п. С его точки зрения, именно язык направляет познание по определённому руслу со значительно большей силой, чем это делают другие картины мира. Он писал: «Человек, который вырастает в некий язык, находится на протяжении всей жизни под влиянием своего родного языка, действительно думающего за него» (там же. С. 168).

Среди других понятий, используемых в когнитивной лингвистике, выделю здесь только четыре – категоризацию, концептуализацию, репрезентацию и референцию.

*Категоризация.* Термин «*категоризация*» используется в двух смыслах: в первом случае под ним имеют в виду подведение какого-либо явления под определённую категорию (например, подведение собаки под категорию «*животное*»), а во втором случае под ним имеют в виду то же самое, что и под классификацией (таксономизацией).

Классифицирующая деятельность составляет основу познания. Благодаря этой деятельности необъятное многообразие единичных



явлений обобщается в ограниченное число классов (например, необъятное число стульев, столов, шкафов и т.д. обобщается в один класс предметов, которые называют мебелью). Это обобщение производится на основе сходств, имеющихя между подобными предметами. В результате мы получаем понятия (например, мебели). Наиболее абстрактные понятия обычно называют категориями. К ним относятся, например, философские категории – части и целого, времени и пространства, качества и количества и т.п.

Благодаря классифицирующей деятельности не только люди (в том числе и дикие), но и животные создают свою картину мира. Какая разница между ними?

В работе «Генезис науки» Герберт Спенсер писал: «...большая часть животных доводит свои классификации не далее ограниченного числа растений или существ, служащих им пищей, не далее ограниченного числа зверей, служащих им добычей, и ограниченного числа мест и материалов, – наименее развитая личность из человеческой расы обладает знанием отличительных свойств большого разнообразия веществ, растений, животных, орудий, лиц и пр. не только как классов, но и как особей. Каков процесс, посредством которого совершается классификация? Очевидно, это – познание сходства или несходства вещей, относительно их размеров, цвета, форм, веса, строения, вкуса и пр. или относительно их способов действия. Посредством какой-либо особенной приметы, звука или движения, дикарь признаёт известное четвероногое животное за годное для пищи и способное ловиться известным образом или за опасное, – и дикарь действует сообразно с этим. Он соединил в один класс все существа, сходные в этой особенности. Очевидно, что при выборе дерева, из которого он делает свой лук, растения, которым он отравляет свои стрелы, кости, из которой он делает свою удочку, он узнаёт, что по главным своим ощутительным свойствам они принадлежат к общим классам деревьев, растений и костей, но он отличает их, как принадлежащие к подклассам, в силу известных свойств, в которых они не сходны с остальными предметами их классов; таким образом образуются роды и виды» (Спенсер Г. *Опыты научные, политические и философские.* – Минск, 1998. С. 509).

Существует два типа категоризации – доведённая до классификации и не доведённая до классификации. Первый тип катего-

ризации представлен в науке. В ней мы имеем дело с доведением определённых категорий до их упорядочивания в той или иной классификации. Например, Теофраст классифицировал людей по их темпераменту на четыре категории – холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. При чтении же ненаучных текстов мы имеем дело, как правило, с категоризациями, не доведёнными до классификации. Покажу это на примере идентифицирующей номинации (термин Н.Д. Арутюновой), употребляющейся в книге В.С. Бушина «Александр Солженицын» (М.: Алгоритм, 2003).

Если интродуктивное имя называет предмет номинации впервые, идентифицирующие имена называют его на протяжении всего текста. Вот какой идентифицирующий ряд мы обнаруживаем у В.С.Бушина по отношению к А.И.Солженицыну: *академик, нобелевский лауреат, образованец, замечательный автор, диалектик, бронированный правдолюб, калькулятор, баловень оперчасти, Великий Отшельник, всенародный, голосистый пролетарий, нобелиат, ядерщик-паркетчик, утончённый библиоман, хвастун, лжехристианин, оголтелый и неграмотный антикоммунист, летописец, герой, аристократ сермяжный, чистойлю с Нобелевской премией, лжец, Со-лженицын, наш исследователь, наш правдолюб, образованный историк, наш математик, историк-математик, факир Александр, дружок, наш персонаж, Авраам Исаакович, большой пророк, владелец двух огромных поместий, титан, пророк и живой классик, меч Божий.*

Что же нам делать с этим хаотическим набором слов? Каждое имя в этом ряду, между прочим, представляет определённую категорию людей – академиков, нобелевских лауреатов, лжецов и т.д. Выходит, с помощью этих имён автор причислял своего главного героя к определённому классу людей. Но здесь нет классификации. Есть классы, но нет классификации. Есть лишь материал для классификации. Мы имеем здесь дело с категоризацией, не доведённой до классификации. Вдумчивому читателю предоставляется возможность самому создать эту классификацию. Тем более если этот читатель окажется аспирантом, который, так сказать, по долгу службы должен уметь освоить процедуру классифицирования. По какому же пути он может пойти в данной ситуации? Эволюционному. Человек, как известно, – венец эволюции. Это означает, что он вобрал в себя все четыре эволюционных ступени – физиче-

скую, биотическую, психическую и культурную. Следовательно, при описании любого человека мы можем все его характеристики разделить на четыре категории – физические (*высокий – низкий*), биотические (*молодой – старый*), психические (*умный – глупый*) и культурные (*честный – нечестный*).

Если мы возвратимся к В.С. Бушину, то увидим, что перед нами ряд идентифицирующих имён, с помощью которых автор создаёт дополнительный портрет А.С. Солженицына по отношению к основному, который создаётся на протяжении всего текста с помощью неидентифицирующей лексики. Мы обратим также внимание и на то, что все идентифицирующие имена А.И. Солженицына у В.С. Бушина ограничены лишь областью духовной культуры. Стало быть, нам нужно распределить их по соответственным сферам культуры. В результате мы получим следующую классификацию имён:

1) религиозные: *Великий отшельник, факир Александр, лже-христианин, большой пророк, титан, меч Божий;*

2) научные: *академик, образованец, диалектик, калькулятор, ядерщик-паркетчик, наш исследователь, наш математик, образованный историк, историк-математик;*

3) художественные: *летописец, наш персонаж, живой классик;*

4) нравственные: *бронированный правдолюб, хвостун, чисто-плюй с Нобелевской премией, лжец, Со-лженицын, наш правдолюб, дружок;*

5) политические: *нобелевский лауреат, баловень оперчасти, всенародный, голосистый пролетарий, нобелиат, оголтелый и безграмотный антикоммунист, герой, аристократ сермяжный, Авраам Исаакович, владелец двух огромных поместий;*

6) языковые: *замечательный автор.*

В каждой рубрике представлены главным образом метафоры – злые, ядовитые, убийственные. Исключение составляют, например, *нобелевский лауреат* и *владелец двух огромных поместий*. Но поскольку они оказались в меньшинстве, метафорический контекст бросает ироническую тень и на них. Создаётся, например, впечатление, что Нобелевскую премию А.И. Солженицын получил незаслуженно.

Концептуализация. Под концептуализацией, как и под категоризацией, имеют в виду, с одной стороны, подведение того или

иногое явления под то или иное общее понятие – концепт, а с другой стороны, понятийную классификацию. Несмотря на то что когнитологи пытаются провести границу между категоризацией и концептуализацией, им это плохо удаётся. Вот почему различие этих понятий выглядит искусственно. Различие между ними, очевидно, не содержательное, а дискурсивное: первое имеет общенаучное распространение, а другое употребляется по преимуществу в когнитологии. Кроме того, термин «категория» многие воспринимают как более абстрактный, чем термин «концепт».

В последние годы весьма популярными стали исследования, посвящённые описанию языковых средств выражения различных концептов. По своей методологической доминанте эти исследования являются структурно-ономасиологическими. Более того, охарактеризовывая состояние нашей науки на рубеже XX–XXI вв., будущий историограф наверняка укажет на процветание в это время той области структурно-ономасиологической лингвистики, которую можно назвать лингвистической концептологией. Свою лепту в неё внесли молодые исследователи, которые защищали свои диссертации в специализированном совете ИГЛУ по таким концептам, как «*truth*», «*life*», «*пущк*», «*деньгу*», «*Verantwortung*» и т.п.

Общий недостаток современной концептологии – отсутствие в ней её главной опоры – единой концептуальной картины мира, поскольку отдельные концепты, как правило, анализируются сейчас в отрыве от этой картины, разрозненно, сами по себе, *атомарно*. Вот почему современное состояние лингвистической концептологии можно расценить как *атомарное*. Очевидно, придёт время, когда подобные исследования будут опираться на универсальную картину мира, которая находит идиоэтническое воплощение в конкретных языках (см. об этом подр.: Даниленко В.П., Даниленко Л.В. Основы духовной культуры в картинах мира. – Иркутск, 1999).

Термин «*атомарный*» здесь уместен и в историко-научном смысле, поскольку авторы лингвоконцептологических исследований, как правило, не сознают методологической специфики своих исследований как структурно-ономасиологических и тем самым отрывают их от многовековой традиции, связанной с развитием структурно-ономасиологического подхода в языкознании. Между тем этот подход был основан авторами модистских грамматик ещё в позднем Средневековье, а в дальнейшем он использовался

в работах Ю. Скалигера (XVI в.), А. Арно и К. Лансло (XVII в.), Э. Кондильяка, Ц. Дюмарсэ, Дж. Хэrrриса, Й. Майнера, Й. Аделунга (XVIII в.), В. Гумбольдта, К. Беккера, П.Е. Басистова, А.А. Потебни (XIX в.), Ф. Брюно, О. Есперсена, Ш. Балли, Л.В. Щербы, В. Матеиуса, Г. Гийома, Л. Вайсгербера, А.В. Бондарко (XX в.) и мн. др. (см. подр.: ОНГ). Атомарность современных концептологических исследований в языкознании, таким образом, свидетельствует об убеждении их авторов в том, что лингвистическая концептология вынырнула из американской головы чудесным образом – как Афина Паллада из головы Зевса.

*Репрезентация.* В «Кратком словаре когнитивных терминов» читаем: «Репрезентация, ментальная репрезентация – ключевое понятие когнитивной науки, относящееся как к процессу представления (репрезентации) мира в голове человека, так и к единице подобного представления, стоящей вместо чего-то в реальном или вымышленном мире и потому замещающей это что-то в мыслительных процессах» (с. 157).

Тот или иной объект, таким образом, может репрезентироваться в голове человека либо представлением (мыслью) о нём, либо значением соответственной языковой единицы, либо её знаковой стороной.

*Референция.* Референция есть не что иное, как отнесение знака к обозначаемому им содержанию. Существует два основных вида референции – конкретная и абстрактная. В первом случае слово «рыба», например, отсылает к конкретной рыбе, а во втором случае – к понятию рыбы.

В последние годы на роль новой гносеологии (когнитологии) стала претендовать постмодернистская философия. С её помощью у нас, в частности, пытаются в какой-то мере заменить и похоронить марксизм. Очень поучительным в связи с этим будет обращение к работам Ж. Бодрийяра, сердцевину которых составляет теория симулякров.

**Жан Бодрийяр (1929–2007)** – один из наиболее известных французских философов-постмодернистов. Его теория симулякров стала популярной в лингвистике. В отличие от других французских философов-постмодернистов (Ж. Дерриды, Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Делёза и др. См.: *Харт К.* Постмодернизм. – М., 2006), работы

которых написаны «тёмным стилем», книги Ж. Бодрийяра изложены более или менее ясным языком.

Как и у Ф. Фукуямы, у Ж. Бодрийяра фигурирует термин *«конец истории»*, но первый употребляет его в более или менее оптимистическом смысле, а второй – в пессимистическом. Если первый под «концом истории» понимает её глобалистский венец, расценивая его в целом как высшее достижение человеческой цивилизации, менять природу которого, стало быть, не имеет смысла, то второй истолковывает этот термин в абсолютно нигилистическом духе. Бодрийяризм представляет собою апокалиптическую форму нигилизма. В будущем он видит в конечном счёте лишь вселенскую катастрофу, абсолютную пустоту. Остановимся здесь на работах Ж. Бодрийяра, по которым можно проследить, каким образом их автор пришёл ко всепожирающему общекультурному апокалиптическому нигилизму.

**«Символический обмен и смерть» (1976).** В этой работе мы находим пролог к бодрийяровскому общекультурному апокалипсису. Так, в ней представлен художественный апокалипсис – идея о том, что современное искусство умерло. Оно превратилось в симулякр, в подделку под искусство. В отличие от подлинного искусства, которое не искажает реальной действительности, современное искусство (в особенности – на телевидении и в кино) создаёт виртуальную реальность, весьма далёкую от действительности. Но Ж. Бодрийяр заходит ещё дальше: как симулякр он начинает рассматривать не только современное искусство, но и культуру в целом.

Вся культура превращается Ж. Бодрийяром в симулякр, в её подделку, в её иллюзию, в её симуляцию. Она, по Ж. Бодрийяру, – пародия на подлинную культуру, а участники этой пародии, хотим мы того или не хотим, – все мы, потому что все мы стали носителями не подлинной культуры, а её симулякра. Сочиняете вы, скажем, стихи, и воображаете себя настоящим поэтом. Но на самом деле вы лишь симулируете деятельность настоящего поэта. Пишете вы научную статью и воображаете себя учёным. На самом же деле вы лишь симулируете деятельность настоящего учёного. Занимаетесь вы политической деятельностью и мыслите о себе как о политике. Но в действительности никакой вы не политик, а симулянт, делающий вид, что вы – настоящий политик, и т.д. Сильно сказано! Но только о некоторых людях – артистах от науки, артистах от поли-

тики и т.д. Превращать же труд всех людей (настоящих актёров, учёных, политиков, рабочих, которые строят нам дома, крестьян, которые нас кормят, и т.д.) в сплошных симулянтов сумел только французский философ-постмодернист Жан Бодрийяр. Этим он и прославился. Этим он и отвоевал себе место в истории.

Йохан Хёйзинга объявил всю нашу жизнь игрой (см. его кн.: *Nomo ludens. Человек играющий.* – СПб., 2007), а основная идея книги «Символический обмен и смерть» Ж. Бодрийяра – показать, что вся наша жизнь есть симулякр. Невесёлые нам достались времена! Ж. Бодрийяр не оставляет нам никакой надежды на подлинное существование. Мы живём, с его точки зрения, в царстве симулякров. Верующие в бога сейчас симулируют свою веру в бога, а учёные – свой поиск истины. Художники симулируют художественное творчество, а политики – защиту социальных интересов своих избирателей. Мужчины симулируют женщин, а женщины – мужчин. Симуляции подверглись и моральные ценности: мы симулируем доброту, мы симулируем щедрость, мы симулируем своё жизнелюбие. И т.д., и т.д. Что же мы имеем в результате? Бодрийяризм. Его суть – подмена реальной действительности на виртуальную, симуляционную, но эту подмену его творец приписывает всем современным людям, которые обмениваются между собою, с его точки зрения, не подлинными ценностями, а лишь символическими, а стало быть, живут не настоящей жизнью, а лишь её подобием (иначе говоря, их подлинную суть составляет смерть). Вот почему свой основной «политэкономический» труд Ж. Бодрийяр и назвал «Символический обмен и смерть».

**«В тени молчаливого большинства, или Конец социального» (1982).** В этой книге Ж. Бодрийяр хоронит «социальность» (или «социальное»). Под социальностью он имеет в виду стремление людей жить для других. Социальность предполагает ориентацию человека на жизнь в обществе, на служение ему, на стремление изменить это общество в лучшую сторону. Современные люди в большинстве своём, утверждает в этой книге Ж. Бодрийяр, асоциальны. Вот почему социальность в наше время если не умерла совсем, то находится на последнем издыхании. Для большинства людей, которое он называет «молчаливым большинством», социальность умерла. Ей пришёл конец.

Но почему это произошло? Почему так случилось, что народные «массы» в наше время стали непроницаемыми для благородных призывов? Почему «призыв к массам, в сущности, всегда остаётся без ответа»? Народ безмолвствует, но почему?

На эти вопросы Ж. Бодрийяр даёт весьма категорический ответ: «молчаливое большинство» не только сейчас, но и во все времена было асоциально, социальное чуждо его природе. Социальное и «масса» – две вещи несовместные. «Являются ли массы “зеркалом социального”? – задаёт он вопрос и отвечает: Нет, они не отражают социальное. Но они и не отражаются в нём – зеркало социального разбивается от столкновения с ними» (*Бодрийяр Ж.* В тени молчаливого большинства, или Конец социального. – Екатеринбург, 2000. С. 14).

Подобную клевету на народ сейчас нередко можно встретить, но, к великому несчастью, в этой клевете есть изрядная доля истины. Однако эта доля охватывает далеко не весь народ. Ж. Бодрийяр же чешет всю народную массу под одну гребёнку. «Молчаливое большинство» для автора этих слов – «гигантская чёрная дыра», «пучина, в которой исчезает смысл» (там же. С. 14).

Это пишет потомок великих французских просветителей – Жюльена де Ламетри, Дени Дидро и Вольтера. В способности к просвещённости у «молчаливого большинства» он явно разуверился. Всякие попытки разбудить в «молчаливом большинстве» революционную активность, с точки зрения Ж. Бодрийяра, обречены на провал, поскольку оно полностью деполитизировалось, забравшись в угол своих мелких частных интересов.

Бодрийяровский образ «молчаливого большинства» соткан из черт, действительно присущих значительной части людей (деполитизированность, гиперконформизм, заикленность на удовлетворении плотских потребностей и т.п.). Подобный образ у нас в своё время создал в своих очерках о мещанстве Максим Горький. Но всё дело в том, что Ф. Бодрийяр, в отличие от М. Горького, придал своему образу «молчаливого большинства» чуть ли не вселенский масштаб и полностью лишил его эволюционной перспективы. Чего больше в этом образе по отношению к людям – разочарования или презрения, обманутых надежд или страха?



## *Приложение*

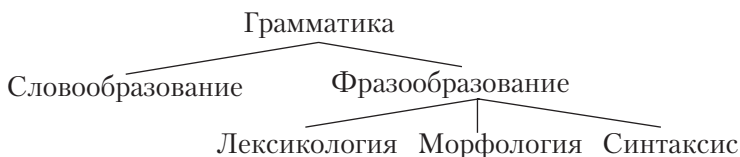
### **К СООТНОШЕНИЮ НАУЧНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КАРТИН МИРА (на материале морфологической категории рода)**

Ещё В. Матезиус критиковал О. Есперсена за отсутствие в грамматической теории датского учёного «анализа грамматической системы» (1). Отсутствие системообразующего начала в грамматике О. Есперсена чешский учёный связывал с невниманием её автора к процессуальной природе грамматической деятельности говорящего. Последняя, с точки зрения В. Матезиуса, связывает воедино лексические, морфологические и синтаксические единицы языка, участвующие в построении предложения (2).

Нельзя сказать, что со времен В. Матезиуса наша наука ничуть не продвинулась вперед в исследовании деятельностной стороны грамматических единиц. В. Матезиус, если бы он дожил до нашего времени, был бы наверняка очень рад, что его установка на изучение грамматических фактов с функциональной (деятельностной) точки зрения нашла во второй половине XX в. своих приверженцев. Он был бы рад ознакомиться, например, с книгой Пола Хоппера и Элизабет Клосс с процессуальным названием «Грамматикализация», изданной в Кембриджском университете в 1999 г. (3) Её авторы понимают под грамматикализацией процесс перехода лексических единиц в грамматические в акте построения нового предложения.

Но В. Матезиус, как легко догадаться, не был бы до конца удовлетворён этой книгой. Дело в том, что сам он включал в грамматику не только морфологию и синтаксис, но и лексикологию, тогда как авторы указанной книги, по существу, сводят понятие грамматикализации к морфологизации лексических единиц, игнорируя процессуальную природу самих этих единиц, оставляя лексикологию за пределами грамматики. За включение лексикологии в грамматику, между тем, выступал не только В. Матезиус, но также И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, Л. Вайсгербер и некоторые другие лингвисты, хотя подобный взгляд на дисциплинарную структуру грамматики и до сих пор остаётся новаторским.

В моей докторской монографии «Ономасиологическое направление в грамматике» (Иркутск, 1990) проводится следующий взгляд на дисциплинарную структуру грамматики:



С ономасиологической точки зрения эта структура может быть охарактеризована вкратце таким образом: в грамматику входят две относительно самостоятельные дисциплины – словообразование и фразообразование; первая из них сосредоточивает своё внимание на акте создания говорящим нового слова, а другая – на акте создания нового предложения. В свою очередь, во фразообразование входят лексикология, морфология и синтаксис. Каждая из этих дисциплин ставит в центр внимания соответственные периоды во фразообразовательной деятельности говорящего – лексический, морфологический и синтаксический. В первый из них говорящий отбирает лексемы для создаваемого предложения, во второй он подвергает их морфологизации и в третий переводит их в члены законченного предложения.

Исходя из подобного взгляда на дисциплинарную структуру грамматической науки, мы можем расширить понятие грамматикализации следующим образом:

### ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ

---

ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ | МОРФОЛОГИЗАЦИЯ | СИНТАКСИЗАЦИЯ

Схема показывает, что в процессе построения нового предложения слово грамматикализуется не только за счёт морфологизации, но также и за счёт лексикализации и синтаксизации. Понятие формы слова в этом случае не сводится лишь к его морфологической форме. Иными словами, под формообразованием мы имеем в виду не только морфологическое словоизменение, но также лексическое и синтаксическое. Отсюда следует, что, наряду с морфологической формой слова, существуют ещё лексическая и синтаксическая формы слова. Термин «*словоизменение*», в свою очередь, при

таким подходе приобретает общеграмматический (межуровневый) смысл, объединяющий основообразование и формообразование слова в лексике, морфологии и синтаксисе.

Речевая деятельность человека есть культуросозидательная деятельность. На слово, прошедшее через фразообразовательный процесс, мы можем смотреть как на продукт культуры. Подобно тому, как камень, оказавшийся в руках ваятеля, превращается со временем в скульптуру, так и слово, поступающее в «функциональное пространство» фразообразовательной деятельности человека, проходит через ряд операций – лексикализацию, морфологизацию и синтаксизацию. Каждая из этих операций начинается с соответственной основы слова и заканчивается соответственной формой этого слова. В результате мы получаем такую картину:

ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ					
ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ		МОРФОЛОГИЗАЦИЯ		СИНТАКСИЗАЦИЯ	
ОСНОВА	ФОРМА	ОСНОВА	ФОРМА	ОСНОВА	ФОРМА
дорога	дорог-	дорог-	дорога	дальн-	дальняя

Предложение «*Дальняя дорога*», например, свидетельствует нам о том, что грамматикализация его членов началась с лексической основы слова «*дорога*», которая в результате её лексикализации, заключающейся в деморфологизации этого слова, перешла в лексическую форму данного слова (*дорог-*). Последняя в акте морфологизации становится морфологической основой этого слова, которая, в свою очередь, переводится говорящим в соответственную, морфологическую, форму данного слова (*дорога*). В синтаксический период фразообразования главный член данного предложения за счёт определения «*дальняя*», которое первоначально выступало в виде синтаксической основы данного слова (*дальн-*), а затем – благодаря синтаксизации, т.е. согласованию с подлежащим, – преобразовалась в синтаксическую форму данного слова (*дальняя*).

Ещё модисты делили грамматические категории на абсолютные и релятивные. Первый тип категорий связан с отражением реальной внеязыковой действительности, а другой – не связан. Так, род, число и падеж у существительных относятся к абсолю-

тивными категориям, но эти же категории у прилагательного – к релятивным. Последний тип категорий может быть назван также формальным, согласовательным, синтаксическим. Согласовательные категории оформляются в акте фразообразования в его заключительный, синтаксический, период. Вот почему мы можем о них сказать как о категориях, оформление которых осуществляется посредством синтаксизации. Напротив, оформление абсолютивных категорий осуществляется посредством морфологизации.

Между абсолютивными (содержательными) и релятивными (формальными) грамматическими категориями нет резкой границы: далеко не любой морфологический показатель указывает на реальное внеязыковое содержание. В высшей степени это относится к показателям рода. Так, бессодержательность родового показателя у неодушевленных существительных (*камень, река, нос, губа, смех, радость, стол, стена, топор, лопата* и т.п.), как говорится, бросается в глаза, поскольку подобные существительные обозначают явления, которые к половым различиям не имеют никакого отношения. Морфологизация неодушевленных лексем по роду является бессодержательной, сугубо формальной.

Между научной (в данном случае – биологической) картиной половых различий и языковой (в данном случае – морфологической, т.е. фиксацией этих различий в языке с помощью морфологических показателей) нет строгого соответствия. В самом деле, с научной точки зрения все живые организмы делятся на три вида – мужские, женские и двуполые. Если бы в языках с развитой системой морфологических показателей были строго отражены все эти виды организмов, то существительные, имеющие морфологические показатели мужского рода, обозначали бы особей мужского пола, существительные женского рода – особей женского пола и существительные среднего рода – особей двуполых. В действительности же между научной и морфологической картинами половых различий строгого соответствия не существует. На это обратил внимание в своей латинской грамматике еще древнеримский грамматист М.Т. Варрон (116–27 гг. до н.э.).

Варрон сосредоточил своё внимание на несоответствиях, которые имеются в латыни между морфологическими показателями рода и их реальным внеязыковым содержанием. С его точки зрения, в идеальном языке морфологические показатели мужского

рода должны указывать на мужских особей, женского рода – женских и среднего – бесполох, т.е. неживые субстанции. Однако латинский, по его наблюдению, до такого идеального (правильного) языка не дотянул. «Так, – приводил пример учёный, – мужчина носит имя *Perpetta* или *Alfena* женское по форме; и наоборот, *Paries* (стена) по форме сходно с *abies* (ель), но первое из этих слов считается мужского рода, а второе – женского, тогда как по природе и то и другое среднего» (4).

Другое наблюдение Варрона касалось отсутствия в латинском языке в некоторых случаях родовых пар: «...говорится *corvus, turdus* (ворон, дрозд), но не говорится *corva, turda*; напротив, говорится *hathera, merula* (пантера, чёрный дрозд), но не говорится *pantherus, merulus*... И вообще большое число слов этого рода не соблюдают аналогии» (там же). И сразу же он давал пояснение, почему в языке в одних случаях имеются обозначения одновидовых самцов и самок, а в других случаях представлены обозначения лишь тех или других: «На это мы отвечаем, что хотя за всякой речью скрывается природная вещь, однако, если она не доходит до практического применения, то и слова до неё не доходят; таким образом, говорится *eguius* (жеребец) и *egua* (кобыла), потому что их различия имеют практическое значение; а *corvus* и *corva* – нет, потому что здесь природное различие не имеет практического значения» (там же).

Суждение Варрона о существительных среднего рода как о словах, в идеале обозначающих бесполое (неживые) предметы, как мы понимаем, не является оправданным с научной (биологической) точки зрения – в том смысле, что в случае совпадения биологической картины половых различий с их морфологической картиной в некоем идеальном языке показателей среднего рода вообще не должно быть, поскольку неживые предметы вообще не имеют пола. Впрочем, мы могли бы вообразить язык, в котором существовало бы две группы морфологических показателей: 1) наличия/отсутствия пола; 2) принадлежности живого организма к мужскому полу, женскому или тому и другому одновременно.

На первый взгляд может показаться, что в первом случае мы имеем дело с категорией одушевлённости/неодушевлённости, которая в какой-то мере выражается в русском языке морфологически: совпадением форм родительного падежа с формами винительного (*девушек – девушек*) или их несовпадением (*столов – столы*).

Однако воображаемая нами категория наличия/отсутствия пола не совпадает с категорией одушевлённости/неодушевлённости. С одной стороны, одушевлённые существительные, обозначающие живых существ, а следовательно, имеющих пол, могут расцениваться как слова, способные указывать на наличие пола в обозначаемом предмете. Но с другой стороны, далеко не все живые организмы в нашем языке обозначаются одушевлёнными существительными. Так, существительные, обозначающие растения (*дубы, березы* и т.п.), считаются неодушевлёнными (*нет дубов – вижу дубы*). Категории наличия/отсутствия пола, таким образом, и одушевлённости/неодушевлённости здесь не совпадают. В самой терминологии – одушевлённость/неодушевлённость – кроется психологическая подоплёка данной категории: одушевлённые существительные в идеале обозначают существ, наделённых душой (психикой), а неодушевлённые – не наделённых ею. Растения, в частности, не имеют души, хотя и имеют пол. Вот почему в идеальном языке они должны были бы обозначаться существительными неодушевлёнными, но, вместе с тем, имеющими показатели пола.

В реальных языках семантика родовых показателей у существительных, обозначающих растения, оказалась формальной, бессодержательной. Она ничего не говорит нам о половой принадлежности обозначаемых растений: существительные «*дуб, клен*» и т.п. с одной стороны и «*берёза, осина*» и т.п. с другой вовсе не говорят нам о половых различиях называемых ими деревьев. Но подобным образом дело обстоит и с большей частью зоонимической лексики (обозначающей животных). В большинстве случаев и здесь мы имеем дело с формальной морфологизацией: существительные «*таракан*» или «*муха*», например, вовсе не говорят нам о половой принадлежности обозначаемых ими насекомых. В области зоонимической лексики мы имеем дело с содержательной морфологизацией, иногда даже подкрепляемой и на уровне лексикализации, лишь в тех случаях, о которых в своё время писал Варрон, – в случаях, когда указание на половые различия между животными имеют для человека практическое значение, а также, добавим мы от себя, когда они оказываются доступными обыденному (а не научному) сознанию. Здесь мы имеем дело со случаями, где содержательная морфологизация дублируется либо на уровне словообразовательных показателей пола (суффиксов), либо на уровне его

лексических показателей (лексических основ слова). К существительным первого рода относятся, например, такие родовые пары, как *волк – волчица, лев – львица, заяц – зайчиха, голубь – голубка* (осмысленное употребление этой пары доступно не каждому) и т.п. К существительным другого рода, в свою очередь, относятся такие пары, как *бык – корова, петух – курица, жеребец – кобыла, кобель – сука* и т.п. Осмысленное употребление некоторых родовых пар (*орел – орлица, павлин – павана* и т.п.) требует определённых знаний – тех, об отсутствии которых мы можем судить у большинства из нас по нашей неспособности отличить самца и самку у многих птиц, насекомых и других животных. Тем более не доступно обыденному сознанию различение двуполых животных, которых, к тому же, очень немного. Двуполых называют гермафродитами. Вот что о них мы можем прочесть в карманной энциклопедии The Hutchinson (М., 1995. С. 132): «Гермафродит – организм, имеющий мужские и женские половые органы одновременно. Это является нормой у таких видов, как земляные черви и улитки, обычны для цветущих растений».

На неупорядоченность в употреблении морфологических показателей рода в русском языке указывал М.В. Ломоносов (1711–1765). Подобно Варрону, он считал, что в идеальном языке показатели мужского рода должны соответствовать особям мужского пола, женского рода – женского пола и среднего рода – бесполом.

М.В. Ломоносов писал: «Животных натура на два пола разделила, на мужеский и женский. Оттуда и имена их во многих языках суть двух родов: *господин, госпожа; муж, жена; орел, орлица*. Сие от животных простёрлось и к вещам бездушным, из единого токмо употребления, и чисто безрассудно, как мужеского рода: *сук, лист, волос*; женского: *гора, вода, стена*. Пристойно кажется, чтобы бездушным вещам быть ни мужеского, ни женского, но некоего третьего рода, каков есть у нас род средний: *море, небо, сердце, поле*. Однако сие так беспорядочно, что и среднего рода имена животных знаменуют: *дитя, жеребя*» (5).

В приведённых учёным примерах существительных среднего рода, как видим, представлены окончания женского рода. Подобные несуразницы заставили М.В. Ломоносова прийти к следующему выводу: «Хотя деление родов во многих языках употребительно; однако слову человеческому нет в том необходимой нуж-

ды. Сие явствует первое из того, что они беспорядочны, как выше показано; второе – многие языки только мужской и женский род имеют, как итальянский и французский; третье – в некоторых языках весьма мало отменны, или отнюдь нет никакого родов разделения. Так, в английском языке роды едва различаются, и то в некоторых местоимениях. У турков и персов имена все одного общего рода» (там же).

«Безрассудной» категория рода оказывается в языке у большинства существительных – в том смысле, что подавляющее большинство морфологических показателей рода у них никак не свидетельствует о соответственных половых отличиях. Морфологизация такого рода существительных является формальной. Содержательной она оказывается лишь у тех существительных, которые обозначают некоторых животных (*орел – орлица, лев – львица* и т.п.) и людей. В первом случае мы имеем дело с зоонимической лексикой, во втором – с антропонимической. В.В. Виноградов в связи с этим указывал: «У подавляющего большинства имён существительных, у тех, которые не обозначают лиц и животных, форма рода нам представляется немотивированной, бессодержательной. Она кажется пережитком давних эпох, остатком иного языкового строя, когда в делении имён на грамматические классы отражалась свойственная той стадии мышления классификация вещей, лиц и явлений действительности. Теперь же форма рода у большей части существительных относится к области языковой техники» (6).

Мы видели, что у большей части зоонимической лексики категория рода является бессодержательной (вспомним о таракане или мухе), но и в рамках антропонимической лексики мы нередко имеем дело с формальной морфологизацией по роду. Сужение сферы применения содержательной морфологизации в русском языке связано с действием двух факторов – нейтрализационного и транспозиционного. Первый из них направлен на нейтрализацию родовой семантики у того или иного морфологического показателя со стороны лексической основы слова, а второй – на переносное (метафорическое) употребление соответственного морфологического форманта.

Действие нейтрализационного фактора сужения содержательной морфологизации в русском языке легко продемонстрировать на таких именах собственных, как *Лука, Гена* и т.п. Они имеют фор-



мальные показатели женского рода (ср.: *супруга, госпожа* и т.п.), однако данные имена собственные являются мужскими. Родовая семантика их окончаний нейтрализуется за счёт их лексических основ. Но подобный, нейтрализационный, процесс мы можем обнаружить и на материале некоторых имён нарицательных – таких, например, как *юноша, мужчина, воевода* и т.п. И здесь окончание «-а» вовсе не свидетельствует о принадлежности их объектов к женскому полу. Их «женская» семантика нейтрализуется «мужской» лексикализацией. В результате происходит сужение действия содержательной морфологизации или, что одно и то же, формализация (обесмысливание, обесцвечивание) соответствующих показателей женского рода. Окончания «-а» здесь оказываются бессмысленными. Содержательной у подобных существительных оказывается родовая лексикализация, а не морфологизация. Мы имеем здесь дело, по существу, не с морфологическим родом, который в данном случае формален, а с лексическим родом. Противоположение лексического рода и морфологического здесь решается в пользу первого.

Не следует пугаться термина «*лексический род*». Он означает, что принадлежность к тому или иному полу может маркироваться в языке не только посредством морфологического показателя, но и лексического – лексической основой слова, которая отбирается говорящим ещё в акте лексикализации слова. Существует также и словообразовательный род. В этом случае принадлежность к определённому полу обозначается словообразовательными средствами (например, суффиксами: *учитель – учительница*, где, кстати, «-ниц-» отменяет, нейтрализует «-тель-»; *граф – графиня*; *плут – плутовка, старик – старуха* и т.д.). Словообразовательный род здесь гармонирует с морфологическим.

Действие транспозиционного (метафорического) фактора сужения содержательной морфологизации по роду в русском языке легко продемонстрировать на примере существительных, обозначающих профессии у женщин. Нередко их обозначают существительными мужского рода: *философ, биолог, физик, математик* и т.п. Окончания мужского рода и здесь используются в значении женского. Процесс морфологизации здесь явно отстаёт от потребностей реальной жизни. Разговорный язык пытается преодолеть разрыв между ними. Вот почему мы можем услышать такие разговорные формы, как «*философиня, биологиня, физичка, математич-*

ка» и т.п. Более того, наименования некоторых женских профессий стали принадлежностью и литературного (книжного) языка (*учительница, портниха, журналистка* и т.п.).

Обратную транспозицию, т.е. употребление окончаний женского рода в значении мужского, мы наблюдаем, например, в таких метафорах, как «*лиса, свинья*» и т.п., когда речь идёт о мужчинах. Сюда же примыкают и существительные так называемого общего рода. Имея показатели женского рода (*бедняга, плакса, сладкоежка, зазнайка, белоручка* и т.п.), в прямом смысле они указывают на лиц женского пола, а в переносном – мужского. Флексия женского рода здесь подвергается транспозиции, т.е. употребляется в значении мужского. Мы имеем здесь дело с морфологической метафорой, которая, впрочем, в современном русском языке уже основательно стёрлась. Между тем отголоски метафоричности даже и для носителя современного русского языка в существительных «общего» рода сохранились до сих пор. Очевидно, в прошлом их метафоричность осознавалась в большей мере, чем сейчас. Очевидно, этим объясняется тот факт, что К.С. Аксаков, живший в XIX в., подчёркивал принадлежность данных существительных к формам женского рода, отмечая метафорический характер их употребления по отношению к лицам мужского пола. Он писал: «Все подобные слова, оканчивающиеся на *-а* или *-я*, суть имена женского рода и только могут употребляться в мужском роде. Это нисколько не изменяет их основной природы, и они принадлежат к именам женского рода». Если полностью согласиться с К.С. Аксаковым, то термин «общий род» должен быть признан по отношению к словам, о которых идёт речь, неправомочным, поскольку по отношению к лицам мужского пола они должны быть признаны за полноценные метафоры.

Если же мы всё-таки признаем в них остаточную метафоричность, то, стало быть, должны расценить данный термин как неточный. Он рассчитан на время, когда метафоричность соответственных слов будет целиком утрачена для носителей нашего языка. Термин «общий род» станет точным, таким образом, лишь в перспективе, да и то с поправкой: общий – в смысле женско-мужской.

Итак, на примере морфологической категории рода у русских существительных мы увидели яркое несоответствие между научной (биологической) и языковой (морфологической) картинами

мира. Случаи соответствия между ними охватывают весьма ограниченный состав зоо- и антропонимической лексики, которая подвергается в процессе её грамматикализации содержательной морфологизации. Язык здесь совпадает с наукой. Большая же часть русских существительных в акте фразообразования проходит через формальную морфологизацию. Язык в данном случае расходится с наукой. Формальная морфологизация выглядит в русском языке как явный, очевидный анахронизм с точки зрения научной картины мира. От этого анахронизма, тем не менее, наш язык избавиться не в состоянии, поскольку он стал неотъемлемой частью его морфологической системы.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Матезиус В.* О системном грамматическом анализе // Пражский лингвистический кружок / под ред. Н.А. Кондрашева. – М., 1967. С. 227.
2. См. подр.: *Даниленко В.П.* Методологические особенности концепции функциональной грамматики Вилема Матезиуса. – Иркутск, 1997. С. 90–91.
3. *Hopper P., Closs E.* Grammaticalization. – Cambridge, 1999.
4. Античные теории языка и стиля / под ред. О.М. Фрейденберг. – Л., 1936. С. 95.
5. *Ломоносов М.В.* Российская грамматика. – СПб., 1755. С. 32.
6. *Виноградов В.В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.; Л., 1947. С. 58. Цит. по указ. кн. В.В. Виноградова. С. 73.

*Словарь, грамматика, текст / под ред. И.Б. Барамыгиной. – Иркутск, 2000. С. 58–66.*

---

## 9. МЕТОД ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА В ЛИНГВИСТИКЕ

---

Терминологическое значение слову «*дискурс*» придал ещё Зеллиг Хэррис в статье 1952 г. «Дискурс-анализ», однако его широкое распространение началось с 70-х годов. Лингвистика дискурса с того времени проделала весьма внушительный путь. Дискурсивные теории растут как грибы. Вот лишь краткий их перечень: теория информационного потока (information flow) У. Чейфа, теории дискурсивного диалога С. Томпсона, Б. Фокса, С. Форда, когнитивная теория связи дискурса с грамматикой Т. Гивона. Сюда же мы можем подключить экспериментальную теорию дискурса Р. Томлина, грамматику дискурса Р. Лонгакра, системно-функциональную грамматику М. Хэллидея, теорию стратегий понимания Т. ван Дейка и У. Кинча, структурную теорию дискурса Л. Поланьи, психолингвистическую теорию дискурса М. Гернсбакер, социолингвистические теории дискурса У. Лабова и Дж. Гамперса и мн. др. Между тем и до сих пор лингвистику дискурса считают наукой молодой, формирующейся.

Лингвистика дискурса, как и когнитивная лингвистика, – наука интегральная, междисциплинарная, синтетическая. С одной стороны, она интегрирует нашу науку с нелингвистическими науками – философией, психологией и культурологией, а с другой стороны, она выступает как связующее звено для других лингвистических дисциплин – лингвистики текста, лингвостилистики, лингвокибернетики и др.

Междисциплинарность лингвистики дискурса в какой-то мере объясняется неопределённостью её предмета – дискурса. Что такое дискурс? Стало уже привычным считать, что *дискурс* = *текст* + *контекст*. В книге «Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса» (под ред. П. Серию. – М., 1999), вместе с тем, на 26-й странице приводится восемь определений *дискурса*. Вот некоторые из них:

«1) эквивалент понятия “*речь*” в сосюрсовском смысле, т.е. любое конкретное высказывание;

2) единица, по размеру превосходящая фразу, высказывание в глобальном смысле; то, что является предметом исследования “грамматики текста”, которая изучает последовательность отдельных высказываний...;

7) термин “*дискурс*” часто употребляется также для обозначения системы ограничений, которые накладываются на неограниченное число высказываний в силу определённой социальной или идеологической позиции. Так, когда речь идёт о “феминистском дискурсе” или “административном дискурсе”, рассматривается не отдельный частный корпус, а определённый тип высказывания, который предполагается вообще присущим феминисткам или администрации».

Вот какое определение дискурсу дают А. Кибрик и П. Паршин: «**ДИСКУРС** (фр. *discours*, англ. *discourse*, от лат. *discursus* “бегание взад-вперед; движение, круговорот; беседа, разговор”), речь, процесс языковой деятельности; способ говорения» ([http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye\\_nauki/lingvistika/DISKURS.html#1008254-L-103](http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html#1008254-L-103)). Эти же авторы ниже добавляют: «Многозначный термин ряда гуманитарных наук, предмет которых прямо или опосредованно предполагает изучение функционирования языка, – лингвистики, литературоведения, семиотики, социологии, философии, этнологии и антропологии. Чёткого и общепризнанного определения «дискурса», охватывающего все случаи его употребления, не существует, и не исключено, что именно это способствовало широкой популярности, приобретённой этим термином за последние десятилетия: связанные нетривиальными отношениями различные понимания удачно удовлетворяют различные понятийные потребности, модифицируя более традиционные представления о речи, тексте, диалоге, стиле и даже языке». Выходит, термин «*дискурс*» употребляется как гипероним по отношению к речи, тексту, диалогу, стилю и даже языку. Но всё-таки ближе всего термин «*дискурс*» к термину «*текст*».

В статье Е.В. Ерофеевой и А.Н. Кудлаевой «К вопросу о соотношении понятий ТЕКСТ и ДИСКУРС» представлена попытка разграничить указанные понятия. Вот к каким выводам приходят авторы этой статьи: «Таким образом, с нашей точки зрения, текст является продуктом речевой деятельности, который может быть

реализован как в письменной, так и устной форме. Основными свойствами текста являются цельность и связность, которые, с одной стороны, относительно независимы друг от друга, а с другой – предполагают друг друга... Понятие *дискурс* возникает в связи с развитием лингвистики текста... Итак, понятие *дискурс* определяется лингвистами через понятие *текст*. Текст по отношению к дискурсу может рассматриваться как его фрагмент, как элементарная (базовая) единица дискурса (Звегинцев 1976; Степанов 1995), а дискурс как целый текст или совокупность объединённых каким-либо признаком текстов (Арутюнова 1990; Серио 1999); текст также может рассматриваться как определённый результат функционирования дискурса (Бенвенист 1974; Борисова 2001), или может приравниваться к дискурсу (Николаева 1978). Большинство лингвистов дискурс понимается не как результат коммуникации, а как само речевое поведение, как процесс осуществления речевых намерений говорящего и интерпретации их слушающими в конкретной речевой ситуации, т.е. на первый план выдвигается коммуникативная функция языка...» (<http://psychosocling.narod.ru/erkudl.htm>).

Как видим, большинство лингвистов не отождествляют понятия дискурса и текста, хотя и признают их тесную близость. При этом главный упор в их разграничении делается на приписывание тексту статической (результативной) природы, а дискурсу – динамической (процессуальной). Что можно сказать по этому поводу? У лингвистики дискурса ещё всё впереди. Она ещё придёт к упорядочению своих ключевых понятий. Но даже и сейчас ясно, что разграничение дискурса и текста до сих пор не привело к удовлетворительным результатам. Попробуем здесь ещё раз соотнести их друг с другом.

1. Что такое текст? В обыденном смысле под текстом понимают законченное письменное (печатное) произведение, у которого есть вполне определённый автор. Но в лингвистике текста под текстом понимают не только законченное *письменное* произведение, но и законченное *устное* произведение.

2. Любой текст является, с одной стороны, результатом текстообразующей деятельности его автора, а с другой, результатом его понимания со стороны его адресата.

3. К изучению текста, как и к изучению других лингвистических единиц, следует подходить с двух точек зрения – семасиологической и ономаσιологической. В первом случае мы исследуем текст с точки зрения его получателя, а во втором – с точки зрения его отправителя.

4. Семасиологический подход к изучению текста имеет две формы – структурную и функциональную. В первом случае мы имеем дело с изучением перехода текста в языковую систему, как он осуществляется получателем текста, а во втором – с функционированием текста в его деятельности.

5. Структурно-семасиологический подход к изучению текста направлен на создание обобщённой модели готового текста, т.е. выводит отличительные признаки текста как языковой единицы, которую можно назвать текстом.

6. Функционально-семасиологический подход к изучению текста, со своей стороны, направлен на описание основных операций, которые совершает получатель текста при понимании чужого текста. Его основная задача – соотнесение получаемого текста с описываемым им внеязыковым содержанием.

7. Структурно-ономаσιологический подход к изучению текста направлен на описание перехода описываемого внеязыкового содержания в создаваемый текст, как он осуществляется его автором. Его главная задача – поиск языковых средств для создаваемого текста – лексических, морфологических и др.

8. Функционально-ономаσιологический подход, со своей стороны, направлен на описание функционирования текста в деятельности его создателя, которое осуществляется в направлении «язык → речь (текст)».

9. Что такое дискурс? У термина «дискурс» два основных значения. В первом значении дискурс равен тексту, а во втором дискурс объединяет текст с контекстом.

10. В контекст включается ситуация, в которой, с одной стороны, получатель текста понимает получаемый им текст, а с другой стороны, ситуация, в которой находится говорящий, когда он создаёт свой текст. Существует, таким образом, контекст получателя текста и контекст отправителя текста.

11. Контекст получателя текста – многосложное понятие. Оно включает в себя, с одной стороны, те условия, в которых получа-

тель текста понимает тот или иной текст, – биофизические, психические и культурные, а с другой стороны, отличительные характеристики самого получателя текста – биофизические, психические и культурные.

12. Контекст отправителя текста включает в себя, с одной стороны, те условия, в которых отправитель текста создаёт свой текст, – биофизические, психические и культурные, а с другой стороны, отличительные характеристики самого отправителя текста – биофизические, психические и культурные.

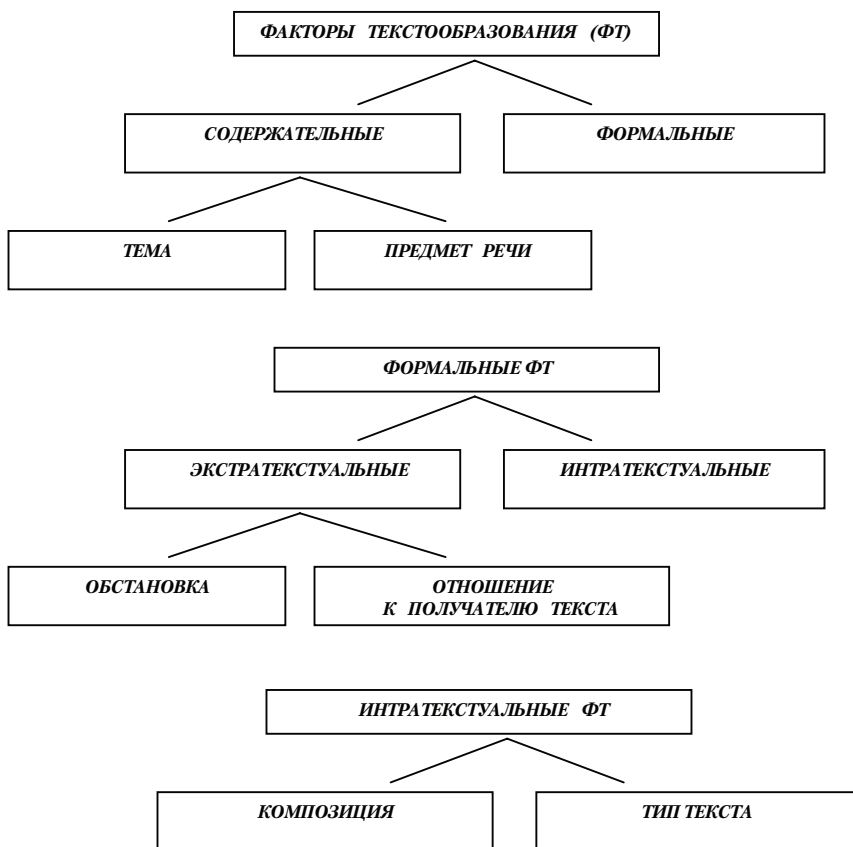
13. Дискурсивный анализ, таким образом, предполагает выполнение двух задач – текстуальной и контекстуальной. В первом случае лингвистика дискурса ставит ту же задачу, что и лингвистика текста, а во втором она выходит за пределы текста на простор внетекстуальных наблюдений за жизнью текста в этом лучшем из миров.

Итак, формула соотношения дискурса и текста такова: 1) *дискурс = текст*; 2) *дискурс = текст + контекст*. Имея второе значение термина «дискурс», мы можем вывести и форму соотношения лингвистики дискурса и лингвистики текста: *лингвистика дискурса = лингвистика текста + лингвистика контекста*.

Рассмотрим в связи с вышеизложенными тринадцатью тезисами о тексте и дискурсе только один аспект лингвистики дискурса (текста) – ономаσιологический. В центре нашего внимания здесь окажутся факторы текстообразования (дискурсообразования).

Факторы текстообразования делятся на две группы – содержательные и формальные. Первые лежат в основе содержательной стороны создаваемого текста, а другие – его формы. В число основных содержательных факторов текстообразования входит два фактора – тема и предмет речи. Сложнее выглядит структура формальных факторов текстообразования. Они делятся на экстра-текстуальные и интратекстуальные. Как к первым, так и ко вторым относятся два фактора. К первым – обстановка общения и отношение к получателю текста, ко вторым – композиция и стилистико-жанровый тип текста. Классификация текстообразующих факторов выглядит так:





В конечном счёте мы получаем шесть основных факторов текстообразования: *тема*, *предмет речи*, *обстановка общения*, *отношение к получателю текста*, *композиция* и *стилистико-жанровый тип текста*. Рассмотрим их в отдельности.

**Тема.** Тему текста немецкий языковед Е. Агрикола определил как «смысловое ядро, понимаемое как обобщённый концентрат всего содержания текста» (цит. по кн.: *Москальская О.И.* Грамматика текста. – М., 1981. С. 17).

**Предмет речи.** Под предметом речи имеют в виду то содержание, которое создаваемый текст призван осветить. Осмысление предмета речи – весьма трудоёмкий процесс. Он состоит в моделировании предмета речи в сознании отправителя текста. Моделиро-

вать – значит познавать. Существует два пути познания – невербальный и вербальный (языковой). В первом случае речь идёт о создании модели предмета без помощи языка, а во втором – с помощью языка. При этом следует иметь в виду, что вербальное познание предполагает, с одной стороны, обдумывание предмета речи с помощью внутренней речи, а с другой, использование текстов, в которых тема создаваемого текста уже нашла освещение.

**Обстановка общения.** От обстановки или условий общения во многом зависит, каким будет текст. Так, от времени, в течение которого говорящий имеет возможность произнести свой текст, зависит его объём. Место, где он это будет делать (учебная аудитория, церковь, улица, пляж и т.д.), также влияет на выбор текстуальных средств.

**Отношение к получателю текста.** Автор текста не может игнорировать особенности человека, которому он адресует текст. Своеобразие текста во многом зависит от портрета получателя речи, который сложился в его сознании. Этот портрет формируется из представлений говорящего о биофизических (возраст, здоровье и т.д.), психических (интеллект, темперамент и т.д.) и культурных (вера в бога, образование, нравственность и т.п.) особенностях получателя текста.

**Композиция.** Композицию текста составляет последовательность единиц, входящих в него. Перед фонацией текста или его написанием автор продумывает план текста, который в процессе построения текста он наполняет конкретным речевым материалом. Существует два полярных типа композиции – диахронический и синхронический. В первом случае последовательность текста соответствует течению времени того события, которое стало предметом речи, а во втором – его описывают как нечто застывшее во времени.

**Стилистико-жанровый тип текста.** На выбор текстуальных средств, бесспорно, влияет тот стилистико-жанровый тип текста, который принимается автором текста за образец для его собственного текста. Стилистико-жанровый тип текста складывается, во-первых, из стиля языка, в рамках которого осуществляется общение (религиозный, научный, художественный, нравоучительный, политический), а во-вторых, из жанра этого стиля.

Любой языковой стиль имеет свою жанровую структуру. Так, в научном стиле языка мы находим такие жанры, как статья, мо-

нография, диссертация, лекция и т.п.; в рамках художественного стиля, в свою очередь, – рассказ, повесть, роман и т.п. Более того, существует внутренняя градация и в рамках отдельных жанров. Так, по мнению М.М. Бахтина, Ф.М. Достоевский создал особую разновидность романного жанра – полифонический роман. В этом романе голос автора не заглушает голоса его героев. Его сознание изображается здесь как равноправное с сознанием персонажа. Вот почему герои Ф.М. Достоевского – свободные люди. М.М. Бахтин писал: «Достоевский, подобно гётевскому Прометею, создаёт не безгласных рабов (как Зевс), а свободных людей, способных стать рядом со своим творцом, не соглашаться с ним и даже восставать на него» (*Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского.* – М., 1979. С. 6).

Реальные тексты часто нелегко вкладываются в определённую стилистико-жанровую классификационную «клеточку». В какую, например, «клеточку» мы должны поместить «Голубую книгу» и «Перед восходом солнца» М.М. Зощенко – какой это дискурс? Научно-художественный. В сказку Л.А. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца», в свою очередь, врывается, по крайней мере, четыре стилистические стихии – просторечная, реалистическая, юмористическая и ироническая. Для сказочного дискурса как такового они факультативны. Их гармоническое сочетание в этой сказке делают её уникальной.

## *Приложение*

### **ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ В «ГОЛУБОЙ КНИГЕ» М.М. ЗОЩЕНКО**

По-моему, вы и теперь могли бы пёстрым бисером вашего лексикона изобразить – вышить что-то вроде юмористической «Истории культуры». Это я говорю совершенно убеждённо и серьёзно.

*Из письма А.М. Горького к М.М. Зощенко. 1932 год*

В июне 1935 г. Михаил Михайлович Зощенко (1894–1958) закончил «Голубую книгу». Он посвятил её А.М. Горькому. В начало книги он поместил своё письмо к нему. Вот что он ответил в нём патриарху русской литературы: «Нет, у меня не хватило бы

сил и умения взять вашу тему в полной мере. Я написал не историю культуры, а, может быть, всего лишь краткую историю человеческих отношений» (*Зощенко М.М.* Голубая книга. – М.: Русская книга, 1996. С. 5).

Как бы то ни было, но юмористическая история культуры в «Голубой книге» имеется. Пусть краткая, пусть неупорядоченная, пусть фрагментарная, но всё-таки имеется. Она – цемент, который связывает «Голубую книгу», состоящую из разрозненных рассказов, воедино. В ней пять разделов: «Деньги», «Любовь», «Коварство», «Неудачи» и «Удивительные события». В каждом из них – цикл рассказов. Преддверие к ним – «юмористическая история культуры».

### Деньги

Деньги – одна из движущих сил человеческой истории. Автор «Голубой книги» не мог предвидеть, каких масштабов эта сила достигнет в наше время. Он жил в другое время. Вот почему в начале данного раздела мы читаем: «Мы живём в удивительное время, когда к деньгам изменилось отношение. Мы живём в стране, в которой прекратилось величественное шествие капитала. Мы живём в том государстве, где люди получают деньги за свой труд, а не за что-нибудь другое. И потому деньги получили другой смысл и другое, более благородное назначение – на них уже не купишь честь и славу» (указ. соч. С. 9).

«Величественное шествие капитала» нам вернули. А былой культ денег превратился в бога – Мамону. Ему и молятся с утра до вечера самые предприимчивые. Ему они главным образом и служат, отмечая, как назойливых мух, других идолов. Словом, всё возвратилось на круги своя.

Предприимчивые «Литературной учёбы» не читают. Для кого же мы пишем свои статьи? Друг для друга. На эстетическом языке это называется искусством для искусства. Эту формулу, знакомую нам со школьных лет, можно и уточнить: литература для литераторов, критика для критиков, литература для критиков, критика для литераторов. Вот так мы и варимся в собственном соку. А жизнь идёт своим чередом: одни мрут как мухи, а другие Мамоне молятся.

Вот почему приобрели второе дыхание такие слова М.М. Зощенко: «Этот могущественный предмет до сей славной поры с лёг-

костью покупал всё, что вам было угодно... Но он не только покупал, он ещё, так сказать, имел совершенно сказочные свойства превращений» (с. 9). Каких?

«И, например, обладательница этого предмета, какая-нибудь там крикливая подслеповатая бабёнка без трёх передних зубов, превращалась в прелестную нимфу. И вокруг неё, как больные, находились лучшие мужчины, добываясь её тусклого взгляда и благосклонности. Полоумный дурак, тупица или полный идиот, еле ворочающий своим косноязычным языком, становился остроумным малым, поминутно говорящим афоризмы житейской мудрости. Пройдоха, сукин сын и жулик, грязная душонка которого при других обстоятельствах вызывала бы омерзение, делался почётным лицом, которому охота была пожать руку. И безногий калека с рваным ухом и развороченной мордой нередко превращался в довольно симпатичного юношу с ангельской физиономией. Вот в кого превращались обладатели этого предмета» (с. 9–10).

Какова же роль денег в истории культуры? Выберем у М.М. Зощенко только три примера.

*Древний Рим.* В 193 г. преторианцы (императорская стража) «нуждаясь в деньгах, пустили императорский трон с публичного торга». Самым предприимчивым оказался Дидий Юлиан. Каким образом ему досталась победа на выборах? «...сенатор Дидий Юлиан, придурковатый и немолодой субъект, жена которого, по-видимому, нервно стояла рядом, хриплым голосом, унимая сердцебиение рукой, сказал, что он даёт каждому солдату ровно по шесть тысяч двести пятьдесят динариев, что составляло в общей сложности тринадцать миллионов рублей» (с. 14–15). Но поименованный император недолго сидел на троне. Через два месяца ему пришлось покинуть этот свет: «...доблестные воины, надеясь, вероятно, вовлечь в подобную сделку ещё следующего богатого дурака, безжалостно приколотили горе-императора, невинная и многострадальная душа которого поспешно взвилась к небу, горько жалуясь господа богу на величайшее свинство и вопиющую людскую непорядочность. Свинство же действительно было преогромное – за тринадцать миллионов царствовать всего два месяца и после того отдать богу душу! А впрочем, дурак был отчасти сам виноват – зачем полез в императоры» (с. 15).

Вывод из этой истории читатель вынужден сделать не в пользу денег. Предприимчивый пойдёт дальше: он заподозрит автора в предвзятом отборе исторических фактов.

*Средневековая Европа.* На арену западноевропейской истории выдвигается католическая церковь. Ей тоже нужны деньги. Она находила свои способы делать деньги. Например, с помощью индульгенций за отпущение грехов. Вот как, возможно, было дело: «Но тут вдруг наш курносый поп, фыркая в руку и качаясь от приступов смеха, сказал:

– А может, нам, братцы, грехи отпущать за деньги? У кого какой грех – гони монету... И квиток получай на руки... Ай, ей-богу...

Тут, без сомнения, шум поднялся, смешки, возгласы.

Пожалуй, какая-нибудь высохшая ханжа, воздев к небу руки, сказала:

– А как же бог-то, иже еси на небеси?

Курносый говорит:

– А может, мы для него и стараемся... Я только, братцы, другого боюсь – вдруг не понесут деньги... Народ форменный прохвост пошёл.

Но тут, проголосовав, решили испытать это дело. Дело, вопреки сомнениям, двинулось хорошо. И вот этой выгодной торговлишкой церковь усердно занималась в течение многих веков. Любый грех можно было выкупить за определённую плату» (с. 16).

Вот вам и ответ предприимчивому, который заподозрил автора «Голубой книги» в тенденциозном отборе фактов. Здесь-то всё в порядке! Дело с индульгенциями оказалось вполне успешным. Мало ли что придёт в голову какому-то Яну Гусу! Вот как он закончил свою жизнь: «6 июля 1415 на 15-м заседании собора ему прочли обвинительный приговор... Гус был лишен сана и тут же выдан светской власти, уже сделавшей все приготовления к казни. Последними словами Гуса были: “Призываю Господа в свидетели, что не учил и не проповедовал того, что показали на меня лжесвидетели. Главной целью моих проповедей и всех моих сочинений было отвратить людей от греха. И в этой истине, которую я проповедовал согласно с Евангелием Иисуса Христа и толкованием святых учителей, я сегодня радостно хочу умереть”. По преданию, старушке, подбросившей хвороста в костер “еретика”, Гус сказал: “Святая простота!”» (<http://www.piplz.ru/page-id-632.html>).

*Россия XVIII века.* «Скажем прямо, – читаем у М.М. Зощенко, – в смысле добычи денег – это ужас, что делалось на протяжении всей истории. В своё время знаменитый писатель Карамзин так сказал: “Если б захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать: воруют”» (с. 24).

Воруют до сих пор. Да ещё в таких олигархических масштабах, которые нашему великому историку не могли присниться в самом смелом сне. Но мы обратимся к более скромному примеру – светлейшему князю Меншикову. Вот как его описал М.М. Зощенко: «Этот пройдоха за одно только царствование Петра I четыре раза был под судом за кражи, взятки и лихоимство. Пётр снисходительно относился к своему любимцу и всякий раз спасал его от казни. Но, например, одного штрафа по суду господин Меншиков заплатил около трёхсот тысяч рублей. Если не врут историки. А сумма эта по тем временам неслыханная. Так можете себе представить, сколько упёр этот тип, если был такой штраф» (с. 24).

Не теряя исторического оптимизма, М.М. Зощенко пишет в конце раздела о деньгах: «Но, ах, мы вдруг в тумане будущего видим снисходительную и кривую усмешку человека, который утончёнными пальцами перелистывает горестные страницы варварской истории, в которой деньги, можно сказать, затмили солнце, звёзды, луну и вполне уважаемую человеческую личность» (с. 32–33). Что скажет «в тумане будущего» беспристрастный историк о наших временах?

## **Любовь**

В первом абзаце данного раздела М.М. Зощенко делает заявление, которое расходится с его последующим содержанием. Он пишет: «Вот когда госпожа смерть подойдет неслышными стопами к нашему изголовью и, сказав “ага”, начнёт отнимать драгоценную и до сих пор милую жизнь, – мы, вероятно, наиболее всего пожалеем об одном чувстве, которое нам при этом придётся потерять. Из всех дивных явлений и чувств, рассыпанных щедрой рукой природы, нам, наверно, я так думаю, наименьше всего будет расстаться с любовью» (с. 73).

Но как только писатель обращает свой взор к истории, так сразу же сокрушённо восклицает: «Где же эта знаменитая любовь, прославленная поэтами и певцами? Где же это чувство, воспетое в

дивных стихах? Неужели недоучки-поэты, рифмоплеты и любители всякой красоты и грации допустили такое возмутительное преувеличение? Что-то мы, читая историю, не находим подобных эффектных переживаний. Нет, конечно, перелистывая историю, мы кое-что встречаем. Но это чересчур мало. Мы хотели, чтоб на каждой странице сверкала какая-нибудь бесподобная жемчужина. А то раз в столетие натываемся на какую-нибудь сомнительную любовишку» (с. 87).

По разряду сомнительной любвишки у автора «Голубой книги» проходят отношения Клеопатры к Марку Антонию, жены Сервия Тулия к своему мужу, который с её благословения убил её отца-императора, а она с ликованием переехала на колеснице его труп, пятидесятивосьмилетней Екатерины II к двадцатиоднолетнему Платону Зубову и т.п. Однако в центре внимания автора оказались ещё менее привлекательные отношения – отношения, которые не могут претендовать даже и на разряд сомнительных любовишек. Они проходят по разряду «брак по расчёту».

*Древняя Персия.* Персидский царь Камбиз (сын знаменитого Кира) был обманут египетским фараоном: вместо своей дочери он подsunул ему в жёны свою рабыню. Обнаружив подмену, Камбиз приказывает отрубить ей голову. Вот как выглядит эта ситуация у М.М. Зоценко: «И вот вечером, после того как спешно отрубили голову несчастной египтянке, Камбиз, наверно, долго совещался с министрами.

Размахивая руками и волнуясь, он нервно ходит по комнате.

– Нет, какая сволочь египетский фараон, а? – восклицает он с возмущением.

Министры, почтительно вздыхая, качают головами и разводят руками, ехидно переглядываясь между собой.

– Что же я теперь делать буду, господа, после такого оскорбления? Войной, что ли, мне пойти на этого негодяя?

– Можно войной, ваше величество.

– Только он, собака, забрался далеко... Египет... Африка... Туда чуть не год идти... На верблюдах, кажется, надо...

– Ничего, ваше величество... Войска дойдут.

– Я её обласкал, – снова раздражаясь, говорил Камбиз. – Я её принял, как египетскую принцессу, страстно полюбил, а это, оказы-



вается, не то... Как же, господа? Что же я, собака, что мне его дочка недоступна? Взял и подослал какую-то шуштуру... А?» (с. 86).

*Россия XVIII века.* Немецкий герцог Голштинский прибыл в Россию, чтобы жениться на дочери двоюродного брата Ивана Грозного. Но невеста неожиданно умирает. Что делать? «Жених, конечно, в неопишемом горе, хочет обратно уезжать в Германию. И в растрёпанных чувствах уже прощается с родными, как вдруг ему говорят:

– Товарищ герцог! Погодите уезжать. У нас ещё, на ваше счастье, имеется одна барышня. Её сестрёнка. Она, правда, постарше той, и она менее интересна из себя, но всё-таки она, может быть, вам подойдет. Тем более такой путь сделали из Германии – обидно же возвращаться с голым носом.

Герцог говорит:

– Конечно, подойдёт. Что же вы раньше-то молчали? Ясно, что подойдёт. Об чём речь! А ну, покажите.

В общем, несмотря на траур, свадьба была вскоре сыграна» (с. 80).

*Франция XVIII века.* Во времена Людовика XV некий спекулянт загорелся желанием приобщиться к аристократической фамилии. Он заключает контракт с тридцатилетним маркизом, в соответствии с которым тот за ежегодное жалование должен жениться на его дочери через двенадцать лет (в момент заключения контракта ей было три года). Да вот беда: через девять лет несостоявшаяся невеста умирает. «Можно представить себе, какие слёзы лил папаша спекулянт! Во-первых, конечно, безумно жалко девочку, а во-вторых, подумать только, сколько денег зря ухлопано! И, конечно, нет никаких надежд получить с господина маркиза назад хоть частицу. А тот, наверно, потирая руки, говорил огорчённому папаше: дескать, насчёт денег, уж конечно, сами понимаете. Раз девочка скапутилась – моё счастье» (с. 83).

Невесёлые истории рассказал нам М.М. Зощенко. Невесёлый для поэтов он и вывод сделал про роль любви в истории: «Вот что рассказывает история о любви. Она, в общем, весьма немного рассказывает об этом чувстве. Дескать, да, действительно, чувство это, кажется, имеется. Истории, дескать, приходилось иной раз сталкиваться с этой эмоцией. Дескать, бывали даже кой-какие исторические события и случаи на этой почве. И совершались кое-какие

дела и преступления. Но чтобы это было что-нибудь такое, слишком грандиозное, вроде того, что напевали поэты своими тенорами, – вот этого история почти не знает. Напротив, коммерческие души вполне оседлали это чувство. И оно не представляет никакой опасности для тихого хода истории» (с. 94).

### Коварство

Другое дело – коварство. Деньги да коварство, по М.М. Зоценко, – самые агрессивные актанты человеческой истории. По способности к коварству люди хуже зверей: «Животный и растительный мир почти не знаком с коварством» (с. 138). Зато у людей тут вот как обстоит дело: «Прошлая жизнь, согласно описанию историков, была уж очень, как бы сказать, отвратительно ужасная. То и дело правили какие-то кровавые царьки, какие-то в высшей степени, пёс их знает, свирепые тираны, владетельные господа, герцоги, потомственные дворяне, бароны и так далее. И все они, конечно, делали со всей публикой чего хотели. Отрезали языки у тех, которые болтали не то, чего надо. Сжигали на кострах, если, например, человек высказывал собственные научные или религиозные мысли. Кидали для потехи диким зверям и крокодилам. И вообще без зазрения совести поступали как хотели. И от всех этих дел публика, наверно, нравственно ослабла. И характеры у них отчасти испортились. У них, может, озлобился ум. И они стали ко всему приноравливаться, и с течением веков через это, может быть, произошли коварство, арапство, подхалимство, приспособленчество и так далее и тому подобное, и прочее» (с. 139).

Автор «Голубой книги» был в трудном положении при отборе историй о коварстве: ими хоть пруд пруди. Я приведу здесь самые отвратительные из них.

*Древний Рим.* Император Нерон организовал три покушения на жизнь своей матери. Последняя попытка оказалась удачной: её зарезал убийца. Но какими изощрёнными были неудачные покушения! В особенности это касается первого покушения: он устроил в её спальне потолок, который должен был обрушиться на его спящую мать. Вот как могла выглядеть сцена приготовления к осуществлению этого трюка: «Можно представить, каков был разговор при заказе этого потолка.

– Не извольте беспокоиться! – говорил подрядчик. – Потолок сделаем просто красота! Ай, ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество!..

– Да гляди, труху у меня не клади, – говорил Нерон. – Гляди, клади что-нибудь потяжелше. Лёгкая труха ей нипочем. Знаешь, какая у меня мамаша!

– Как же не знать, ваше величество? Характерная старушка. Только какая же может быть труха? Ай, ей-богу, интересно, ваше величество: я особо большой камешек велю положить в аккурат над самой головкой вашей преподобной маменьки.

– Ну, уж вы там как хотите, – говорил Нерон, – но только чтоб – раз! – и нет маменьки.

– Не извольте тревожиться. Считайте, что ваша маменька уже как бы не существует на этом свете. Не успеют они на днях проснуться, как на них потолок – кувырк! И вообще-с, несчастный случай, вроде землетрясения. Никто не виноват, и маменька, между прочим, больше не присутствует. Ай, ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество! Очень, как бы сказать, натуральное средство против маменьки.

– Ну, ладно, ладно! Поменьше, дурак, языком трепли!» (с. 147–148).

Вот вам и юмористическая история культуры!

Средневековая Европа. В VI в. жил-был бургундский король Гунтрам, и была у него жена Австрахильда. Пришла пора ей умирать. На тот свет она прихватила девять врачей, которые не смогли ей помочь, а заодно ещё и целую свору прислуги. Вот как это могло выглядеть по М.М. Зощенко: «Историки не приводят слов, которые сказал Гунтрам в ответ на эту супружескую просьбу. Весьма вероятно, что он, пожав плечами, сказал:

– Пожалуйста. Об чём речь! Сколько там у вас их было? Ах, только девять. Да сделайте одолжение! Очень рад! Что же вы раньше-то молчали?

Австрахильда говорит:

– Да как-то так... Надеялась, что это порядочные люди и что они меня вылечат, а они вот куда загнули – я теперь, как видите, умираю, наверно, через этих врачей.

– Не знаю, как вы, – сказал Гунтрам, – а я их на пушечный выстрел к себе не подпускаю. Это вы дали маху.

Австрахильда говорит:

– Вот я теперь и прошу вас отрубить головы у этих медицинских работников.

Гунтрам говорит:

– Просьбу вашу, конечно, исполню. Что другое – не знаю, а это сделаю с превеликим удовольствием. Даже я жалею, что вы за такое малое количество людей просите. Может, хотите пристегнуть сюда ещё чего-нибудь, например, ваших сиделок и которые за вами убирают?

Австрахильда говорит:

– Пожалуй! Можно и их. Они тоже, конечно, дурака валяют.

В общем, король и нежный супруг исполнил это последнее желание» (с. 153).

*Россия XVIII века.* Поручик Бергер доложил камергеру Листокку о том, что красавица Лопухина собирается помочь опальному обер-гофмаршалу Левенвольду, которого императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I, решила отправить в Сибирь. Вот чем закончилась эта история: «Старая лиса Лесток, желая ещё больше выдвинуться, решил раздуть это дело до громадных размеров. Он решил создать из этого дела что-то вроде какого-нибудь заговора. Тотчас образовали какую-то комиссию, следствие, суд. И бедную красавицу Лопухину за неосторожную фразу о переменах подвергли пытке и казни. Мерзавцы отрезали ей язык, били её кнутом и сослали в Сибирь» (с. 151). Вот как это выглядело в деталях: «А когда Лопухина не давалась палачу, тот схватил её за горло, потряс, и, вытащив рукой язык, отрезал его щипцами» (с. 202).

Вот как М.М. Зоценко резюмирует историю коварства в мировой истории: «А мы видим, что в истории редко что случалось без коварства. И что на этот скользкий путь, несомненно, многих толкало тёмное прошлое. А поскольку у нас перемена курса – наше будущее нас, естественно, не волнует. А что касается интуристов, то они, наверное, тоже схватятся за ум и до чего-нибудь додумаются. Тем более там многие сами не захотят, чтоб на вершине жизни в полном блеске и в сказочном великолепии болтались у них главным образом спекулянты и тёмные дельцы со своим коварством и хитростью» (с. 195).

Было – у них, стало – и у нас.

## Неудачи

Что же мы видим, перелистывая историю человеческого общества? «И видим прямо нечто удивительное. То есть, кроме неудач, у них как будто мало чего и бывало. Нищие бродят. Прокаженные лежат. Рабов куда-то гонят. Стегают кнутом. Война гремит. Чья-то мама плачет. Кого-то царь за ребро повесил. Папу в драке убили. Богатый побил бедного. Кого-то там в тюрьму сунули. Невеста страдает. Жених без ноги является. Младенца схватили за ножки и ударили об стенку... Как много, однако, неудач. И какие это всё заметные неудачи» (с. 201).

Раздел о неудачах в «Голубой книге» производит поначалу гнетущее впечатление. Но М.М. Зощенко только отбирал факты. От этих фактов ему становилось не по себе: «То есть это прямо в другой раз как-то даже плохо укладывается в голове. Все-таки встречаются милые люди. И вдруг там читаем – целую семью запихали в клетку к медведям. С другого там сняли кожу. Этому отрубили руку. Отрезали нос. Прибили гвоздём шляпу к голове. Посадили на кол.

Английский посол Горсей пишет в своих записках (в 1578 году):

“...А Тулупова посадили на такой длинный кол, что тот вышел около затылка. И пятнадцать часов князь Тулупов мучился и разговаривал со своей женой”.

Другого “правонарушителя”, доктора Емельяна Бомельню, Иван Грозный приказал сжарить на вертеле, медика привязали к деревянному шесту и медленно жарили, поворачивая шест. Потом еле живого бросили за сарай на солому» (с. 201–202).

Тут, брат, не до юмора. Но в дальнейшем ситуация мало-мальски проясняется. Мы видим в четвёртом разделе сцены, которые приносят относительное удовлетворение хотя бы потому, что в них изображаются люди, которые сами виноваты в своих неудачах. Из этих сцен проклёвывается и юмор их летописца.

*Древний Рим.* Император Тиберий, прославившийся крылатой фразой «Пусть ненавидят, лишь бы подчинялись», в молодые годы, когда он был ещё консулом, задумал устроить осмотр римских больниц, но этот замысел потерпел неудачу. Его запуганные исполнители выгнали всех больных в городской сад. «К чести его надо сказать, что эта живая картина в городском саду ему не понравилась».

То есть сначала он от изумления двух слов не мог произнести.

Один из начальников говорит:

– Собрали их всех в саду-с. Чтоб, так сказать, вам не трепаться по разным учреждениям.

Тиберий говорит:

– Да, но как же так, господа? Собрать их всех в одну кучу... Как-то странно.

– Отчего же странно? Собрали-с в одну кучу, чтоб, так сказать, вы могли бы сразу лицезреть что к чему.

Тиберий говорит:

– Да, но, может быть, они не хотят этого... Может быть, они больные. Вон как они у вас болезненно смотрят.

– Отчего же не хотят? Они очень хотят. Только они перед вами стесняются. Вот они и смотрят слегка болезненно. А так-то до вас они у меня тут диски кидали» (с. 209–210).

Настоящую административную проверку высокого начальника услужливые верноподданные сорвали. А кто виноват в их чрезмерной услужливости?

*Европа XVI века.* Папа Александр IV решил отравить своих врагов – двух кардиналов. Он позвал их на именины. Но дело обернулось так, что он сам выпил по ошибке вино с ядом и умер. Сам виноват! А как хорошо всё начиналось! «И они, конечно, приехали. А папа только этого момента и ждал. Он их решил отравить за ужином. И он в вино подсыпал какой-то сильный египетский яд. И, чтобы у гостей не было сомнения, это вино в четырёх одинаковых золотых бокалах принёс на подносе кто-то там из лакеев. Какой-нибудь там мажордом. Торжественно, может быть, внёс этот поднос в столовую. И папа любезно сказал: “Вот, дескать, друзья, нас тут – раз, два, три, четыре – вы оба, и мы с сыном. Давайте же поздравим друг друга с именинами и выкушаем этот искрометный напиток. Ура!”» (с. 206).

*Россия XIX века.* Жизнь В.П. Боткина оказалась неудачной. Он был богат, но жаден до неприличия. «Так что у него денег было много. Но он капитала не трогал и даже процентов не проживал. Он скупился. Он тащил деньги. Сам не зная, для чего. И жил больше чем скромно. Панаева говорит, что он был до крайности расчётлив. Он, например, считал, сколько конфет осталось в коробке. И если хоть одна пропадала, он устраивал крики и скандалы своим

лакеям. В Париже он, попив кофе, имел привычку прятать в карман оставшийся сахар. А когда раз в Париже он под пьяную лавочку дал кокотке сто франков, так он неделю не мог успокоиться. Но тем не менее он был эстет и любил красоту, – в чём бы она ни выражалась» (с. 216). В пятьдесят четыре года он заболел и стал лихорадочно тратить деньги: купил роскошный дом, обвешал его дорогими картинами, ел без меры, но... «вскоре он умер» (с. 206).

Вывод в конце четвёртого раздела М.М. Зощенко делает, как всегда, вдохновляющий: «А если встретим неудачу, от которой нынче не уйти, то воспылаем надеждой, что она у нас не надолго задержится. Как сказал философ: всё течёт, и ничто не пребывает на месте» (с. 229).

### **Удивительные события**

Если в предшествующих разделах «Голубой книги» фигурировали по преимуществу непривлекательные личности, то в последнем М.М. Зощенко решил взять реванш: он выбрал для него людей, которые «создавали удивительные события. И старались переделать всё, что барахталось в грязи, в тине и в безобразии» (с. 278). В число таких людей он включил А. Радищева, К. Рылеева, Л. Бланки, Ф. Подтёлкова и др.

Заканчивая пятый раздел, М.М. Зощенко пишет: «Итак, друзья, наш славный пятый отдел закончен. Так что же мы видим, прочитавши всё это – исторические новеллы и краткий конспект современных удивительных событий из наших дней? А мы видим, что сквозь все невозможные невзгоды, сквозь мрак, холод и туман всегда пробиваются светлая мысль, бодрость, надежда и мужество» (с. 303).

Сделаем выводы:

1. Уже в «Возвращённой молодости» (1933) мы находим у М.М. Зощенко совмещение науки с искусством. На грани науки и искусства им будет написана и его главная книга – «Перед восходом солнца» (1943). «Голубая книга» – посередине. Художественная составляющая в ней, бесспорно, преобладает над научной, но именно последней эта книга обязана юмористической истории культуры.

2. У юмористической истории культуры, рассыпанной в «Голубой книге», открылось теперь второе дыхание. Чуть ли не каж-

дая её строка дышит актуальностью. Лукавят те, кто говорит, что история ничему не учит. Она учит, например, вот чему: всё на свете имеет свой конец; имеет свой конец и тот период в истории России, под жерновами которого мы всё ещё мало-мало трепыхаемся. Но М.М. Зоценко оптимистично предсказывает не только им, но и нам: *«То есть это прямо, знаете, исторический анекдот. Кто больше спёр, тот и царь. Кто больше выиграл или наспекулировал, тому полное почтение. Ну, что это такое? Ясно, что коварства чересчур много. Нет, это не может быть, чтоб это так у них сохранилось на вечные времена. Ясно, что это переменится. Во всяком случае, старый мир с его мешочниками, купцами и спекулянтами в дальнейшем, без сомнения, рассыплется в прах и в тартарары»* (с. 195).

*Литературная учёба. – 2010. – № 3. С. 186–196.*

## **НА ГРАНИ НАУКИ И ИСКУССТВА** **О книге М.М. Зоценко «Перед восходом солнца»**

«Перед восходом солнца» – последняя крупная работа Зоценко. И самая значительная. Это книга-завещание. Книга-исповедь. Исповедь сына века.

*Арсений Гулыга*

«Как странно, как странно... Как я нелепо жил...», – такими были последние слова Михаила Михайловича Зоценко (1894–1958) (1: 60). Какие несправедливые слова! Да, последние годы Михаил Михайлович жил трудно, очень трудно. Но не нелепо! Тем более, если речь идёт о всей его одухотворённой, прекрасной жизни. Он жил не только искусством. Он жил и наукой. Он жил на грани науки и искусства. Во всяком случае – начиная с 30-х годов. На грани науки и искусства находятся и две его повести – «Возвращённая молодость» и «Перед восходом солнца», которую первоначально он назвал «Ключами счастья». Этими повестями он проложил дорогу к особому литературному жанру – научно-художественному.

«Возвращённая молодость» вышла в свет в 1933 г. Художественная часть этой повести очень проста: пятидесятирёхлетний профессор Василий Петрович Волосатов влюбляется в молоденькую распутницу Тулю. Это событие перевернуло его жизнь. Он



уходит из семьи и с жаром принимается за омоложение своего организма. Он в этом преуспевает. Но вся эта история кончается его неожиданной болезнью, после которой он возвращается в лоно своей семьи.

Но художественная часть повести, о которой идёт речь, занимает меньше места, чем научная, оформленная как комментарии к художественной части. Если в первой части мы ещё обнаруживаем следы прежнего М.М. Зощенко – автора юмористических рассказов, то во второй от него не осталось и следа. Она написана наисерьёзнейшим научно-исследовательским стилем, хотя её автор и не претендовал на звание учёного. Появление нового М.М. Зощенко стало неожиданностью не только для читателей, но и для его собратьев – писателей. Так, К.И. Чуковский не принял «научного» М.М. Зощенко.

«Научно-философская часть его книги, – писал К.И. Чуковский в своих воспоминаниях о М.М. Зощенко уже о повести «Перед восходом солнца» (1943), – не идёт ни в какое сравнение с той, которую он писал как художник. Здесь речь его туманна и расплывчата, а там она лаконична, прозрачна, гибка, выразительна» (2: 486). Автор этих слов был прекрасным критиком литературы, но в данном случае он был не прав. Недаром М.М. Зощенко, который в 1919 г. занимался в студии при издательстве «Всемирная литература» под руководством К.И. Чуковского, по-мальчишески обижался на своего бывшего учителя за его непонимание научной стороны его творчества. Вот этот эпизод: «Я (К.И. Чуковский. – *В.Д.*) сказал ему об этом при первой же встрече (в Москве в 1944 году) и добавил, что рассказы эти (инкорпорированные в книгу «Перед восходом солнца». – *В.Д.*) нужно только вышелушить из общего текста.

– Как вы сказали? Вы-ше-лу-шить? – спросил он обиженным тоном, и губы его неприязненно сжались. – Вы-ше-лу-шить? То есть как это вы-ше-лу-шить?» (там же. С. 486).

Было из-за чего обидеться М.М. Зощенко. Если даже такой умный и образованный человек, каким, вне всякого сомнения, был К.И. Чуковский, не захотел понять, почему научная сторона книги «Перед восходом солнца» – совершенно органичный и необходимый компонент текста этой повести в целом, то чего же ждать от других?

Между прочим, в самой книге М.М. Зощенко ответил на «вышеуказанную» К.И. Чуковского: «Я пишу её с надеждой, что она будет полезна людям... Да, путь был бы усыпан розами, если бы я закончил мою книгу в той поэтической форме, в какой я начал. Ах, это была бы славная книжечка, составленная из маленьких изящных новелл, взятых из моей жизни! С улыбкой радости читатель держал бы эту книгу в своих руках. Да и мне было бы куда как легче, проще. Ведь без труда, локтем левой руки, почти с божественной лёгкостью, я писал эти маленькие новеллы, помещённые в моей книге. И вот взамен их вы теперь видите нечто вроде исследования, с сухими, потусторонними словами – рефлекс, симптомы, нервные связи...» (4: 369).

Мы знаем, чего М.М. Зощенко дождался от власти предрержавных: его рассказ «Приключения обезьяны» и повесть «Перед восходом солнца» стали предметом нападков в известном постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград». Читать этот документ до сих пор стыдно. Вот один из позорных его фрагментов: «Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами. Предоставление страниц “Звезды” таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции “Звезда” хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь как “Перед восходом солнца”, оценка которой, как и оценка всего литературного “творчества” Зощенко, была дана на страницах журнала “Большевик»» (<http://www.hist.msu.ru/ER/EText/index.html>). Книга «Перед восходом солнца» – «омерзительная вещь»? Как только язык не отсох у автора этих «примитивных, малокультурных и глупых» слов?

После этого постановления М.М. Зощенко прожил ещё 12 лет, но каких? Его, по существу, вычеркнули из списка советских писателей. И кого? Писателя, который в 20–30-х годах был, пожалуй, самым популярным в СССР. Да и не только в этом дело! Он был

умнейшим, благороднейшим, интеллигентнейшим и образованнейшим человеком своего времени. Его нельзя не любить.

После 14 августа 1946 г., между прочим, М.М. Зощенко держался достойно.

В июне 1954 г. состоялось собрание Ленинградской писательской организации. На нём стоял вопрос о М.М. Зощенко. Прошло больше года, как умер И.В. Сталин, но его устрашающий дух ещё витал над многочисленными головами присутствующих. По-прежнему к М.М. Зощенко преобладало отношение как к прокажённому. В конце этого собрания «подсудимый», в частности, сказал: «У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею» (3). Какие горькие слова!

М.М. Зощенко был больным человеком. Но он боролся со своей болезнью. Его борьба за своё здоровье была и остаётся образцом для других. Он не замкнулся в своей болезни. В книге «Перед восходом солнца» он выставил её напоказ. Зачем? Он хотел помочь людям. Но дело не только в этом. Не только для больных людей писалась эта книга. Он выступает в ней как гуманист и просветитель. Она – гимн разуму, гимн науке. В ней, между прочим, поскольку она писалась в войну, он видел свой вклад в победу над гитлеровским фашизмом, его чудовищным мракобесием, попранием разума.

Но читают ли книгу, которую сам М.М. Зощенко считал главной в своей жизни, сейчас?

Прошу студентов: «Поднимите руки, кто читал Зощенко». В аудитории человек 100. Вижу рук 15.

– Что читаете?

– Рассказы.

– А читали ли Вы «Перед восходом солнца»?

– Нет.

В голове не укладывается это «нет». В студенческие годы наше поколение (70-е годы) читало эту повесть в самиздате, на машинописных листах. А теперь? «Нет». Льщу себя надеждой, что эта статья привлечёт её новых читателей. Её автор жил, страдал, писал не для этого «нет».

О чём книга «Перед восходом солнца»?

У неё очень доступный замысел. Её автора с молодых лет мучил страх. Он мучил его в разных формах – тоски, хандры, меланхолии и т.д. Но всё дело в том, что он не находил его причин. Он выглядел как беспричинный. Подобный страх он обнаружил у других. Вот лишь некоторые его выписки (4: 182–183):

«Я не знал, куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходит эта тоска...»

(Гоголь – матери, 1837 г.)

«У меня бывают припадочки такой хандры, что боюсь, что брошусь в море. Голубчик мой! Очень тошно...»

(Некрасов – Тургеневу, 1857 г.)

«В день двадцать раз приходит мне на ум пистолет. И тогда делается при этой мысли легче...»

(Некрасов – Тургеневу, 1857 г.)

«Все мне опротивело. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился, – только гордость мешает...»

(Флобер, 1853 г.)

«Я живу скверно, чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться...»

(Салтыков-Щедрин – Пантелееву, 1886 г.)

«Я прячу веревку, чтоб не повеситься на перекладине в моей комнате, вечером, когда остаюсь один. Я не хожу больше на охоту с ружьем, чтоб не подвергнуться искушению застрелиться... Мне кажется, что жизнь моя была глупым фарсом».

(Правда о моем отце, Л.Н. Толстой, 1878 г. – Л.Л. Толстой.)

Ниже мы читаем: «Целую тетрадь я заполнил подобными выписками. Они меня поразили, даже потрясли. Ведь я же не брал людей, у которых только что случилось горе, несчастье, смерть. Я взял то состояние, которое повторялось. Я взял тех людей, из которых многие сами сказали, что они не понимают, откуда у них это состояние. Я был потрясён, озадачен. Что за страдание, которому подвержены люди? Откуда оно берётся? И как с ним бороться, какими средствами?» (там же. С. 183).

Чтобы найти ответы на эти вопросы, М.М. Зощенко, как он сам выражался, превратил себя в подопытную собаку. Он стал искать причины своего страха в подсознании. Новеллы, инкорпорированные в его повесть, есть не что иное, как воспоминания о волнующих событиях его жизни, в которых он пытался найти разгадку своего

недуга. Мемуарные рассказы в ней составляют её художественную часть, но они и служат тем средством, с помощью которого автор искал ответ на главный, научный, вопрос: какие условные раздражители вошли в его подсознание, превратив его в психоневротика? Поиск ответа на этот вопрос оказался длительным. Он занял почти всю книгу.

«Итак, я решил вспомнить мою жизнь, – читаем мы в третьей главе, – чтоб найти причину моих несчастий. Я решил найти событие или ряд событий, которые подействовали на меня угнетающе и сделали меня несчастной пылинкой, уносимой любым дуновением ветра. Для этого я решил вспомнить только самые яркие сцены из моей жизни, только сцены, связанные с большим душевным волнением, правильно рассчитав, что только тут и лежит разгадка» (4: 186–187).

Большая часть мемуарных историй выпала у автора на возраст с 16 до 26 лет. Эти истории весьма разнообразны. Они рассказывают и о его любви к Наде, и о непасхальном поцелуе Таты, и о первой годовщине со дня смерти Л.Н. Толстого в Петербургском университете, и о первом заработке на железной дороге, и об участии юного автора в Первой мировой войне, и о его вступлении на литературное поприще, и о его встрече с А.М. Горьким, и о его первых публичных выступлениях со своими юмористическими рассказами. Но он не нашёл в этих историях ответа на поставленный вопрос о причине его болезни. Не нашёл он его и в новом цикле новелл, которые охватывают возраст с 5 до 15 лет. Мелькают новые страницы: о том, как маленький Минька погубил акварельных рыбок; о том, как с Лялей и Олей попал в грозу; о бешеной собаке; о пожаре, об утопленнике; о том, как его отец съел его блин; об его смерти от разрыва сердца и др.<sup>1</sup> Но и здесь он не нашёл искомой разгадки.

---

<sup>1</sup> К.И. Чуковский так оценил художественную сторону повести: «Краткие новеллы, которые в таком изобилии введены в её текст, многозначительны, безусловно художественны. Здесь уже никаких притязаний на “сказ”, никаких забот о курьёзном и затейливом слоге. Даже те читатели, кого не интересуют научные медитации автора, не могут пройти равнодушно мимо таких рассказов, как “Двадцатое июля”, “В подвале”, “Умирает старик”, “Нервы”, “В саду”, “Вор”, “Предложение”, “Финал”, “Я люблю”, “Двенадцать дней”, “Эльвира”. В них такое свободное дыхание, такая непринужденная дикция, словно автор и не замечает своего мастерства» (2: 485).

Ему ничего не оставалось, как вспоминать то, что невозможно вспомнить, – события, произошедшие с ним до двух лет, до восхода солнца разума.

Казалось, он оказался в тупике. Но его мемуарный путь не был напрасен: с помощью врача он привёл его к неожиданному решению: он стал искать разгадку в своих снах: «Тогда я стал думать, какие же сны я чаще всего вижу, о чём эти сны. И тут я припомнил, что чаще всего я вижу тигров, которые входят в мою комнату, нищих, которые стоят у моих дверей, и море, в котором я купаюсь» (4: 302).

Последние главы книги посвящены расшифровке младенческих снов её автора. Почему ему снились тигры? Очевидно, потому, что раскаты грома он принял за рёв тигра. Тигр стал для него символом опасности.

Почему ему снился нищий с его рукой? «Я понял, что эта рука есть то, что я ищу. Я понял, что эта устрашающая меня рука – второй условный раздражитель в сложной комбинации моего младенческого психоневроза» (4: 339).

Почему ему снилось море (вода, река)? Оно стало новым условным раздражителем его болезни. Он, как и предшествующие, продолжал вызывать у М.М. Зощенко неосознаваемый страх (тоску, хандру и т.п.) и в сознательном возрасте. Вот как, например, это выглядело с водой на войне: «Я помню такой случай на фронте. Я вёл батальон на позиции. Перед нами оказалась река. Была минута, когда я смутился. Переправа была нетрудная, тем не менее я послал разведчиков вправо и влево, чтобы найти ещё более лёгкие переправы. Я послал их с тайной надеждой найти какой-нибудь пересохший путь через реку. Было начало лета, и таких путей не могло быть. Я был смущён только минуту. Я велел позвать разведчиков назад. И повёл батальон через реку. Я помню своё волнение, когда мы вошли в воду. Я помню своё сердцебиение, с которым едва справился. Оказалось, что я поступил правильно... Страх действовал вне моего разума. Бурный ответ на раздражение был вне моего сознания. Но болезненные симптомы были слишком очевидны» (там же. С. 310).

Расшифровав устрашающий смысл трёх символов, М.М. Зощенко оставалось разорвать связи между страхом и условными

раздражителями, связанными с этими символами. Это ему удалось! Страхи стали проходить. В эпилоге читаем: «Юношеские мои годы были окрашены чёрной краской, меланхолия и тоска сжимали меня в своих объятиях. Образ нищего преследовал меня на каждом шагу. Тигры подходили к моей кровати, даже когда я не спал. Рев этих тигров, удары и выстрелы довершили картину моей печальной жизни. И куда бы я ни обратил свой смущённый взор – всюду я видел одно и то же. Гибель ожидала меня в любой момент моей жизни. Я не захотел погибнуть столь плачевным образом... Я вышел победителем. Я стал иным после этой победы. Мало сказать иным – возникла новая жизнь, совершенно непохожая на то, что было раньше, на то, что было 15 лет назад. Временами противник делал попытки вернуть свои позиции. Однако мой разум контролировал все его действия, и эти попытки прекратились» (4: 417).

Может быть, М.М. Зощенко преувеличил свой успех с самоисцелением в повести «Перед восходом солнца»? Обратимся к свидетелю – К.И. Чуковскому. Он вспоминал: «В ней он с первых же строк заявил: "...Это книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым... Я сделал, в сущности, простую вещь – я убрал то, что мне мешало, – неверные условные рефлекссы, ошибочно возникшие в моём сознании. Я уничтожил ложную связь между ними". И т.д. Обо всём этом я слышал от него много раз чуть ли не с середины тридцатых годов. В конце концов ему действительно удалось излечиться от своей ипохондриии, он стал бодр, оживлён и общителен» (2: 485).

Книга «Перед восходом солнца» уникальна. В ней органично уживаются две стихии – научная и художественная. Почему бы современным писателям не пойти по стопам её автора, приняв её за образец? О значении подобных образцов для молодых писателей К.А. Федин говорил так: «Как бы ни полезны были для молодого писателя указания мастера, лучшим советчиком, непревзойдённым учителем мастерства остаётся сама художественная литература, образцовые произведения больших художников слова... Поэтому первый совет, который всегда давали старые писатели молодым, был один и тот же: читайте образцы, исследуйте их, сравнивайте – и вы научитесь сами» (5: 201).

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Зоценко Вера*. Последние дни // Звезда. – 1994. – № 8. – С. 53–63.
2. *Чуковский К.И.* Современники. Портреты и этюды. – М.: Молодая гвардия, 1967.
3. *Гранин Д.* Мимолетное явление // Вспоминая Михаила Зоценко. – Л.: Художественная литература, 1990: alexpro@enteh.com
4. *Зоценко М.М.* Возвращённая молодость. Перед восходом солнца. – М.: Известия, 1991.
5. *Федин К.А.* О долге. – М.: Советская Россия, 1988.

*Литературная учёба. – 2010. – № 3. – С. 186–196.*

### **НОВАТОРСТВО ЛЕОНИДА ФИЛАТОВА в сказке «Про Федота-стрельца, удалого молодца»**

Прошло уже несколько лет со дня смерти Леонида Алексеевича Филатова (24 декабря 1946 – 26 октября 2003), но боль от его ухода не утихает. Одно утешение: время от времени мы видим героев, сыгранных им, на экране телевизора, а иногда нам показывают, «чтобы помнили», и передачи о его жизни. Он был не только актёром, но и режиссёром, сценаристом, драматургом и поэтом. Если говорить обобщённо, он был кинематографистом и литератором.

О литературной стороне жизни Л.А. Филатова знают немногие. Между тем его литературное наследие весьма внушительно. О масштабах этого наследия можно судить по таким строчкам: «Среди литературных произведений Леонида Филатова – стихи, пародии, сказки, пьесы: “Таганка-75” (цикл стихотворных пародий), “Про Федота-стрельца – удалого молодца” (1986; пьеса-сказка), “Сукины дети” (1990; киноповесть), “Свобода или смерть”, “Оранжевый кот” (1997), “Любовь к трём апельсинам” (1998; пьеса; по мотивам Карло Гоцци), “Стихи, песни, пародии, сказки, пьесы, кинопьесы” (1998; сборник из серии “Зеркало. XX век”), “Лизистрата” (народная комедия на темы Аристофана), “Жизнь – театр” (совместно с Валентином Гафтом), “Дилижанс” (по мотивам новеллы Ги де Мопассана “Пышка”; пьеса), “Ещё раз о голом короле” (на темы Ганса Христиана Андерсена и Евгения Шварца; пьеса) “Новый декамерон” (пьеса), “Золушка до и после” (пьеса), “Моцарт и Сальери” (пьеса), “Гамлет” (пьеса), “Рассказ о ревнивом супруге” (пьеса), “Рассказ о трёх беспутных приятелях” (пьеса), “Рассказ о



глухонемом садовнике” (пьеса)» (<http://www.foxdesign.ru/aphorism/biography/filatov.html>).

К этому перечню литературных трудов Л.А. Филатова следует добавить его прекрасную автобиографическую книгу «Прямая речь» (М.: АСТ: Зебра Е, 2007). Вот какую запись в ней мы можем прочитать: «Болезнь – следствие и безрежимья, и избыточного количества работы, которую я сам себе назначил, и личных огорчений. И, конечно, того, что сегодня происходит в стране. Так уж мы русские устроены: за всё болит душа, слишком много нам надо для счастья» (с. 350). Есть в этой книге и такая запись: «Больше всего ценю жизнь. Пять лет провёл прикованный к постели, и поэтому ценю каждую минуту. Пойти поставить чайник – это жизнь. Подумать и что-то придумать – жизнь. Жена пришла с рынка, сделал в театре премьеру – всё жизнь» (с. 319).

О выдающемся поэтическом даре Л.А. Филатова можно судить по такому его «щемящему» стихотворению:

О, не лети так, жизнь!  
Слегка замедли шаг.  
Другие вон живут  
Неспешны и подробны.  
А я живу, мосты, вокзалы, ипподромы  
Промахивая так, что только свист в ушах.

О, не лети так, жизнь!  
Мне важен и пустяк.  
Вот город, вот театр.  
Дай прочитать афишу.  
И пусть я никогда спектакля не увижу,  
Зато я буду знать, что был такой спектакль.

О, не лети так, жизнь!  
Я от ветров рябой.  
Позволь мне этот мир  
Как следует запомнить.  
А если повезёт, то даже и заполнить  
Хоть чьи-нибудь глаза хоть сколь-нибудь собой.

О, не лети так, жизнь!  
На миг, но задержись.  
Уж лучше ты меня пытай, калечь и мучай.  
Пусть будет всё: тюрьма, болезнь, несчастный случай.  
Я всё перенесу, но не лети так, жизнь.

При написании своей сказки Л.А. Филатов опирался на русскую народную сказку «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Но фольклорная сказка была лишь отправным пунктом для его собственной. В своём её варианте он выступает как новатор, сумевший с блеском преобразовать прозаический текст в стихотворный. Настоящая статья – лишь робкая попытка наметить путь, по которому, возможно, пойдут будущие исследователи, чтобы во всей полноте выявить новаторство Леонида Филатова в его шедевре.

О новаторстве Л.А. Филатова в его сказке невозможно судить без её сравнения с исходными текстами. Если не брать во внимание нюансы, насчитывается пять вариантов сказки «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что»: четыре – в обработке А.Н. Афанасьева и один – в обработке А.Н. Толстого. Для краткости обозначим их так: А1, А2, А3, А4 и Т5, а сказку Л.А. Филатова – Ф6. Каждый из этих текстов проанализируем по трём параметрам: *герои* (Г), *сюжет* (С) и *образы* (О).

**А1Г.** Федот – стрелец, Стрельчиха – его жена. Король. Комендант. Баба Яга. Молодцы-волшебники. Мать и сёстры Стрельчихи. Лягушка. Шмат-разум. Два старца. Куницы. Народ.

**А1С.** Федот-стрелец подстреливает птицу-горлицу, которая превращается в девицу-красавицу и становится его женой. Она вышивает на ковре всё королевство – с городами и деревнями, реками и озёрами. Этот ковёр покупает королевский комендант и показывает его королю. Он его перекупает. Комендант навещает Стрельчиху и влюбляется в неё. О невообразимой красоте жены Федота узнаёт король, который сам решает на ней жениться. Но для начала ему нужно известить Федота. Он приказывает это сделать коменданту. Тот обращается за помощью к Бабе Яге. Она советует дать Федоту два задания. Первое из них – раздобыть золоторогого оленя. С этим заданием легко справляются два молодца-волшебника, которые служат Стрельчихе.

Со вторым заданием дело оказалось более сложным: Федот должен «пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что». Основная часть сказки посвящена описанию путешествия Федота, в результате которого он выполнил и второе задание короля. Волшебный мячик привёл его к великолепному дворцу, в котором жили мать Стрельчихи и её сёстры. Тёща снабжает Федота чудо-

лягушкой, которая, раздувшись, словно сенной стог, переносит его через огненную реку к горе с дверью в пещеру. В этой пещере Федот и находит то, не знаю что, – невидимого волшебника по имени Шмат-разум. Он подхватывает Федота буйным ветром и несёт его домой. Но до возвращения домой Шмат-разум сооружает посреди моря золотую беседку, к которой пристают три корабля с купцами. Федот отдаёт им Шмат-разума в обмен на три чудо-вещи – ящичек, топор и рог. Тот, кто открывает ящичек, оказывается в прекрасном саду. Чудо-топор, в свою очередь, может моментально натяпать множество кораблей, а по зову рога появляется целое войско. Эти волшебные вещи помогают Федоту расправиться с королём и его армией. Сам король погибает. Народ призывает Федота стать королём. Он соглашается и правит королевством со своей красавицей женой.

**А10.** Федот выглядит в этом варианте сказки абсолютно безынициативным. Он – простой исполнитель. Он действует так, как ему велит его жена, тёща, лягушка, Шмат-разум и др. Но его действия оказываются успешными.

Самая хитрая в сказке – жена Федота. Недаром прозорливая Баба Яга заявляет: «Сам-то он (Федот. – *В.Д.*) прост, да жена у него больно хитра!» (<http://babylib.ru/abc/p/pojjdi-tuda-ne-znayu-kuda-prinesi-to-ne-znayu-chto-afanasev-aleksandr-nikolaevich>). Правда, свою хитрость Стрельчиха черпает из волшебной книги, а помощниками ей служат два молодца-волшебника.

Образ короля в этой сказке запоминается главным образом своими угрозами. Вот что он говорит, например, коменданту: «Сумел ты показать мне стрельцову жену – красоту невообразимую; теперь сумей известить её мужа. Я сам на ней хочу жениться... А не изведёшь, пеняй на себя; хоть ты и верный мой слуга, а быть тебе на виселице!» (там же). А Федоту он с той же лёгкостью необыкновенной обещает: «Ну, Федот! Ты у меня молодец, первый в команде стрелец. Сослужил ты мне одну службу – достал оленя золотые рога; сослужи и другую: поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что! Да помни: коли не принесёшь, то мой меч – твоя голова с плеч!» (там же).

Комендант умом не блещет. Он занимает его у Бабы Яги. Но он очень изворотлив в исполнении приказов короля. Его отличительная черта – влюбчивость. Как только он увидел Стрельчиху,

так сразу же «совсем не свой сделался: и во сне и наяву только и думает, что о прекрасной стрельчихе; и ест – не заест, и пьёт – не запьёт, всё она представляется!» (там же).

В данном варианте сказки немаловажную роль играет мать Стрельчихи. Благодаря ей Федот и добирается до Шмат-разума. Именно она нашла для Федота старую колченогую лягушку, которая привела его к Шмат-разуму. Не обошлось здесь, как и полагается в сказке, без чуда. Вот как выглядит сцена с перепрыгиванием лягушки через огненную реку: «“Ну, добрый молодец, садись на меня, да не жалей; небось не задавишь!” Стрелец сел на лягушку и прижал её к земле: начала лягушка дуться, дулась-дулась и сделалась такая большая, словно стог сенной. У стрельца только и на уме, как бы не свалиться: “Коли свалюсь, до смерти ушибусь!” Лягушка надулась да как прыгнет – перепрыгнула через огненную реку и сделалась опять маленькою» (там же).

Что же собой представляет Шмат-разум? Он – говорящий невидимка. Его волшебная сила так велика, что, кажется, нет в этом мире чуда, на которое он не был бы способен. Накормить чудесным образом бессчётное количество людей, например, для него – пара пустяков. Но вот что интересно: он использует свои чудодейственные способности не для себя, а для своего хозяина. Он – раб. Сначала он был рабом двух старцев в пещере, а потом стал рабом Федота.

**А2Г.** Вторая половина А2, начиная с поисков Шмат-разума, полностью совпадает с А1. В первой же половине действуют такие герои: *стрелок (безымянный); Марья-царевна Премудрая – его жена; царь; бояре, генералы и полковники; теребень – жалкий пьяница; пастушки и работнички.*

**А2С.** Царский стрелок выслеживает трёх утиц. Две из них серебряные и одна золотая. Они садятся на берег моря, сбрасывают оперение, превращаются в прекрасных девиц и купаются. Тем временем стрелок прячет крылышки золотой утицы. После купания серебряные птицы улетают, а оставшаяся девица умоляет вернуть ей её крылышки: «Отзовись, – говорит, – кто взял мои крылышки? Коли стар человек – будь мне батюшка, а старушка – будь мне матушка; коли млад человек – будь сердечный друг, а красная девица – будь родная сестра!». Услыхал эту речь стрелок и приносит ей золотые крылышки. Марья-царевна взяла свои крылышки и

промолвила: «Давши слово, нельзя менять; иду за тебя, за доброго молодца, замуж!» (там же). Так Марья-царевна стала женой стрелка. В неё влюбляется царь. От своих придворных он требует найти ему невесту, которая по своей красоте не уступала бы жене стрелка. Придворные бояре, генералы и полковники (они выступают здесь как коллективный комендант) не могут выполнить приказ царя. На помощь им приходит теребень, который, как Баба Яга в А1, советует раздобыть стрелку сначала златорогую козу, потом златогривую кобылицу, а затем, когда они были доставлены с помощью верных слуг Марьи-царевны в царский дворец, дело доходит и до третьего задания: пойти туда – неведомо куда, принести то – чёрт знает что. Стрелок выполняет и это задание.

**А2О.** Стрелок здесь настолько бесцветен, что у него нет даже имени. Но его жена, как и в А1, – самая премудрая среди всех героев. Ей служат здесь не два молодца-волшебника, а многочисленные батюшкины пастушки и матушкины работнички. Царь в А2 выглядит благороднее своего собрата из А1: в отличие от царя из А1, он не требует от своих бояр, генералов и полковников, чтобы они извели стрелка и тем самым позволили царю жениться на Марье-царевне. Он хочет от них только одного: «“Вот вам моя золотая казна! Берите, сколько надобно, только достаньте мне такую ж красавицу, какова жена у моего придворного стрелка”. Все бояре, генералы и полковники отвечали ему: “Ваше величество! Мы уже век доживаем, а другой подобной красавицы не видывали”. – “Как знаете, а моё слово – закон!”» (там же). Только по наущению теребеня царь вынужден согласиться на Марию-царевну, а следовательно, и на три задания для её мужа, чтобы от него избавиться.

**А3Г.** *Тарабанов – отставной солдат. Его жена (безымянная). Купец. Король. Его покойный отец. Генерал. Старик с ногой. Саура-слуга.*

**А3С.** Отставной солдат Тарабанов пробирается во дворец, где он пробует яства, рассчитанные на двенадцать персон. Неожиданно в окно залетает двенадцать сестриц-лебедушек. Ударившись об пол, они превращаются в красных девиц. У одной из них Тарабанов берёт крылышки. Она умоляет его их вернуть. Он неумолим: «Сколько ни проси, сколько ни плачь – ни за что не отдам твоих крылышек! Лучше согласишься быть моей женою, и станем жить вместе» (Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / сост. А.А. Го-

релов. – Л., 1983. С. 225). Красной девице ничего не остаётся, как выйти за солдата замуж. Молодожёны, набив солдатский ранец золотом из подвального сундука, селятся в столичном городе. Жена Тарабанова просит мужа купить шёлку и шьёт из него три чудных ковра. Их приобретает купец, который показывает их королю. Король навещает солдатскую жену и по уши в неё влюбляется. Чтобы избавиться от её мужа, он приказывает генералу его известить. По генеральскому совету король приказывает солдату раздобыть Сауру-слугу, который так мал, что помещается в кармане. С помощью жены Тарабанов выполняет первое задание короля. По совету генерала король даёт солдату второе задание: отправиться на тот свет, чтобы узнать, как там живёт его батюшка. Тарабанов выполняет с помощью жены и это задание: вместе с генералом он добирается до того света, где видит такую сцену: «на старом короле два чёрта дрова везут – большущий воз! – и погоняют его дубинками: один с правого боку, а другой с левого» (там же. С. 228). Вот что старый король рассказал солдату о своей жизни на том свете: «Ах, служивый! Плохое моё житье. Поклонись от меня сыну да попроси, чтобы служил по моей душе панихиды; авось господь меня помилует – освободит от вечной муки. Да накрепко ему моим именем закажи, чтобы не обижал он ни черни, ни войска; не то бог заплатит!» (с. 229). Король прислушивается к совету своего батюшки, производит солдата в генералы и перестаёт думать о его жене.

**А3О.** Солдат Тарабанов в А3 более активен, чем его собратья в предшествующих вариантах сказки. Без подсказки жены он, например, находит способ уговорить чертей отпустить на время старого короля: его место в упряжке занимает генерал. Король здесь напоминает своего коллегу из А1. Но есть и разница: он добровольно отказывается от притязаний на жену солдата. Это спасает ему жизнь. Свообразен в А3 и Саура-слуга. В отличие от Шматраза, он не ощущает себя всесильным. Он, например, жалуется солдату на своего прежнего хозяина – старика с ногой, который, несмотря на свой крошечный рост, съедает зараз целого быка и выпивал целую бочку пива: «...старик мой такой обжора, что иной раз из сил выбьешься, пока его досыта учествуешь» (с. 227).

**А4Г.** *Бездольный – купеческий сын. Его жена (безымянная). Царь. Воевода. Тётка жены. Никто. Два мужика. Кот-баюн.*

**А4С.** Жил-был купеческий сын. Не заладилась у него торговля после смерти отца. Ничего путного не вышло и из его батрачества, пастушества и работы на винном заводе, который он почти весь сжёг по недосмотру. Но царь его не стал наказывать. Более того, он помог ему выжить, назвав Бездольным.

Однажды Бездольный оказался в большом доме, в который прилетело тридцать три сестры-голубки. Младшая становится его женой. В неё влюбляется воевода. Чтобы избавиться от её мужа, он оговаривает Бездольного перед царём. Тот даёт ему первое задание: «Сходи в город Ничто, принеси неведомо что». С помощью жены Бездольный выполняет это задание. Воевода не успокаивается: снова клеветает на Бездольного. Царь даёт ему второе задание: отправляет его за котом-баюном. Бездольный выполняет и это задание.

**А4О.** В начале А4 главный герой выглядит как жалкий недотёпа, но после женитьбы он неожиданно преобразуется. Более того, он становится трижды убийцей. По его приказу волшебная дубинка убивает двух мужиков, с которыми он встретился после выполнения первого задания. А после выполнения второго он потребовал от царя закопать воеводу живьём. Царь, испугавшись кота-баюна, выполняет это требование Бездольного.

Жена Бездольного здесь почти не пользуется волшебством, но она сказочно прозорлива. Так, для победы над котом-баюном она снабжает мужа тремя колпаками, тремя просвирами и тремя прутьями. Без них её муж не смог бы одолеть грозного кота-баюна.

Царь в А4 открывается перед нами с неожиданной стороны: он – добр. Если он и посылает Бездольного на выполнение смертельных заданий, то только по наущению воеводы.

**Т5Г.** *Андрей – царский стрелок. Марья-царевна – его жена и дочь Бабы Яги. Царь. Царский советник. Терebenь – пьяница. Покойный царь. Кот Баюн (с таким написанием). Баба Яга. Лягушка. Свят Наум. Купцы-корабельщики. Народ.*

**Т5С.** А.Н. Толстой использовал для своей обработки сказки, о которой здесь идёт речь, все четыре афанасьевских варианта. Её начало он взял из А1 (до появления терebenя), переименовав Федота-стрельца в стрелка Андрея. В роли Бабы Яги из А1 у А.Н. Толстого выступает терebenь из А2. Из разных вариантов сказки он взял и задания для Андрея: путешествие к покойному батюшке

царя и ловля кота Баюна (А4), «поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Тётка жены главного героя из А4 превращается у А.Н. Толстого в Бабу Ягу и, как ни странно, в мать его жены Марьи-царевны. Из А1 в Т5 перекочёвывает чудо-лягушка. А Шмат-разум (Никто) становится сватом Наумом. Не оставляет в стороне А.Н. Толстой и прожорливого старичка с ноготь из А4. Из А1 он взял трёх купцов-корабельщиков, которые снабдили его тремя волшебными вещами – дубинкой (А4), топором (А1) и дудкой (они подобны гусям из А1). С помощью этих вещей Андрей расправляется с царём и его войском и по народному волеизлиянию сам становится царём (А1).

**Т50.** А.Н. Толстой мастерски обрабатывает материал всех вариантов сказки «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Его вариант этой сказки выглядит вполне цельным, но степень его новизны в сравнении с исходным материалом невелика. Она связана главным образом с незначительной конкретизацией образов её героев. Так, сват Наум у А.Н. Толстого приобретает новые черты: он выглядит весьма жалким. Он щедро кормит своих хозяев, но сам живёт впроголодь:

«Андрей сел за стол и говорит:

– Сват Наум, садись, брат, со мной, станем есть-пить вместе.

Отвечает ему невидимый голос:

– Спасибо тебе, добрый человек! Столько лет я здесь служу, горелой корки не видывал, а ты меня за стол посадил» (Сказки народов мира: в 10 т. Т. 1. Русские народные сказки. – М., 1987. С. 45).

Подобных диалогов у А.Н. Толстого значительно больше, чем в исходных текстах. Но неизмеримо больше их стало в сказке Л.А. Филатова. Это естественно, поскольку её автор блестяще преобразовал прозаический материал в стихотворную сказку для театра.

**Ф6Г.** *Скоморох-потешник. Федот. Маруся. Царь. Царевна. Нянька. Генерал. Баба Яга. Голос. Тит Кузьмич, Фрол Фомич – два дюжих молодца. Послы, стража, свита, народ.*

Мы видим здесь новых героев – скомороха-потешника (рассказчика), Царевну, няньку, послов, стражу. Кроме того, Марья-царевна становится Марусей, а молодцы-волшебники получают у Л.А. Филатова имена собственные. Правда, Шмат-разум (Никто, сват Наум) становится безымянным.



**Ф6С.** Царь отправляет Федота на охоту. «Обошёл Федот сто лесов, сто болот, да всё зазря – ни куропатки, ни глухаря!» (*Филатов Леонид*. Про Федота-стрельца, удалого молодца. Стихи, сказки, пародии. М., 2007. С. 9). Но эта охота для него стала судьбоносной: он находит в лесу голубицу, которая превращается в красную девицу и быстренько становится его суженой. Но ему не до медового месяца: без его дичи царю нечем угостить «аглицкого» посла. Выручает Маруся. Её всемогущие слуги – Тит Кузьмич и Фрол Фомич – заваливают царский стол яствами, каких свет не видывал: «каравай хлеба, икры бадейка, тушёная индейка, стерляжья уха, телчьи потроха – и такой вот пищи названий до тыщи!» (там же).

Дальнейшие события разворачиваются в сказке по фольклорному сценарию. В Марусю влюбляется сначала генерал, а потом – царь. Последний даёт приказ генералу известить мужа Маруси, чтобы царь мог стать её мужем. Генерал обращается за советом к Бабе Яге. Та советует дать ему три задания – раздобыть ковёр, «чтоб на ём была видна, как на карте, вся страна» (с. 25); найти златорогого оленя и, наконец, добыть

То-Чаво-На-Белом-Свете –  
Вообще-Не-Может-Быть!

Федот выполняет все три задания. В конце сказки он вершит над царём и его прислужниками праведный суд.

**Ф6О.** По своему объёму сказка Л.А. Филатова не идёт в сравнение ни с одним из исходных текстов. Она превышает любой из них в десятки раз. Увеличение её объёма позволило автору развернуть, конкретизировать, расцветить исходный материал до такой степени, что он воспринимается так, как и должен восприниматься, – как стартовая площадка для создания нового авторского произведения. Степень разработанности его образов оказывается у Л.А. Филатова настолько высокой по сравнению с фольклорными образами, что последние, хотя и сохраняют свою вековую привлекательность, волей-неволей выглядят как бледные схемы филатовских героев.

Отсюда следует, что первый аспект новаторства Л.А. Филатова в его сказке является количественным. Но количество переходит в качество. Отсюда следует, что второй аспект новаторства Л.А. Филатова в его сказке является качественным. Он включает в себя, по крайней мере, четыре стилистические стихии – реалистическую,

просторечную, юмористическую и ироническую. Они врываются в неё с такой мощью, с такой изящностью, с такой естественностью, что превращают фольклорных героев чуть ли не в наших современников. При этом герои Л.А. Филатова сохраняют в себе типовые черты фольклорных прообразов.

### **Скоморох-потешник**

Четыре стилистические стихии, о которых я говорил, представлены в речи потешника, так сказать, в чистом виде, поскольку он выступает в сказке не в роли действующего лица, а в роли рассказчика. Они заявляют о себе в самом её начале:

«Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообще. Служба у Федота – рыбалка да охота. Царю – дичь да рыба, Федоту – спасибо. Гостей во дворце – как семян в огурце. Один из Швеции, другой из Греции, третий с Гавай – и всем жрать подавай! Одному – омаров, другому – кальмаров, третьему – сардин, а добытчик один! Как-то раз дают ему приказ: чуть свет поутру явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности в ём – огромный объём. Смотрит на Федыку, как язвенник на редьку. На Федыке от страха намокла рубаха, в висках застучало, в пузе заурчало, тут, как говорится, и сказке начало...» (с. 8).

Стихия просторечная: *аль, вообще, жрать, башка, в ём, огромный, на вид сморчок, в пузе заурчало* и др. Подобных примеров читатель может найти в анализируемой сказке в изрядном количестве. Разумеется, просторечия имеются и в народных сказках, но в них они воспринимаются не столько как просторечия, сколько как архаизмы.

Стихия реалистическая: портретная характеристика Федота здесь выглядит вполне реалистично. Если сказать об этом портрете обобщённо, то выйдет вот что: ни то ни сё, ни рыба ни мясо, ни бе ни ме ни кукареку. Для сомневающихся в реалистичности такого образа приведу пример из известного произведения великого реалиста Н.В. Гоголя. Вот как он описал портрет своего Чичикова: «В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод» (*Гоголь Н.В. Избранные*

сочинения: в 2 т. Т. 2. – М., 1984. С. 174). Автор «Мёртвых душ» отнёс своего героя к «господам средней руки» (там же). К героям «средней руки» мы можем отнести и Федота.

Юмористическая стихия: во вполне юмористическом духе здесь описан, например, царь: *на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности в ём – огромный объём.*

Ироническая стихия: прибыли послы – дело серьёзное, а как оно оборачивается в речи потешника? *«...и всем жрать подавай!»*

Просторечностью, реалистичностью, юмором и иронией дышит в сказке Л.А. Филатова каждая строка. Ими наполнен каждый её образ.

### Федот

Нельзя недооценивать Федота. Как успешный исполнитель, он и на самом деле удалой. Свою удалость он подпитывает отсутствием ложной скромности. На приказ царя добыть дичи он отвечает (с. 9):

Нешто я да не пойму  
При моём-то при уму?..  
Чай, не лаптем щи хлебаю,  
Сображаю, что к чему.

Получается, на мне  
Вся политика в стране:  
Не добуду куропатку –  
Беспрерывно быть войне.

Чтобы аглицкий посол  
С голодухи не был зол –  
Головы не пожалею,  
Обеспечу разносол!

Удалость Федота заявляет о себе и в роли защитника русского народа (с. 66):

Хватит делать дураков  
Из расейских мужиков!  
Мне терять теперя неча,  
Кроме собственных оков.

Марксистская аллюзия, имеющаяся в последней строчке, приобщает Федота к борцам за социальную справедливость. Вот почему его любит народ. Генерал жалуется царю (с. 22):

Дерзкий нынче стал народ,  
Не клади им пальца в рот, –  
Мы не жалуем Федота,  
А народ – наоборот!

Вот какими словами Федот предвывает суд над представителем повергнутого царского режима (с. 73):

Ну и ушлый вы народ –  
Ажно оторопь берёт!  
Всяк другого мнит уродом,  
Несмотря, что сам урод.

Хоть вобче расейский люд  
На расправу и не лют,  
Но придется мне, робяты,  
Учинить над вами суд.

## Маруся

Хоть Федот и преисполнен непомерным чувством собственного достоинства, но надо быть справедливым: своими успехами в своей многотрудной жизни он обязан в первую очередь своей жене. Её образ – мечта для всякого мужчины. Муж нюни распустил, не знает, как выйти из трудной ситуации, а его жена ему говорит: «Не кручинься и не хнычь! Есть печали и опричь!» (с. 36).

Жена Федота у Л.А. Филатова поименована не Марьей-царевной, а Марусей, но её роль от приземлённости имени в этой сказке ничуть не преуменьшена. Именно она-то, если разобраться, и есть «гвоздь программы», именно из-за неё-то в сказке сыр-бор и загорелся. Сначала она, не дав прийти в себя Федоту, ошарашенному её неожиданным превращением из голубицы в его жену, помогает выбраться своему новоявленному муженьку из ситуации с неудачной охотой, а потом она становится яблоком раздора между Федотом с одной стороны, генералом и царём с другой стороны.

Вот в каких сложных обстоятельствах Федоту довелось жениться (с. 11):

Принёс Федот горлинку к себе, значит, в горенку. Сидит невесел, головушку повесил. И есть для кручины сурьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота. А царь шутить не любит – враз башку отрубит. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил про птицу, лесную голубицу. Глядь – а среди горенки заместо той горлинки стоит красна девица, стройная, как деревце!..

Маруся

Здравствуй, Федя!.. Ты да я –  
Мы теперь одна семья.  
Я жена твоя, Маруся,  
Я супружница твоя.

Никто не спорит с тем, что Марусе легче, чем Федоту, находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций: у неё есть верные слуги-волшебники – Тит Кузьмич и Фрол Фомич, но у неё есть и другие достоинства, к которым Тит Кузьмич и Фрол Фомич не имеют отношения. Она, например, верная жена. Она отказала не кому-нибудь, а самому царю. Вот как выглядит у Л. Филатова фрагмент диалога между ею и сватающимся к ней царём (с. 51):

Маруся

Не успел ишо Федот  
Шагу сделать от ворот,  
А уж вороны слетелись  
На Федотов огород!..

Царь

Ты мне, девка, не дури!  
Предлагают – дак бери!  
Чай, к тебе не каждый вечер  
Ходют вдовыя цари!..

Сей же час, я говорю,  
Собирайся к алтарю!  
Очумела от восторга,  
Дак нюхни нашатырю!

Маруся

Ты уж лучше, государь,  
За другими приударь!  
Мне ж забота – ждать Федота  
Да глядеть на календарь!

## Царь

Царь у Л.А. Филатова – самый комичный персонаж. Он сохраняет от его фольклорного прообраза две главные черты – грозность и влюбчивость. Но эти черты приобретают в сказке Л.А. Филатова явный комический оттенок. Мы помним, что он был горазд на угрозы во всех вариантах исходной сказки, кроме А4. Эти угрозы выглядят в них весьма внушительно, а об угрозах царя в сказке Л.А. Филатова можно сказать словами Л.Н. Толстого о Л.Н. Андрееве: «Он пугает, а мне не страшно». Даже и царские угрозы Л.А. Филатов сумел представить в комическом виде. Они нереалистичны. Вот, например, как выглядит одна из них, адресованная генералу (с. 39):

Сколь ни бился ты, милоч, –  
Не попал Федот в силоч!  
Об тебе уже составлен  
Фициальный некролог.  
Только надобно решить,  
Как верней тебя решить:  
Оглушить канделябром  
Аль подушкой задушить?..

Комично представлены у Л.А. Филатова и претензии царя на жениховство. В роли насмешницы здесь выступает нянька (с. 47):

...И на кой тебе нужна  
В энтот возрасте жена?  
Ведь тебе же, как мужчине,  
Извиняюсь, грош цена!..

Царь не унимается (с. 48):

Хоть волосев я лишен,  
А жениться я должен!  
Шах персидский тоже лысый,  
А имеет сорок жен!

Я ж хочу всего одну  
Завести себе жену!  
Нешто я в интимном смысле  
И одну не потяну?..

Нянька разбивает его жениховские претензии в пух и прах (с. 49):

Ты, дружок, из тех мужей,  
Что безвреднее ужей:  
Егозят, а не кусают,  
Не сказать ишо хужей!

Царю ничего не остаётся, как обратиться за помощью к генералу (там же):

Ну а ты чаво молчишь  
Да медальками бренчишь?  
Аль не видишь, как поганют  
Государственный престиж?

Нянька гнёт меня в дугу,  
А министр – ни гугу!  
Ты у нас по обороне,  
Вот и дай отпор врагу!..

Дополнительную возможность для юмористической и иронической обрисовки царя автору сказки даёт введение новых героев – в особенности – няньки и послов. В общении с «аглицким» послом, например, царь предстаёт в качестве главы государства. Но по вопросам, которые он ему задаёт, легко судить об уровне его притязаний на искусство дипломатии. Вот эти вопросы (с. 13–14):

Царь  
Вызывает антирес  
Ваш технический прогресс:

Как у вас там сеют брюкву –  
С кожурою али без?..

Посол

Йес!

Царь

Вызывает антирес  
Ваш питательный процесс:  
Как у вас там пьют какаву –  
С сахарином али без?..

Посол

Йес!

Царь

Вызывает антирес  
И такой ишо разрез:  
Как у вас там ходют бабы –  
В панталонах али без?

Посол

Йес!

Роль дипломата побуждает царя прибегать здесь к книжной лексике: *технический прогресс, питательный процесс, разрез*. Подобная лексика в фольклорном материале отсутствует вообще. Между тем просторечная лексика, как и всюду в сказке, здесь явно преобладает над книжной: *антирес, али, какаву, ишо, бабы* и т.п. Но главный источник авторской иронии здесь – бессмысленность беседы царя со своим послом, поскольку тот ни бельмеса не понимает по-русски, а переводчика рядом посадить никто не догадался. Знанием иностранных языков сам царь не блещет, но кое-какие познания в этой области у него имеются. К иностранным послам он обращается так (с. 59):

Добрый день, весёлый час!  
Рады видеть вас у нас!  
Вери гуд, салам алейкум,  
Бона сэра, вас ист дас!

Кто вы родом?.. Сколь вам лет?..  
Вы женаты али нет?  
Не хотите ль с нашей фройлен  
Покалякать тет-а-тет?



Образ царя предстаёт перед нами не только с комической стороны. Он создан не для одной потехи. Он воплощает в себе ещё и произвол государственной власти. Закон для него что дышло. Это не очень весело. Вот как он наставляет генерала (с. 22):

Действуй строго по закону,  
То бишь действуй... втихаря.

Горькой иронией наполнены такие строчки Л.А. Филатова о лицемерной заботе царя о своём народе (с. 69):

Зря ты, Федя, для меня  
Мой народ – моя родня.  
Я без мыслей об народе  
Не могу прожить и дня!..

Утром мажу бутерброд –  
Сразу мысль: а как народ?  
И икра не лезет в горло,  
И компот не льётся в рот!

Ночью встану у окна  
И стою всю ночь без сна –  
Всё волнуюсь об Расее,  
Как там, бедная, она?

### Нянька

Няньки не было ни в одном из вариантов исходной сказки. Её образ, не стеснённый фольклорными ограничениями, вышел неожиданным: она легко позволяет говорить царю всю правду-матку. Мы видели это в её диалогах по поводу намерения царя жениться, мы видим это и в других ситуациях. Её характеристика послов, например, бьёт в самую точку. О «гишпанском» гранде, например, она говорит (с. 17):

Как же, помню!.. Энтот гранд  
Был пожрать большой талант:  
С головою влез в тарелку,  
Аж заляпал жиром бант!

Что у гранда не спроси –  
Он, как попка, – «си» да «си»,  
Ну а сам всё налегает  
На селедку иваси!

Как она позволяет себе разговаривать с царём? Вот так, например (с. 14):

Постеснялся хоть посла б!..  
Аль совсем башкой ослаб?..  
Где бы что ни говорили –  
Всё одно сведёт на баб!

Не боится нянька и угроз царя. Таких, например (с. 18):

Ну, шпиёнка, дай-то срок –  
Упеку тебя в острог!  
Так-то я мужик не злобный,  
Но с вредителями строг.

Нянька хорошо ориентируется в политической обстановке. После свержения царя она говорит его эмансипированной дочке (с. 77):

Нам теперь – имей в виду! –  
Надо быть с толпой в ладу:  
Деспотизм сейчас не в моде,  
Демократия в ходу.

## Генерал

Генерал у Л.А. Филатова – типичный служака, готовый на любую подлость. Вот как его представляет автор (с. 19):

Был у царя генерал, он сведенья собирал. Спрячет рожу в бороду – и шасть по городу. Вынюхивает, собака, думающих инако. Подслушивает разговорчики: а вдруг в стране заговорчики? Где чаво услышит – в книжечку запишет. А в семь в аккурат – к царю на доклад.

По силе страсти к Марусе он превосходит всех своих фольклорных прообразов. Вот как он описал царю свою влюблённость в неё (с. 21):

Был я даве у стрельца,  
У Федота-удальца,  
Как узрел его супругу –  
Так и брякнулся с крыльца.

Третий день – ей-ей не вру! –  
Саблю в руки не беру,  
И мечтательность такая,  
Что того гляди помру!

А намедни был грешок –  
Чуть не выдумал стишок,  
Доктора перегружались,  
Говорят: любовный шок!..

Генерал не отличается своей верноподданностью царю. Он быстро сориентировался в новой обстановке. Он готов служить любовью власти (с. 71):

Оправдаю. Отслужу.  
Отстрадаю. Отсижу.  
К угнетающей верхушке  
Больше не принадлежу!..

Он готов понести наказание, но, правда, не без привилегий (с. 74):

Сознаю свою вину.  
Меру. Степень. Глубину.  
И прошу меня направить  
На текущую войну.

Нет войны – я всё приму –  
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.  
Но желательно – в июле,  
И желательно – в Крыму.

## **Баба Яга**

Баба Яга у Л.А. Филатова, хоть и напоминает фольклорную, но явно отличается от последней своим простодушием: с лёгкостью

необыкновенной этот «фольклорный элемент» советует отправить Федота на тот свет, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Вот как она сформулировала последнее задание Федоту:

Колдуй, баба, колдуй, дед,  
Трое сбоку – ваших нет,  
Туз бубновый, гроб сосновый,  
Про стрельца мне дай ответ!

Пусть Федот проявит прыть,  
Пусть сумеет вам добыть  
То-Чаво-На-Белом-Свете –  
Вообще-Не-Может-Быть!

Ну, Федот, теперь держись!  
Дело верное, кажись!  
Вот уж этого заданья  
Ты не исполнишь ни в жисть!..

Наказанья за свои подлые советы Яга не боится. Вот по какой причине:

Я – фольклорный элемент,  
У меня есть документ.  
Я вообще могу отседа  
Улететь в любой момент!

За жару ли, за пургу  
Все бранят меня, каргу,  
А во мне вреда не больше,  
Чем в ромашке на лугу!

Ну, случайно, ну, шутя,  
Сбилась с верного пути!  
Дак ведь я – дитя природы,  
Пусть дурное, но – дитя!

## Голос

Этот невидимый герой-волшебник выдержан в основном в фольклорном духе. Он верный раб своего хозяина. Но Л.А. Филатов и здесь блещет остроумием. Вот как его герой обрисовывает

собственный портрет в ответ на предложение Федота разделить с ним трапезу (с. 57):

Я бы рад, да мой портрет  
Для меня и то секрет!  
Сам порою сумлеваюсь,  
То ли есть я, то ли нет!..

У меня забот не счесть:  
Есть еда, да нечем есть,  
Есть табак, да нечем нюхать,  
Есть скамья, да нечем сесть!

Так устал за тыщу лет,  
Что не в радость белый свет!  
Думал было удавиться, –  
Дак опять же шеи нет!

Л.А. Филатов явно модернизирует своего невидимого героя. Вот как, например, он соглашается на предложение Федота «сплавить до расейского царя» (с. 57–58):

Я полезных перспектив  
Никогда не супротив!  
Я готов хоть к пчёлам в улей,  
Лишь бы только в колефтив!

Дай приказ – и хоть куды,  
Хоть на добычу руды!  
Буду вкалывать задаром,  
Без питья и без еды!

Я к любому делу гожд,  
Я в любые двери вхожд,  
Я тебе что хошь достану,  
Хоть подкованную вошь!..

Благодаря чудодейственным способностям Голоса, сказка Л.А. Филатова заканчивается сказочным пиром. Вот как его описывает потешник (с. 80):

Был и я на том пиру, ел зернистую икру. Пров ел плов, Филат ел салат. Устин ел галантин. А Федот-стрелец ел соленый огурец.

А как съел он огурец, тут и сказке конец! А что сказка дурна – то рассказчика вина. Изловить бы дурака да отвесить тумака, ан нельзя никак – ведь рассказчик-то дурак! А у нас спокон веков нет суда на дураков!..

Немеркнувшим бриллиантом сверкает в литературном наследии Л.А. Филатова его сказка «Про Федота-стрельца, удалого молодца (по мотивам русского фольклора)». Её смело можно поставить на один уровень со сказками А.С. Пушкина и П.П. Ершова.

---

## ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

---

### ОТЗЫВ О ДИССЕРТАЦИИ

Никакой Вольф Мессинг не поможет вам увидеть отзыв оппонентов о вашей будущей диссертации. Но приблизительное представление о нём вы можете составить по тому отзыву, который я выставляю здесь на общее обозрение. Я удалил из него только заключительные абзацы.

#### **Т.В. Эденхофер. Принципы эргологической этимологии и теория поля в концепции Й. Трира<sup>1</sup>**

Как мне уже приходилось отмечать (*Даниленко В.П.* В. Гумбольдт. Неогумбольдтианство. В. Матезиус. – Иркутск, 2004. С. 5), с книги О.А. Радченко «Язык как мирозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства» (М., 1997) в изучении неогумбольдтианского наследия начинается новый этап. Если в прежних работах, посвященных анализу неогумбольдтианства, преобладал критический пафос (у О.С. Ахмановой, В.З. Панфилова, П.В. Чеснокова, В.А. Звегинцева и мн. др.), то упомянутый труд О.А. Радченко можно расценить как стартовую площадку для современного этапа в гумбольдтоведении вообще и в изучении неогумбольдтианства в особенности. Этот этап, надо полагать, будет характеризоваться в оценке неогумбольдтианства преобладанием позитивизма над негативизмом. Это подтверждает и рецензируемая диссертация.

Актуальность работы Т.В. Эденхофер несомненна. Она посвящена, как заявлено в её начале, «всестороннему анализу научного наследия известного немецкого лингвиста XX в. Й. Трира – основателя эргологического направления в этимологических исследованиях, автора оригинальной теории языкового поля, главы Мюн-

---

<sup>1</sup> Защита кандидатской диссертации Т.В. Эденхофер состоялась в Московском городском педагогическом университете 22 декабря 2005 г.

стерской школы германистики и одного из основателей немецкого неогумбольдтианства». Подобный анализ в лингвистической историографии ещё не проводился. Между тем осознать немецкое неогумбольдтианство как единое направление лингвистической мысли XX в. без тщательного изучения научного наследия всех его выдающихся представителей не представляется возможным. По своей научной значимости в этом направлении Йост Трир, вне всякого сомнения, занимает второе место после его признанного главы – Лео Вайсгербера. Несмотря на широкую известность Й. Трира в германистике, глубокий системный анализ его концепции в целом в лингвистической историографии, как ни странно, до сих пор не проводился. Вот почему попытка такого анализа в диссертации Т.В. Эденхофер представляется весьма своевременной.

Основная часть диссертации Т.В. Эденхофер состоит из трёх глав. Первая из них посвящена описанию научной карьеры Й. Трира и рассмотрению критики, высказанной в адрес его теории поля – В. Порцигом, А. Йоллесом, Х. Кунишем, В. Вартбургом, Ф. Дорнзайфом и др., вторая – характеристике понятийного словаря их автора и третья – лингвофилософскому и лингводидактическому аспектам его концепции. Список литературы включает 334 источника: 286 (включая 61 работу Й. Трира) – на немецком языке и 48 – на русском. Бесценное достоинство работы – приложение с фотографиями Й. Трира.

Из первой главы диссертации Т.В. Эденхофер мы узнаём о множестве весьма любопытных фактов из биографии Й. Трира. Весьма неожиданной, например, выглядит ситуация, в которой Й. Трир оказался в Швейцарии. Благодаря гуманности швейцарских властей положение официального немецкого военнопленного не помешало Й. Триру в 1916 г. поступить в Базельский университет, где он учился в течение двух семестров у романиста Э. Тапполе, санскритолога Я. Вакернагеля, экзистенциалиста Карла Йоля и др. Как осторожно предполагает автор диссертации, они оказали косвенное влияние на формирование трировской теории языкового поля. Более того, очевидно, в 1916/1917 гг. Й. Трир переписал от руки и тщательно проштудировал французское издание «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, который, несомненно, существенным образом повлиял на научное мировоззрение будущего теоретика языкового поля как самоорганизующейся микросисте-



мы. Благодаря Базельскому университету, таким образом, Й. Трир приобщился к швейцарской лингвистике. Базельский период в жизни молодого Й. Трира освещён в работе Т.В. Эденхофер весьма обстоятельно. Этого не скажешь о времени обучения Й. Трира в Марбурге в 1918/1919 гг. Очевидно, в это время он открыл для себя работы В. Гумбольдта. Никаких свидетельств на этот счёт, к сожалению, в диссертации Т.В. Эденхофер мы не находим. Вот почему остаётся открытым вопрос о гумбольдтианской составляющей университетского образования Й. Трира.

Заслуживает высокой оценки описание Т.В. Эденхофер жизни Й. Трира в зрелые годы. Она приводит, в частности, множество мемуарных свидетельств о Й. Трире-педагоге. Главным же событием в жизни Й. Трира-учёного был выход в свет его докторской диссертации «Немецкий словарь в смысловой области разума. История языкового поля. От истоков до начала 13-го века» в 1931 г. Эта диссертация стала главным научным трудом Й. Трира. Т.В. Эденхофер подробно описывает в первой главе своей работы источники этого труда. В частности, она приводит свидетельство самого Й. Трира о том, что полевой подход к изучению лексики имеет своим источником историческую ономастиологию. Автор диссертации отмечает здесь также то обстоятельство, что интерпретация полевой структуры языка оказалась у Й. Трира ближе всего к вайсгерберовской. Между тем гумбольдтианская стихия в концепции Л. Вайсгербера представлена в большей мере, чем у Й. Трира, у которого она значительно потеснена стихией соссюрианской.

Вторая глава занимает добрую половину диссертации Т.В. Эденхофер. Это закономерно, поскольку основное место в ней занимает анализ центрального понятия в концепции Й. Трира – понятия словесного поля. В ней, вместе с тем, прослеживаются истоки и общелингвистических взглядов Й. Трира, которые автор справедливо усматривает в первую очередь у Ф. де Соссюра. Вполне резонно при этом Т.В. Эденхофер ставит вопрос о тайне, связанной с влиянием В. Гумбольдта на Ф. де Соссюра. В этом влиянии, однако, сомневаться не приходится: скорее всего, оно было не непосредственным, а опосредованным (в частности, через И.А. Бодуэна де Куртенэ). Одно несомненно: в качестве самого авторитетного первоисточника соссюрианских дихотомий следует усматривать учение В. Гумбольдта. В этом учении, в частности, вполне от-

чётливо представлена дихотомия языка и речи. «Язык образуется речью, – писал В. Гумбольдт, – а речь – выражение мысли или чувства» (*Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию.* – М., 1984. С. 163). Не сомневался В. Гумбольдт и в системной природе языка. Об этом говорят, например, такие его слова: «В языке нет ничего единичного, каждый отдельный элемент его проявляет себя лишь как часть целого» (там же. С. 314). Отсюда, между прочим, следует вывод и о том, что влияние В. Гумбольдта на Й. Трира в значительной мере было опосредовано Ф. де Соссюром.

Другой источник полевой теории Й. Трира Т.В. Эденхофер вполне оправданно усматривает в лексической ономазиологии. Следует, однако, заметить, что тенденция к имманентизации лексического поля в пределах языковой системы как таковой, явно присутствующая в теории Й. Трира, свидетельствует о значительном методологическом расстоянии, имеющемся между этой теорией и ономазиологией Г. Шухардта или Ф. Дорнзайфа. Ф. де Соссюр был всегда ближе Й. Триру, чем, например, основатель школы «слов и вещей». Недаром в своей докторской диссертации Й. Трир говорил: «В целом, я чувствую себя более обязанным Фердинанду де Соссюру» (с. 68). Однако не следует абсолютизировать и сосюррианскую стихию в теории Й. Трира. Во всяком случае, анализ поля разума в его докторской диссертации был проведён её автором в диахроническом плане, что свидетельствует о том, что Ф. де Соссюр, призывающий к синхронии, не был для Й. Трира непререкаемым кумиром. Главный источник своей теории Й. Трир нашёл в конечном счёте, как указывал сам её автор, «не на почве общезыковедческих или философских размышлений» (с. 67), а в самом языке – в системе его обозначений, объединяющихся в целостные словесно-понятийные группы.

Мы находим во второй главе диссертации Т.В. Эденхофер множество фактов, связанных с научно-теоретическим контекстом, в котором создавалась концепция Й. Трира. Особую ценность, на мой взгляд, представляют собой сведения, связанные с отношением её автора к В. Гумбольдту и Л. Вайсгерберу. Без подобных фактов невозможно органично вписать Й. Трира в немецкое неогумбольдтианство. Но Т.В. Эденхофер не ограничивается в этой главе описанием научно-теоретического контекста, в котором формировалась трировская теория поля, весьма подробно в ней анализиру-

ется также и методика полевого описания немецкого словаря, которую применял Й. Трир в своём основном труде. Автор диссертации описывает эту методику шаг за шагом. Так, её первый шаг – ознакомление с текстом и выделение слов, относящихся, по мнению Трира, к смысловому полю разума, её второй шаг – определение частотности употребления слова в тексте, её третий шаг – определение содержаний слов, исходя из контекста. Подобное, пошаговое, описание исследовательской методики Й. Трира может быть вполне использовано в работах, посвящённых изучению полевой структуры любого языка. В этом состоит общелингвистическая ценность данного описания.

Завершает вторую главу диссертации Т.В. Эденхофер параграф «Концепт поля в работах Й. Трира и его оппонентов». Мы находим здесь прежде всего сведения об употреблении термина «поле» не только в лингвистической науке, но также в географии, геологии, психологии, социологии и других науках. Об обширной эрудиции Т.В. Эденхофер свидетельствует, в частности, тот факт, что она нашла материал, связанный с несколькими версиями о проникновении термина «поле» в языкознание. К сожалению, Т.В. Эденхофер не обозначила здесь с достаточной отчётливостью, какую версию она сама считает более правомерной. Однако основное содержание данного параграфа охватывает анализ основных терминов, употребляемых в работах Й. Трира, – «словесное поле», «понятие», «содержание» и др.

Вызывает недоумение третья глава диссертации. С одной стороны, по своему объёму она выглядит как маленький подвесок к основному тексту диссертации, изложенному в двух предыдущих главах, а с другой стороны, её название не соответствует её содержанию. Она называется «Лингвофилософская и лингвоэскриптивная составляющие концепции Й. Трира». Между тем в ней речь идёт вовсе не о философии языка Й. Трира, а об его этимологических исследованиях. Содержание этой главы, вместе с тем, весьма поучительно: она знакомит нас с весьма ценными этимологическими разысканиями Й. Трира, в основе которых лежат эргологический и гомологический принципы. При монографическом издании диссертации Т.В. Эденхофер данную главу следует превратить в 4-й параграф второй главы.

У меня лишь три замечания к автору диссертации:

1. Третье положение, выносимое на защиту диссертации, звучит так: «Эргологический принцип и принцип гомологии, используемые Й. Триром в работе с этимологиями некоторых понятий, тесно связаны с положениями теории поля о подчиненности и взаимоопределяемости понятий в поле и могут быть истолкованы лишь исходя из этой теории». Если это так, если эргологический принцип, о котором здесь идёт речь, как и принцип гомологии, «могут быть истолкованы лишь исходя из теории поля», то целесообразно ли было в названии диссертации эргологический принцип этимологии отсоединять от теории поля? Отделение этого принципа от теории поля в конечном счёте раздваивает концепцию Й. Трира, тем самым разрушая её «полевое» единство. Более того, эргологическому принципу этимологии в диссертации посвящена третья, самая маленькая главка. Не лучше ли было сократить название диссертации и сформулировать его следующим образом: «Теория словесного поля в концепции Й. Трира»?

2. Нарративный подход к изучению научного наследия Й. Трира имеет полное право на существование в лингвистической историографии, но он не должен, на мой взгляд, затемнять в ней собственно исследовательское начало, которое невозможно без выявления и авторской оценки тех или иных методологических и дисциплинарных доминант, характерных для анализируемой концепции. В качестве таких доминант могут выступать синхронизм или диахронизм, семасиологизм или ономасиологизм, системность или асистемность, лексико-, морфолого- или синтаксоцентризм и тому подобные ведущие для исследуемой концепции методологические и дисциплинарные установки. К сожалению, в работе Т.В. Эденхофер подобные установки в отношении к концепции Й. Трира не выделены с достаточной отчётливостью.

3. В 7-м выводе по второй главе речь идёт о том, что «концепция поля Трира перекликается со взглядами Й.Л. Вайсгербера», однако в самой работе основательного подтверждения такой «переклички» не обнаруживается. Основательное сравнение теории Й. Трира в первую очередь с концепцией главы немецкого неогумбольдтианства позволило бы выяснить роль Й. Трира в неогумбольдтианстве в большей мере, чем это удалось автору диссертации на самом деле. Оно также позволило бы с большей обстоятельностью выявить своеобразие лингвофилософского аспекта концепции Й. Трира.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

### ОТЗЫВ О КУРСЕ ЛЕКЦИЙ В.П. ДАНИЛЕНКО «МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

Имеющиеся учебники по курсам «Общее языкознание» и «История языкознания» таких авторов, как А.А. Реформатский, В.И. Кодухов, Ю.С. Маслов и др., безусловно, не утратили своей ценности до настоящего времени, однако в них очень бедно представлен тот раздел языкознания, который проф. В.П. Даниленко называет лингвистической методологией или лингвистической гносеологией. Представляется, что эти термина удачны, поскольку традиционные названия данного раздела лингвистической науки обычно обозначены по их предмету: методы лингвистических исследований или методы лингвистического анализа. В.П. Даниленко по традиции оставляет последний термин в заглавии книги. Это указывает на преемственность его курса лекций с книгами, уже имеющимися на эту тему – Б.А. Серебренникова, И.П. Распопова, И.В. Арнольд и др. Большая часть из них писалась в основном ещё в 70–90-е годы.

Надо отметить, что предлагаемая книга В.П. Даниленко выгодно отличается от других пособий по исследуемой проблематике: во-первых, материал в ней представлен в системе, что вообще свойственно всем работам автора, а во-вторых, теоретическое истолкование методов у него иллюстрируется практическим применением этих методов в его статьях, которые написаны ярко, увлекательно и убедительно.

В курсе лекций В.П. Даниленко три основных раздела. В первом из них представлена общая гносеология, где речь идёт об общенаучных методах познания. Автор анализирует шесть общегносеологических направлений в теории познания, уделяя особое внимание эволюционному подходу в науке вообще и в языкознании в частности.

Второй раздел книги В.П. Даниленко посвящён подробному описанию дихотомических методов в лингвистике: 1) унификационного и сравнительного; 2) синхронического и диахронического;

3) семасиологического и ономасиологического; 4) структурного и функционального. Каждый из этих методов описывается с двух точек зрения – его сущности и истории развития.

Третий раздел лекций охватывает четыре метода – языкового поля, компонентного, дискурсивного и когнитивного. Эти методы появились в нашей науке только в XX в., однако они получили очень широкое применение (в особенности это касается двух последних).

В ясной и доступной форме автор излагает свой новый курс лекций с учётом тех подходов к решению научно-отраслевой структуры языкознания, которые обосновывались им в его многочисленных книгах и статьях (в том числе в журналах «Вопросы языкознания», «Филологические науки» и др.). Так, в его работах строго отграничиваются представления о дисциплинарной и методологической структурах языкознания. Если в первом случае речь идёт о предметном делении науки о языке, в частности, на внешнюю и внутреннюю лингвистику, то во втором – о различных подходах к изучению одного и того же предмета исследования в рамках той или иной лингвистической дисциплины.

Свежесть и оригинальность взгляда на сложные проблемы нашей науки в курсе лекций В.П. Даниленко будут чрезвычайно полезны начинающим исследователям – в первую очередь аспирантам и магистрантам. Этот курс с интересом воспринят аспирантами ИГЛУ, которым он уже читается в нашем университете.

Курс лекций В.П. Даниленко «Методы лингвистического анализа» будет полезен и студентам, выполняющим дипломные сочинения в лингвистическом вузе. Он нацеливает их на строго системное представление о современной лингвистике, её структуре и задачах.

*Доктор филологических наук,  
заслуженный деятель науки РФ,  
профессор кафедры теоретической лингвистики ИГЛУ  
Л.М. Ковалёва*

*Учебное издание*

Даниленко Валерий Петрович

**МЕТОДЫ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА**

Курс лекций

Подписано в печать 02.02.2011. Формат 60×88/16. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 17,2. Уч.-изд. л. 14,4.

Тираж 1000 экз. Заказ . Изд. № 2170.

ООО «ФЛИНТА», 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17-Б, комн. 324.

Тел./факс: (495)334-82-65; тел. (495)336-03-11.

E-mail: flinta@mail.ru; WebSite: www.flinta.ru

Издательство «Наука», 117997, ГСП-7, Москва В-485, ул. Профсоюзная, д. 90.



